

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

«Живые закрывают очи мерт-
вым, мертвые открывают очи жи-
вым», — гласит древняя болгарская



мудрость. Современный мир да-
лек от этой вы-
страданной муд-
рости: мертвые
уходят с безна-
дежно отверсты-
ми глазами, тогда
как глаза живых
— безнадежно за-
крыты.

Димитр Бачев

Что такое почет? Воздух.
Почет это чистый воздух.
Ты вдыхаешь и задыхаешься.

Ты задыхаешься
от избытка почета.
Теперь твой почет
на месте своем.
В духоте в
подходящей
задушен почет.
Нет ему воздуха,
он не дышит.
Что такое почет,
который не дышит?

Давид Авидан



Два главных события
дня: восход и закат.
Туман поутру заходит
в долину между
двумя разъятыми
половинами перевала,
как угол простыни
натягиваемой. Рассвет
надувает парус в
растопившемся море и
отчаливает навсегда.

Это не сказка,
и он не вернется. После
его ухода



отстаивается осадок
чего-то ночного
у горизонта, освободив
всю емкость для
алхимика-утра, что
наполняет его тем
самым —
вечной молодости —
эликсиром, запускает
пыльцу золотую в
колбу
переливающегося
дымчатого стекла.

Марина Темкина

Обычно (то есть с тех пор, как десять
дней назад они приехали в эту стра-
ну) их возили, каждого со своим пе-



реводчиком, в от-
дельных машинах,
в этих огромных
черных автомоби-
лях с задним стек-
лом, завешенным
сборчатыми занавесками, но на этот
раз их посадили в
большой автобус...

Клод Симон

(Фото: Нет Гольдсмит)

Никто из нас, бывших узников дет-
ского ада, никогда и ничего не забудет
и не простит тем, кто воспитывал

нас истязаниями и
унижением чело-
веческого достоин-
ства. Они навсегда
воспитали в нас
ненависть и пре-
зрение к себе и си-
стеме, их породив-
шей. Это — ответ
на вопрос... «ка-
кими мы будем».

Иван Корягин



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
 Avraham Ben-Yakov
 6, Hagana str.
 Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сергей Рапетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
 Edward D. Lozansky
 508 23rd Street N.W.
 Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
 Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

56

**Издательство «Континент»
1988**

СОДЕРЖАНИЕ

Тимур К и б и р о в – Лесная школа. Поэма	7
Георгий В л а д и м о в – Даёшь Предславль! Глава из романа «Генерал и его армия». (Журнальный вариант)	16
Бахыт К е н ж е е в – Стихотворения, присланные из Канады	66
Игнатий Ш е н ф е л ь д – Зоська без носа. Рассказ	80
Марина Т е м к и н а – На ферме. Поэма	117
Ирина М у р а в ь е в а – Два месяца. Рассказ	129
Семен Б е н ь я м и н о в – «Поэма о труде» и другие стихотворения	166
ПЕРЕВОДЫ ИЗ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	
Давид А в и д а н – Поездка по городу. Стихи. Перевод <i>Савелия Гринберга</i>	175
Ицхак б е н - М о р д е х а й – У пекарей. Рассказ. Перевод <i>Валерия Кукуя</i>	184
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Валерий С о й ф е р – Больная природа России	207
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Димитр Б о ч е в – Летопись одного убийства, или Отмщение неразгаданных пророчеств	225
ЗАПАД – ВОСТОК	
Клод С и м о н – Приглашение. Перевод с французского <i>Н. Горбаневской</i>	239
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Иван К о р я г и н – Какими нас делают за «серым забором»	285
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
<i>К тысячелетию Крещения Руси</i> Анатолий К р а с н о в - Л е в и т и н – Факты и обвинения	291
ИСТОКИ	
<i>К тысячелетию Крещения Руси</i> С т р а н н и к – Переписка с ген. П. Н. Красновым	307

ИСКУССТВО

- Джордж О р в е л л** – Отпущение грехов, или
Несколько заметок о Сальвадоре Дали. Перевод
с английского *Игоря Бродецкого* 319

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- У нас в гостях краковский подпольный журнал «Арка»*
Мариан С т а л я – Голос поэта 329

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Э. Ш т е й н** – История книги длиною в жизнь... 339

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

345

НАША ПОЧТА

349

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Кира С а п г и р** – «Серебряный век» – первый том
«Истории русской литературы» 353

- Александр Г р и б а н о в** – В поисках неустойчивого
равновесия 357

- К. П о м е р а н ц е в** – «Перестройка – двойной совет-
ский вызов» 363

- Майя М у р а в н и к** – О «вехах» и мифах в советской
истории 371

- В. М.** – Свет негаснущего костра 374

- О. Алексей Алоис С т р и ч е к** – Христос по Айтматову 378

- Сергей П е т р у н и с** – Дорога длиною в тысячу
страниц 383

- В. М а к с и м о в** – Стихи – 87 387

- М. М и х а й л о в а** – Радость нечаянной встречи 390

- Юрий М а м л е е в** – Свидетель и поэт 394

- Раиса Ш и ш к о в а** – Нищие бабушки на золотом
крыльце 398

- Т. С.** – И. Земцов, Д. Феррар. «Горбачев: человек и
система. 70 лет после Октября» 402

- К. С.** – Время останавливать время 407

КОРОТКО О КНИГАХ

413

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

419

НАША АНКЕТА

- Интервью со **Славомиром М р о ж е к о м**. Ведет
Наталья Горбаневская 425

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЕСНАЯ ШКОЛА

Людмиле Кибириной

Ехал на ярмарку Ванька-холуй
за 3 копейки показывать ху-
художник, художник, художник молодой...

Хулиганская песня

Ой вы, хвоиные лапы, лесные края,
ой, лесная ты школа моя!
Г ати-тати, полати, ау-караул,
ёлы-палы, зеленый патруль!

В маскхалате на вате, дурак-дураком,
кто здесь рыщет с пустым котелком?
Либо я, либо ты, либо сам Святогор,
бельма залил, не видит в упор.

Он не видит в упор, да стреляет в упор,
слепота молодцу не укор!
Он за шкурку трясется, пуляет в глаза.
Ёлы-палы, река Бирюса!

Ой, тюменская нефть да якутский алмаз,
от варягов до греков атас.
И бродяга, судьбу проклиная, с сумой
вдоль по БАМу тащится домой.

Ой, гитара, палаточный наш неуют!
Дорогая, поедem в Сургут.
И гляди-ка – под парусом алым плывет
омулевая бочка вперед!

И полночный костер, и таежная тишь,
и не надо, мой друг, про Париж.
От туги да цынги нам не видно не зги,
лишь зеленое море тайги!

Лишь сибирская язва, мордовская сыпь...
Чу – Распутин рыдает, как выпь,
над Байкалом, и вторит ему Баргузин.
Что ты лыбишься, сукин ты сын?

Волчья сыть, рыба кровь, травяной ты мешок,
хоть глоток мне оставь, корешок!
Вот те Бог, вот те срок, вот те сала шматок,
беломоро-балтийский бычок.

Возле самой границы, ты видишь, овраг.
Там скрывается бешеный враг –
либо я, либо ты, либо сам Пентагон!
О, зеленые крылья погон!

И так тихо, так тихо в полночном лесу,
лишь не спит злополучный барсук.
Всё грызет и грызет он мучительный сук.
Мне ему помогать недосуг.

Три гудочка я сделаю – первый гудок
наматает положенный срок,
а второй про любовь, про любовь прокричит,
третий харкнет и снова молчит.

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь ни фига,
человечья не ступит нога...
В темном лесе свирель, сею лён-конопель,
волчью ягоду, заячий хмель...

Но кто скачет, кто мчится – спаси-помоги –
Царь лесной, председатель тайги!

С ним медведь-прокурор да комар-адвокат,
и гадюки им славу свистят!

Призрак бродит по дебрям родным разъярен,
европейский покинув газон.
Он рубаху последнюю ставит на кон,
спит и видит сивушный свой сон.

В рукавицах ежовых, с моржовым концом
он бредет, голосит ни о ком.
Лихоманка его зацелует до дыр,
обтрухает парадный мундир.

И над Шушенским стелется черная гарь,
да стучит костяная нога.
Бабка Надька обнову нам хочет вязать
и базедовы пучит глаза.

То не Маркс тебя мучает, не «Капитал»,
это бред, Берендей, забодал,
это дед-лесовик, это гад Боровик,
Иванова коварный парик!

Это дурью мы мучимся, лён-конопель,
волчья ягода, заячий хмель.
Белена-целина, что ни день, то война,
ёлы-палы, лесная страна.

По сусекам скребут, по сусалам гвоздят,
по централам торчат-чифируют.
Эх, кайло-кладенец, эх, начальник-отец,
эх, тепло молодёжных сердец!

Одиноко гуляет гармонь вдоль села.
Ей навстречу Дерсу Узала.
Ты сыграй мне, гармонь, над разливами рек!
– «А пошел бы ты на хуй, чучмек!»

В красном чуме на Ленина чукча глядит.
Вот те культ, и просвет, и полит.
Ленин делает ручкой вперед и вперед.
Чукча смотрит да песню поет.

Он поет гуль-мулла, и поет йок-алла,
и поет он якши-мишмулла.
И качается в такт, и клубится табак.
Входят в чум итэльмен да коряк.

И тунгус черемису в глаза наплевал,
да упал, да уснул наповал.
Гог штакетником двинул Магогу меж рог.
Геку Чук вставил перышко в бок.

Нам кровавой соплей перешибли хребет.
Отползай, корешок, за Тайшет.
И, как шапку в рукав, как в колодец плевков,
нас умчит тепловозный гудок.

Ну, чего же ты, Дуня? Чего ты, Дуня?
Сядь поближе, не бойся меня.
Пойдем-выйдем в садок, да сорвем лопушок,
да заляжем в медвяный стожок.

Алый цветик-цветок, дроля милый дружок,
одуванчиков желтых венков.
Но не вздохи у нас на скамейке любовь.
Вынь да вдвинь свой амбарный засов.

Нас венчали не в церкви, сыр-бор да простор!
Над макушкой завяжем подол!
Ну, натешился всласть, кучерявый, вылазь,
видишь, вся тут артель собралась!

Не гляди же с тоской на дорогу, дружок!
Зря зовет тепловозный гудок.

Там плацкартные плачут, да пьют, да поют,
а СВ всё молчат да жуют.

А в столыпинных стелят казенный матрас –
пидорасят друг друга и нас...

В феврале на заре я копаюсь в золе,
я дрожу в феврале на заре.

Снова в широкошумных дубравах один
я бегу, сам себе господин.

Но взглянул я вокруг – а кругом навека
братья Строговы строят ДК.

Вырастают, как в сказке, то ГЭС, то АЭС,
освещают прожектором лес.

Всё мне дорого здесь, всё мне дорого здесь,
ничего мне не дешево здесь!

То прокисли молочные реки во зле,
вязнут ноги в пустом киселе.

В феврале на заре я копаюсь в золе,
я ищу да свищу на заре.

Эх, белеть моим косточкам в этих краях,
эх, Собес, Красный Крест да Госстрах.

О, не пей, милый брат, хоть денечек не пей,
ты не пей из следов костылей!

И сияют всю ночь голубые писцы,
и на вышках кимарят бойцы.

Ороси мои косточки пьяной слезой –
клюквой вырасту я над тобой.

Что нам красная небыль, и что Чернобыль!
Золотой забиваем костыль.

И народно-хозяйственный груз покатил,
был да сплыл от Карпат до Курил...

Кверху брюхом мы плыли по черной реке,
алый галстук зажав в кулаке.
А по небу полуночи Саша летел
Башлачев и струнами звенел.

Он летел, да звенел, да курлыкал вдали.
Мы ему подтянуть не могли.
Мы смотрели глазами из рыбьей слюды
из-за черной чумной бороды!

И чума-карачун нам открыла глаза –
ёлы-палы, какая краса!
И мороз красный нос нам подарки принес –
фунт изюму да семь папирос.

О, спасибо, спасибо, родная земля,
о, спасибо, лесные края!
И в ответ прозвучало: «Да не за что, брат,
ты и сам ведь кругом виноват».

О, простите, простите, родные края,
о, прости мне, родная земля!
«Да ну что ты, – ответила скорбная даль, –
для тебя ничего мне не жаль»...

На передних конечностях, видишь, вперед
человек настоящий ползет.
И мучительно больно не будет ему.
Почему, объясни, почему?

Выползает пилот на опушку и зрит –
там стоит свежесрубленный скит,
там во гробе хрустальном Корчагин лежит,
взгляд недвижный звездой горит.

Поднимайся, пойдем, закаленная сталь!
Слышишь, плачет братишка Кармаль!

Слышишь, бьется с врагом не на жизнь Моамар!
Поползли к ним на выручку в даль!

И еловую лапу протянем друзьям!
Поползли по лесам, по горам!
К жгучим ранам прижми подорожника лист,
след кровавый стели, не скупись!

Ой, Ярила-мудила, ой, падла-Перун,
моисеевский Лель-топотун!
Бью челом вам, бью в грязь своим низким челом,
раскроив о корягу шелом!

Да, мы молимся пням, да дубам, да волкам,
припадаем к корявым корням.
Отпустите меня, я не ваш, я ушел,
ёлы-палы, осиновый кол.

Гадом буду и бля буду, только пусти,
в свою веру меня не крести!
дураки, да штыки, да Госстрах, да Собес,
ёлы-палы, сыр-бор, темный лес!..

Как по речке, по речке, по той Ангаре
две дощечки плывут на заре.
И, ломая у берега тонкий ледок,
я за ними ныряю в поток.

И, дощечки достав, я сложу их крестом,
на утесе поставлю крутом.
Крест поставлю на ягодных этих местах,
на еловых, урловых краях.

Подходи же, не бойся, чудака-человек,
комбайнёр, замкомвзвода, генсек!
Приходите, народы какие ни есть,
хватит в этих обителях мест.

Так открой же, открой потемневший Свой Лик,
закрути, закрути змеевик!
И гони нас взашей, и по капле цеди,
и очищенных нас пощади!..

Но не в кайф нам, не в жилу такой вот расклад,
ёлы-палы, стройбат, диамат!
Гой еси, пососи, есть веселье Руси,
а Креста на ней нет, не проси!

И кричи не кричи – здесь не видно конца,
брей не брей – не отыщешь лица.
Где тут водка у вас продается, пацан?
До чего ж ты похож на отца!

Эй, скажи, что за станция это, земляк?
Эта станция, парень, Зима!
Да тюрьма, да сума, да эхма задарма,
карачун это, парень, чума.

Ёлы-шпалы, гудит тепловозный гудок:
вот те срок, вот те срок, вот те срок!
За туманом мы едем, за запахом хвой,
и туман получаем с лихвой!

.....*

В феврале на заре мы лежим на земле,
согревая друг друга в золе.
То ли чёрт нас побрал, то ль Сам Бог нам велел,
ёлы-палы, косяк-конопель.

.....*

Мама, ма́ма, дежурю я по февралю,
в Усть-Илиме пою: Улялюм,
Улялюм, твою мать, не увидишь конца.
До чего ж я похож на отца!

* Строфа сокращена редакцией.

И ворую я спички, курю я табак,
не ночую я дома, дурак!
И спасибо, спасибо, лесная земля!
Бог простит вас, родные края!

И валежник лежит, и Джульбарс сторожит,
вертолет всё кружит да кружит.
Но соленые уши, пермяк-простота
из полена строгают Христа!

Москва 1986, зима

По сведениям, которые нам удалось собрать, Тимур КИБИРОВ живет в Москве, не так давно переселившись туда из провинции. Ему примерно 27-28 лет. Работает, кажется, ночным сторожем.

ДАЁШЬ ПРЕДСЛАВЛЬ!

Глава из романа «Генерал и его армия»

Навстречу шли «студебеккеры», крытые брезентом, и на буксире тащили пушки с зачехлёнными дулами. На крутом закруглении шоссе артиллеристы с лафетов весело орали «виллису»: «От ствола!» – и поспешно козыряли, разглядев генеральский погон. Под брезентом сидели солдаты в касках, держа оружие между колен. Они смотрели назад и видели край неподвижного серого неба и землю, стремительно убегающую от них.

Это были еще не обстрелянные солдаты и новёхонькие машины и 122-миллиметровые пушки, и генерал не мог не думать, что станется с ними там, на мырятинском плацдарме. В его представлении всё, что ни двигалось навстречу, направлялось, конечно же, на его плацдарм. Уже две понтонных переправы были наведены через Днепр, севернее и южнее траверза Мырятина, и к двум этим ниточкам стекалась река людей и техники. Подняться б ему на самолете, он бы увидел эту реку – шириною километров в тридцать: по дорогам и без дорог, полями и лесными просеками двигались колонны танков, самоходок, грузовиков с пехотой, тянулись конные обозы с дымящими кухнями, сайтарные автобусы и легковушки с той публикой, которая так охотно заполняет зону второго эшелона, когда передний край отодвинулся достаточно и не грозит подвинуться вспять.

Глупее и обиднее было не придумать: генерал Кобрисов оставил свою армию, он с каждой минутой все больше от нее отдалялся, с каждым поворотом колеса,

и ни один человек в этой лавине войск, стронувшейся с мест и потекшей к Мырятину именно по его замыслу и воле, не мог бы о том догадаться, а лишь подивиться, отчего одинокий «виллис» так упрямо пробивается на восток, когда все движется, валит – на запад. Он с этим еще не смирился – и мысленно, не имея сил на что-то уже другое переключиться, продолжал командовать своей армией и втекающими в нее пополнениями, распределял войска, указывал им колонные пути движения, перемещал с пассивных участков на участки угрожаемые, намечал для артиллерии секторы обстрела и режимы огня – словом, проделывал ту работу, которую армия, с ее большими и малыми начальниками, могла бы, казалось, совершать и без него, а на самом деле, он твердо верил, никогда не совершает, как бы ни была сильна и опытна, но всегда питается от аккумулятора, который зовется командующим, движется его энергией, его нервами и бессонницей, его способностью вникнуть во всякую мелочь. И хоть сам-то он понимал, что предается занятию, пожалуй, бесполезнейшему на свете – планированию прошлого, а, тем не менее, с мучительно-сладостным копанием в памяти, переживал случившееся с ним, случившееся бесповоротно, как еще продолжающееся, еще подвластное ему действие, к которому можно возвращаться и переигрывать его, отыскивая новые, более выигрышные, ходы.

И вот он подходил к черте решающей, к Рубикону. В тот солнечный, даже слишком щедрый для середины октября день они стояли у окна, генерал Кобрисов с генералом Чарновским, на втором этаже вокзальчика в Спасо-Песковцах, бдительно поглядывая на площадь внизу и на устье впадающей в нее аллеи. Маленькая площадь, усыпанная облетевшими зелеными листьями топей, была пуста, стоял на ней только «виллис» Чарновского. Из-под «виллиса» торчали ноги водителя Сиротина – он, как всегда, с охотой чинил чужое. Шофер Чарновского, присевши на корточки, подавал советы.

Центром площади был круглый насыпной цветник, на нем сохранился изгрызанный осколками пьедестал «под серый мрамор», из которого росли ноги с ботинками и штанинами. Сам гипсовый вождь, крашеный в серебрянку, лежал ничком в высоком бурьяне, откинув сломанную указующую руку. Свергли его, должно быть, не снарядом, а поворотом танковой пушки – о том говорили изогнутые, вытянутые из пьедестала прутья арматуры.

– Что ж, Василий Данилыч, считаем – договорились? – сказал Кобрисов, чувствуя нетерпение и даже отчего-то страх.

Чарновский, держа руку на его плече и слегка обвиснув, приклонил к нему голову и легонько боднул в висок. Лицо Чарновского светилось улыбкой, классическое лицо украинского песенного «лыцаря», гоголевского Андрия, черноебровое и белозубое.

– Будь спокоен, Фотий Иваныч, не дрожи. А все же скребет маленько, сознайся? Кошки не скребут?

– С чего бы?

– А может, прогадываешь ты? – Чарновский большим пальцем пырнул его в широкий бок, чуть выше ремня, от чего Фотий Иванович и не пошевелился. – Участок твой, то, что ты мне отрезать готов, вдруг – золотая жила? А я ее – разработаю. Честно сказать, с этим твоим Мырятином мне возни дня на три, не больше. Да к нему – две задействованных переправы. Которые я, между прочим, себе запишу в счет.

– Правильно сделаешь.

– Итак, положен салют Чарновскому – из ста двадцати четырех. А ты – с Предславлем, глядишь, и не управишься один. Не будешь тогда жалеть?

– Очень даже буду, – сказал Кобрисов. – Зато ж какой замах!

– За замах, Фотий Иваныч, дорого не платят. Платят, когда он удался. Или, если и не удался, но причины были объективные. А этого не скажут. Скажут – сам

напросился, и положение было на редкость выгодное. Не представляешь ты, как тебе сейчас все завидуют!

– Представляю, – сказал Кобрисов. И тревога в нем еще усилилась. – Но, может, и я тебе кота в мешке отдаю?

– Не сомневаюсь, Фотий Иванович. От тебя разве чего хорошего дождешься!

Лицо Чарновского легко, по-мальчишьи, вспыхивало улыбкой. Шутил он или впрямь догадывался, какого кота скрывал мешок? То, что уступал Кобрисов правому своему соседу Чарновскому – кусок плацдарма с наведенными к нему переправами, но и с не взятым еще городишкой Мырятином, – выглядело не более подвохом, чем любая другая изюминка, орешек, бастион «Днепровского вала», как немцы называли свою оборону по Правобережью. Возни там, конечно, не на три дня, это так говорится для украшения солдатской речи и чтобы сбить цену подарку. Но то главное, что сильнее всего страшило Кобрисова, от чего он всеми хитростями хотел уклониться, могло быть и вовсе безразличным этому счастливчику, «любимцу фронта». Русские батальоны, брошенные в оборону Мырятина, составлявшие костяк ее, явились бы для него, вполне возможно, только противником, как немцы или румыны, разве что более яростным и особенно опасным – в окружении. А судьбы этих защитников, трибунальские страсти, вакханалия «священной расплаты» – почему в голову это брать солдату, взявшему город, выполнившему долг и приказ? Впрочем, он, может быть, даже приятно удивится, когда узнает...

– Едут, – сказал Чарновский.

Тотчас и Кобрисов услышал завывание моторов и дробный рокот шин по укатанным, вдавленным в почву, обломкам кирпича. Из аллеи выкатился вскоре бронетранспортер головного охранения, с задраным к небу сдвоенным пулеметом; над скошенным его бортом, в лягушачьих разводах, торчали головы в касках. Следом

появилась машина Ватутина, сделала плавный полукруг и стала рядом с тем «виллисом». Охрана командующего фронтом ринулась рассыпаться по кустам, беря вокзальчик в кольцо. Водитель Чарновского вскочил, натянул пилотку и выпятил грудь. Ноги Сиротина по-прежнему торчали из-под машины – впрочем, невидимо для прибывших.

– Пойти встретить, – сказал Кобрисов.

Но рука Чарновского еще сильнее надавила ему на плечо.

– Не торопись. Ты хозяин, должен на пороге встречать. К тому же, ты сегодня именинник. А я пойду встречу – на правах гостя.

– Боюсь я, – Кобрисов озабоченно вглядывался в пустынное светло-голубое небо. – Не приведи Бог, супостат налетит...

– Так ты что, начальство грудью прикроешь? Не хватит твоей груди, Фотий Иванович. Ты еще не знаешь, сколько к тебе начальства пожалует. Да ничего не случится, не налетит супостат, уж так ты его прижал – можно сказать, всей тушей!..

Чарновский легко сбежал вниз и, покуда Ватутин все выбирался из своего «виллиса», успел обогнуть клумбу. Шаг его казался побегом, так был стремителен и упруг. Руки при этом ловко управляли гимнастерку под ремнем. Кителя он не носил никогда, предпочитал гимнастерку – в ней он выглядел стройнее, плечистее, а главное – моложе. Последние три шага он отпечатал, подбросив руку к виску. Ватутин невольно улыбнулся ему, сказал несколько слов – должно быть, свое обычное: «Ты у нас не генерал-лейтенант, а лейтенант-генерал», – и, глядя на Чарновского почти влюбленно, рукою оперся на капот «виллиса», тем позволяя собеседнику стоять вольно.

При каких-то словах Чарновского он слабо поморщился, отмахнулся, как от ерунды, принялся разубеждать – и тут поднял нечаянно взгляд к окну. Тяжелое

набрякшее лицо Ватутина отразило миг смущения, точно бы Кобрисов мог его услышать, затем сразу сделалось насуپленно-непроницаемым, и тотчас они оба повернулись к аллее, встречая следующую машину.

Следующим прибыл Хрущев. Этого никакая форма, ни награды во всю грудь не делали генералом-строевиком или пусть комиссаром, каким он и состоял при Ватутине, что-то оставалось неискоренимо тыловое, интендантское. Приплюснутая, с длинным козырьком, фуражка сидела на нем, как сидел бы соломенный брыль. На заднем сиденье адъютант с ординарцем держали на коленях огромный картонный короб, перевязанный красной лентой с бантом, – похоже было на новогодний подарок с куклой, говорящей «мама» и противно закатывающей глаза. Выбравшись, Хрущев потоптался на месте – не так, что бы ноги разминая, а как бы утверждая себя на земле. Покончив с этим, он стал распоряжаться, сильно жестикулируя, чтоб выгрузили короб и несли бы осторожно. Из жестов все было понятно без слов. Непонятно было, зачем еще нужны слова.

Третья машина была сюрпризом для Кобрисова. В ней прибыл Терещенко. Что сюда привело командарма, воевавшего Бог весть как далеко, за сто шестьдесят километров ниже по течению, этого Кобрисов не мог себе объяснить. Но в тысячный раз он подивился, как можно искусством вести себя восполнить, и даже с избытком, отнятое природой. Терещенко, худенькая юркая обезьянка с обиженно-недовольным личиком, должен бы, казалось, ловко выпрыгнуть и подскочить к встречавшим его Ватутину и Хрущеву – ан нет, он продолжал сидеть, утвердив между колен палку, и ровно столько сидеть, чтоб те к нему подошли и начали разговор над ним, еще сидящим. Грузные люди, начальники ему, с ним шутили – он отвечал не торопясь что-то обиженное, недовольное.

Из опасений налета кавалькада гостей сильно растянулась, машины прибывали с интервалом в три, в четыре минуты. И каждого встречали весело, шумно, будто не час назад расстались, а месяц. Прибыл цыганистый Галаган, командующий воздушной армией, теперь поддерживающей 38-ю Кобрисова, – этот всегда ездил без свиты и «виллисом» правил сам, и так лихо правил, что с ним не всякий отваживался сесть. Ему, уж точно, сейчас выговаривали за лихачество – и в воздухе, и на земле, ему за это всегда выговаривали. Он только сплевывал и поглядывал с тоскою голубыми глазами в голубое небо, летать ему хотелось без конца, во всякий час. Прибыл командующий 1-й танковой армией Рыбко, «танковый батько», как его называли, человек уже пожилой и на вид и манерами рассугубо штатский. Снявши фуражку и положив ее на толстый портфель перед толстым животом, он отирал платком лысый блестящий свой череп и что-то рассказывал, смакуя каждое слово, – верно, о том, как его повар выучился готовить гуся с яблоками.

Площадь заполнялась, на ней становилось тесно от машин, однако прибывшие еще кого-то ждали, до его прибытия не смея уйти в помещение. И, верно, прибыть он должен был последним, а после него уже никто не смел прибыть.

Приехал и он наконец – в сопровождении замыкающего бронетранспортера, – высокий, массивный человек, с крупным суровым лицом, в черной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой низко и прямо, ничуть не набекрень, – но никакая одежда, ни манера ее носить не скрыли бы в нем военного, рожденного повелевать. Стоя, он оказался далеко не высоким, но при нем все тянулись как могли и закидывали головы – что как раз не доставляло ему приятного. Выскочил тотчас и Терещенко, не посмев и мига просидеть, коли тот встал. Узнав его, почувствовал и Кобрисов холодок под сердцем – и понял, что не одни легенды, бежавшие впе-

реди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрямь исходило что-то пугающее.

Маршал Жуков, заместитель Верховного, едва ли и не сам Верховный, не отвечая на приветствия, лишь коротко всех оглядев, направился к дверям вокзальчика. За ним потянулись почти бесшумно, слышались одни его твердые шаги. И Кобрисова сами ноги понесли вниз по лестнице – успеть распахнуть двери и вытянуться.

Здесь некоторую помощь генералу Кобрисову оказала пружина двери, которую он должен был придерживать рукою, отчего его стойка вышла не вовсе истуканной, чуть повольнее. Жесткий взгляд маршала – снизу вверх – ударил ему в лицо, взгляд внимательный, выбирающий, точно бы пережевывающий стоящего перед ним, выказывая один вопрос – съесть его или выплюнуть. Чудовищный подбородок, занимавший почти половину лица, двинулся в речи, широкие губы обронили слово, до Кобрисова дошедшее чуть запоздало. Слово это было:

– Здравсь...

Кобрисов что-то пролепетал, неслышно ему самому. Маршал, плечом вперед, миновал его, перестав интересоваться, и вдруг обернулся.

– Ты кто – швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий – говори, куда идти.

– В зал ожидания, пожалуйста...

Маршал не удивился, но махнул рукой, как машут на дурачка.

Вокзальчик этот имел один большой зал, высотой в два этажа, с выходами на площадь и на перрон, и несколько служебных клетушек в крыльях. С купольного потолка смотрели на публику закопчённые лики: шахтер с отбойным молотком на плече; грудастая колхозница у комбайна, обнявшая сноп какого-то злака; пограничник с собакой, больше похожей на отощав-

шего дикого кабана; летчик и пионеры под самолетным рылом с красным пропеллером. В сорок первом вокзалчику шибко досталось – и от чужих, и от своих, – в нем гулял ветер и свивали гнезда птицы, углы густо заросли паутиной. Сапёры наспех расчистили завалы щебня, залатали пробоины в куполе фанерой и брезентом, составили рядами уцелевшие скамьи, из комнаты начальника станции принесли стол. Проломы в стене оставили как есть – и сквозь них пламенела прощальной красой листва кленов и дубняка.

Маршал, ни на что не глядя, тотчас сел за стол и развернулся боком к карте, которую развесили на стенке билетной кассы, прежде остеклённой, теперь просто решетке. Кобрисов стал около нее с указкой, ожидая, когда рассядутся. Выглядело, как в школьном классе: учитель за столом, ученики за партами, вызванный – у доски. Урок, однако, начался не сразу – следом за Хрущевым внесли тот короб с красным бантом.

– Гёр Константиныч, – обратился Хрущев к Жукову, с чего-то заговорщицки улыбаясь во все широкое, круглое лицо, с двумя разновеликими и прихотливо расположенными бородавками. – Разрешите, прежде чем начать, вручить, значит, вот, скромные подарки всем, значит, присутствующим от лица, вот, значит, Военного совета фронта. Дни у нас, можно сказать, особенные, предстоит, значит, освобождение священного для нас для всех города Предславля, жемчужины, можно сказать, Украины. И я хочу отметить, что вот и солнышко всем нам по этому, значит, случаю светит, празднует вместе с нами, можно сказать, торжество...

Жуков, с каменным лицом, кивнул.

– Хорошо сказал, Никита Сергеич. Главное – коротко.

Короб взгромоздили на стол. Никита Сергеич, еще много чего имевший сказать, потоптался в огорчении, напруживая круглый затылок, и дал знак рукою, как ко взрыву моста. Длинный, от волнения еще удлинившийся

адъютант развязал бант, вскрыл короб и отступил. Хрущев, запуская туда обе руки, доставал и каждому подносил, что кому причиталось, в целлофановом пакете: курящим – томпаковые портсигары с выдавленной на крышке башней Кремля и по блоку американских сигарет, некурящим – шоколадные наборы, и тем, и другим – по бутылке армянского коньяка, по календарю с картинками и именные часы с черным циферблатом и светящимися стрелками. Непременной же и главной в составе подарка была рубашка без ворота, вышитая украинским орнаментом, со шнуровкой с красными кистями.

Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил и спросил:

– Это когда же ее надевать?

– Всегда! – Хрущев отвечал с восторгом. – Я вот повседневно под кителем ношу. – И, расстегнув китель, всем показал вышитую грудь. – Хотя и не видно сверху, а мою хохлацкую душу греет. Думаю, что и с командармами мы в точку попали, кто тут не хохол щирый? Терещенко – хохол, Чарновский – оттуда же, Рыбко – и говорить нечего, Омельченко со Жмаченкой – аж с носа капает. Ты, Галаган, вообще-то у нас молдаван... А Молдавия – она кто? Родная сестра Украины! Вот я только про Кобрисова не знаю – тэж, як я розумію, хохол?

– Никак нет. С Дону казак.

– С Дону?... Ну, в душе-то – хохол?

– И в душе казак.

– Та нэ брэши, – Хрущев замахал руками. – Почему ж я тебя за хохла считал? У нас это, помню, в Донбассе жили такие, Кобрисовы, шахтерская семья, дружная такая, передовая, так ни слова кацапского, всё украинскою мовой.

– Бывает, – сказал Кобрисов. Против дури, знал он, лучшее средство – дурь. – А в моей станице три

куренья были – Хрущевы, так по-хохлацки и не заикались, всё по-русски.

– Притворялись! – не унимался Хрущев. – А может, матка от тебя утаила, шо вы хохлы?

– Матка, может, и говорила, да батько разубедил. А я его больше боялся. Так уж... А за подарок – спасибо.

– Это женщин наших, прославленных тружениц, благодарите, – объяснил Хрущев. – Лучшие, значит, стахановки с харьковской фабрики «Червонна робитница» наш заказ выполняли. В неурочное время, в счет сверхплановой экономии. Специально для командармов-украинцев.

– Выходит, не для меня, – сказал Кобрисов. И, чувствуя на себе всеобщие взгляды – настороженные, смешливые, просто любопытствующие, – он прошел к скамье и положил сверток.

– Нет, ты носи, – сказал Хрущев. Он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей. – Носи, Кобрисов, рано ли, поздно, а мы тебя в хохлацкую веру обратим.

Жуков, прогнав жёсткую, волчью свою ухмылку, отодвинул подарок на край стола, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами.

– Так, полководцы. Оперативную паузу заполнили. Командующий, слушаю ваш доклад.

Кобрисов, оборачиваясь к карте через плечо, взмывая указкой, казавшейся в его руке дирижерской палочкой, доложил:

– Двадцать четвертого августа, с разрешения командующего войсками фронта, захватил плацдарм против города Мырятин, через неделю, именно второго сентября, еще один плацдарм южнее, восемь километров ниже по Днепру. Впоследствии эти два плацдарма удалось соединить. И тогда – силами шести стрелковых полков, двух дивизионов самоходных орудий, при поддержке авиации фронта, выдвинулся клиньями се-

вернее и южнее Мырятина, создавая угрозу окружения. Основные же силы армии... – он замолчал на миг и услышал повисшую вдруг тишину, даже различил в ней шелест листвы. – Можно считать, всю армию повернул правым плечом на юг, в направлении – Предславль.

Никто не перебил его, и он коротко указал теперешнее расположение всех своих девяти дивизий, объяснил значение вычерченных стрел, обрисовал разведанные силы противника, напоследок назвал населенные пункты, где сейчас завязывались бои.

– Ближе всего к Предславлю; – сказал он, – нахожусь у села Горлица. Это двенадцать, не то тринадцать километров от черты города. По докладам командиров, некоторые здания – на возвышенных, конечно, местах – просматриваются в бинокли хорошо...

– Горлица! – не выдержал, едва только не взвыл, Чарновский. – Это же дачное место. Там у нас комсоставские курсы были, лагерный сбор. Знаю Горлицу... Там я, между прочим, с супругой будущей познакомился.

Собрание загудело, заскрипело скамьями.

– Лирику потом, – сказал Жуков. – Горлица эта – вся у нас в руках?

– Со вчерашнего вечера – вся, товарищ маршал.

И Кобрисов едва удержал лицо, чтобы не расползлось глупой, довольной улыбкой.

Жуков, цепким хищным глазохватом как бы вбирая в себя карту, поигрывал большими пальцами.

– Всё у вас, командующий?

– Пока... всё.

– Суждения – будут? Высказываются командармы. Начиная с младшего.

Командармов ниже генерал-лейтенанта не было, среди них Чарновский был младше по возрасту.

– Что тут судить? – сказал Чарновский, вставая и осаживая книзу гимнастерку, отчего рельефнее выделялись плечи и грудь. – К Кобрисову у меня претензий

нету, кроме... Кроме лютой черной зависти! Доведись мне – я бы всё сделал не лучше.

– Но и не хуже, наверно? – хриплым своим фальцетом вставил Терещенко.

Чарновский ответил угрюмо, не повернув к нему головы:

– Считаешь, Денис Трофимыч, просто повезло Кобрисову? Да, повезло неслыханно. Да надо еще свое везение – угадать! И уметь удачу схватить за крылья. И не упускать!

«Танковый батько» Рыбко, доселе как будто мирно дремавший, положила руки на толстый портфель, приоткрыл один глаз.

– Лучше всего – за гузку ее.

Чарновский, махнув рукою, сел.

– Генерал Галаган, – объявил Жуков. – Ваше мнение?

Воздушный лихач Галаган, смотревший уныло в пролом стены, на краешек неба, высказался не вставая:

– Мое мнение – лихо! Так это Кобрисов провернул, что дай Бог. Рисковый человек, я таких люблю. Я вот наблюдал всю операцию – аж сердце подскакивало. Действуй в том же духе, Фотий Иванович, и мы за тобой, авиаторы, в любой огонь полетим.

И сделал движение рукою, как будто покачал штурвальную ручку истребителя.

– Откуда же ты наблюдал, – спросил Терещенко, – что сердце подскакивало? С какой высоты, Ион Аполлинарьевич?

Батько Рыбко приоткрыл второй глаз.

– Из стратосфЭры.

Сильнее нельзя было задеть Галагана. Смуглое его лицо стало еще темнее.

– Ты, Денис Трофимыч, напрасно язвишь. Я в стратосферу не ухожу, я, когда надо, и брюхом по земле ползаю. Во всяком случае, когда Кобрисов на пароме Днепр переплывал, я его черную кожанку видел. И видел, как

он от страха бледный стал, когда на него «фоккер» пикировал, а с палубы все-таки не уходил. Насилу я этого «фоккера» увёл, так ему хотелось генерала подстрелить...

– Хорошего мало, – заметил Терещенко, – жизнью своей, командующего армией, по всякому поводу рисковать.

Галаган, не отвечая, перевел на Кобрисова тоскующий взгляд ярко-синих глаз, опущённых густыми черными ресницами. В этом взгляде можно было прочесть: «Чёрта ли ты, Кобрисов, не летаешь? Милое дело – небо! Туда б за тобой никто из них не полез».

– Я беру слово, – сказал Жуков.

В зале мгновенно стихло. Маршал, прежде чем что-то сказать, несколько раз повел короткой шеей в теснившем его воротнике, откидывая голову к плечу и закрыв глаза. Углы его рта загибались книзу.

– От вас, Галаган, я ждал именно взгляда с высоты. Орлиного взгляда, как говорит Верховный. Не дождался. Сплошные эмоции. Командующий, – он посмотрел пристально на Кобрисова, тем взглядом, от которого, говорили, иные чуть не падали замертво. – Вы стоите слишком близко к карте. Я вам советую рассматривать ее метров с полутора, а то вы уперлись в свой замысел и не видите всей картины. Такого авантюрного варианта, какой вы избрали, еще свет не видывал. Вы наступаете в узком коридоре, шириной километров... в восемь, что ли?

– Местами и шесть, – сказал Кобрисов.

– Еще не легче! Слева от вас – река, противник – справа. По сути, незамкнутое окружение. И вы в него сами втянулись. Противник вас может прошить насквозь. Прямой наводкой. Из вшивенькой 57-миллиметровой пушчонки. В любой час, когда ему заблагорассудится, он вашу армию разрежет на куски, как колбасу. Ему и прижимать вас не нужно к берегу, вы и так прижаты. Ему только выбрать, с какого куска начать,

какой оставить на потом. Вы что, ослепли? Или думаете, противник ваш – слепой?

– Да ведь пока, товарищ маршал... – начал было Кобризов.

– «Пока» – это не оправдание, – перебил Жуков. – Какие у вас гарантии, что это не случится завтра, послезавтра?

– Разрешите малость мне защитить свой замысел?

– Только и жду.

– Всю тяжелую артиллерию я на плацдарм не тащил, оставил на том берегу. С тем, чтоб она вдоль всего берега вела бы дуэль через наши головы, создавала бы защитный огневой вал. И в этом случае, товарищ маршал, узкий коридор – может быть, преимущество наше? Артиллерия, даже гаубичная, работает не на пределе прицела, имеет маневр огнем. Каждый метр, буквально, у нее пристрелян. Скажу, что были попытки прорыва и разрезать нас... как колбасу, были – и сразу нами пресечены. Учтем, тем более, господство нашей авиации.

Жуков помолчал и спросил:

– Связь с артиллерией – по радио?

– Кабельная, товарищ маршал. У меня первая же лодочная группа и кабель прокладывала по дну. Трофейный, ёмкостью в шесть проводов. Потом мы второй проложили и третий. Предусмотрена, конечно, кодированная радиосвязь, но пока не пользовались.

– Убедительно, – сказал Жуков. – Убедительно защищаетесь, командующий. Неубедительна – ситуация. Выглядит – несерьезно.

Он снова вглядывался в карту. Углы его рта при этом выпрямились. Может быть, вспомнил он, как сам же сказал, узнав о захвате плацдарма на голых мырятинских кручах: «Что ж, на войне многие большие дела начинаются несерьезно». Может быть, со своим звериным «чувством противника», он понимал, что защитники Днепровского вала не так уж горят желанием

воевать, если русская армия проходит мимо, не причиняя им особенного вреда, направляясь к Предславлю, за который, в конце концов, не они отвечают.

– Если честно, – спросил он вдруг, – противник здесь оказался пассивнее, чем вы ожидали?

Кобрисов, помявшись, ответил:

– Я, товарищ маршал, на эту пассивность его и рассчитывал.

И немедленно, только того и дождавшись, попросил слова Терещенко.

– Фотий Иваныч, – заговорил он, не вставая, опершись обеими руками на палку, с обидой в голосе. От обиды на голове у него вздуло хохолок. – Мне странно слышать, как ты говоришь: рассчитывал. И всё себе в плюс. А почему рассчитывал? Почему такая неблагодарность к соседям своим, командармам? Может, тебе наступать легко, потому что другим трудно? Потому что они на себя главную тяжесть приняли на Сйбеже? Ты по ровному идешь, а кто-то в оврагах, в болотах лесных барахтается, глину месит, костями ложится, чтоб тебе в руки Предславль положить...

– Согласен, – сказал Кобрисов, чувствуя, как вскипает в нем раздражение, как затмевает ему голову, и боясь этого, и не в силах будучи удержаться. – Да неужели ж не видно было, что этот ваш сибежский плацдарм легкой жизни не обещает? Теперь вот мудохаетесь там...

– Попрошу командующего, – сказал Жуков бесстрастно, – придерживаться военной терминологии.

– Виноват, товарищ маршал. Но хотел бы спросить соседей-командармов: чёрт их там вырыл, эти овраги, пока вы переправлялись?!

Он задал тот вопрос, на который и двадцать, и тридцать лет спустя будут искать ответа и не находить его: что же, заранее не было ясно, что южный плацдарм у села Сйбеж – ошибка, западня? Что овраги, леса и болота – не преимущество этого выбора, но тяжкое его

осложнение? Отчего так невняты, уклончивы объяснения историков: «к сожалению, сибезский плацдарм оказался сильно пересеченной местностью, изобилующей...»? Когда «оказался»?

Оказалось же так, что левый сосед Кобрисова, 40-я армия Терещенко, вышла не напрямую к Предславлю, а на семьдесят километров ниже по течению, и там-то, разумеется, вдруг посчастливилось найти излучину Днепра, капризно вильнувшего к востоку лет этак с полмиллиона назад. Вильнувши тогда, он теперь подарил Терещенко возможность – заявить свои права и на первый плацдарм, и на самый Предславль тоже. Щедрость подарка была еще и в том, что на всем протяжении правый берег Днепра выше левого и открытый, и только здесь, в излучине, он такой же низкий, овражистый и лесистый, не надо карабкаться на кручи, ни ломать голову, как укрыть высаживающиеся войска. Она так соблазнительно выглядела, эта излучина, для присутствовавших на совещании у Ватутина, в Доме культуры села Ольховатка, на нее безотрывно, как замороженные, смотрели и сам Ватутин, и вот сидевший теперь здесь Жуков, и командующие четырех вышедших на Предславль армий – трех общевойсковых и 1-й танковой Рыбко. Без конца тыча в эту излучину палкой, Терещенко страстно доказывал, что она подарена нам как бы самим Богом, – аргумент, иной раз действующий на грамотное начальство неотразимо, если высказывать его напористо и с восторгом, как умел Терещенко. К главному аргументу удачно пристраивались и дополнительные – вроде того, что этот участок берега, благодаря той же излучине, обстреливается нами с трех сторон. Куда ни кинь, а другого варианта быть не могло, как захватывать плацдарм у Сибеза и Предславль штурмовать – с юга.

Один изъян этого варианта виделся сразу: всё то, что пришло в головы наступавшим, могло же прийти и немцам, именно генерал-фельдмаршалу Эриху фон

Штайнеру. Но на это возражение, высказанное Чарновским, ответ у Терещенко был готов: «Что ж, если мы сами предвидим то, что противник может предвидеть, значит, кой-чему научились». – «Денис Трофимыч, это не ответ! – кричал запальчиво Чарновский. – Одного предвиденья мало, не худо бы и новинку какую придумать, если фон Штайнер о тебе заранее думает...» Но с быстрой, хищной улыбкой Терещенко и тут парировал: «Василь Данилыч, чего ему, фон Штайнеру, меня-то пугаться? Скорее он про Чарновского думает, больше наслышан...» И все присутствовавшие, тоже улыбаясь, поглядели на Чарновского, молодого, красивого, удачливого, самолюбивого Чарновского, о котором не столько фон Штайнер, сколько весь фронт был наслышан, что он прямо-таки засыпал письмами Ставку: «Никогда ни о чем не просил, об одном прошу – разрешить мне взять Предславль». Напомнив о зависти оппонента и тем смутив его, Терещенко добавил уже серьезно: «Хочу заверить – вполне отдаем себе отчет, кто такой фон Штайнер. Не раз встречались. В общем-то недурной вояка». Так сказано было о генерале, которого немецкие коллеги называли «лучшим оперативным умом Германии» и который, будь у него не столько сил, как у Терещенко, а вполовину меньше, изметелил бы его за несколько часов. Впрочем, то был стиль не одного Терещенко, но установившийся уже во всей армии – говорить о противниках этак по-солдатски насмешливо, и были они – недурной вояка фон Штайнер, что-то кумекающий Паулюс, не совсем идиот Гудериан. Хорошим тоном сделалось «презрение к врагу» – за то, что у него меньше танков, меньше орудий, что он в невыгодном положении, а у нас, почитай, шести-, семикратный перевес. Когда же этот ослабший недотёпа вдруг резал по морде или уходил изящно из окружения, тогда он был «гад ползучий» и «сволочь редкая».

Однако же доводы Терещенко возымели действие, а возражения Чарновского, а за ним и Кобрисова, едва

ли приняты во внимание. Между тем, Кобрисов высказал то, что не оставило бы камня на камне от этих доводов, и пришлось бы долго искать другие. Каким огнем обстреливался с трех сторон предполагаемый плацдарм? Если ружейно-пулеметным, тогда, конечно, три стороны предпочтительнее; для дальнобойной же артиллерии это безразлично – и стало быть, сибезжская излучина не представляла особенного удобства в сравнении с любым другим участком реки, хоть прямым, хоть выгнутым наоборот, к западу. Далее, в местности лесистой и овражистой легче укрыться, но куда труднее – передвигаться; чем окажутся там, как не бесполезной обузой, танки и бронетранспортеры, самоходные и возимые орудия? В полную силу можно задействовать лишь пехоту, но и ту – не в наступлении. Казалось, и Жуков, и Ватутин к этому прислушались, и однако ж, Терещенко поглядывал на всех с победной ухмылкой, словно наперед зная решение. Да и все знали самый главный его аргумент, не высказанный: этот кусок Правобережья можно быстрее захватить – и намного раньше доложить Верховному о форсировании Днепра. Этого жаждали с такой силой, что никакие возражения не могли быть приняты, а могли быть объяснены – и не без оснований – завистью к Терещенко, завоевавшему уже летучее прозвище – «командарм наступления».

«Сколько же нужно положить за такое прозвище? Тысяч сорок, не меньше?» – спрашивал себя Кобрисов, вглядываясь в худенькое, востроносое, всегда обиженное лицо Терещенко, в худенькую быструю фигурку, стянутую узким кителем. Из всех генеральских доблестей славился он, несомненно, неукротимой энергией, то есть умением бестрепетно гнать в бой мужчин помоложе себя и держать армию в руках, без промаха и с одного удара острым своим кулачком разбивая носы и губы подчиненным или колотя их по головам суковатой палкой. На укоры Ватутина он отвечал: «Я себя не щажу и других право имею не щадить». О том, как не

щадил он других, свидетельствовали потери его армии, самые большие во всем фронте; о том, как не щадит себя командующий, говорила всюду разносимая легенда, что спит он четыре часа, печась об армии и «всесторонне пополняя свое образование», которое считал недостаточным, а потому заваливал политотдел фронта приглашениями московским ансамблям и списками заказанных книг. Были тут Клаузевиц и Шекспир, фон Шлиффен и Тургенев, оба Мольтке и Горький; славные эти имена, однако ж, не расходились с палкой и кулачком, ни с плевками в лицо. И летучее прозвище – кажется, им же и придуманное, – тоже шло в дело: кто б еще мог так смело запросить по пятнадцать, по двадцать тысяч пополнения? и кому б еще их дали так безотказно? И наконец, кому б еще так легко простилось, когда сибежский плацдарм оказался-таки ловушкой, старательно уготованной фон Штайнером, когда вся техника и впрямь увязла в лесах и оврагах, которые всё наполнялись гниющими телами, а наступление никак не могло начаться? Ловушкой оказалось и всё совещание в Ольховатке, где все коллеги, не воспротивясь Терещенко, взяли и на себя ответственность. Ловушкой оказался и доклад Верховному, который тут же переменял сроки взятия Предславля: не «до зимы», а теперь уж точно к празднику 7-го ноября. Сам же Терещенко только выиграл: не хватало сил заглотать, но уже за то, что укусил, он стал генерал-полковником, и, провозись он в Сибее хоть полгода, в генерал-лейтенанты его уже не вернут. И странное дело, чем полней выявлялись все предсказанные опасности сибежского плацдарма, тем горячее защищали этот вариант и тем больше посылалось в ненасытную эту прорву людей и техники. И когда очевидно стало всем, и сам Терещенко перестал сомневаться, что одной его армии там не управиться, ее не вытянули оттуда немедленно, но бросили ей в помощь соседнюю, 27-ю генерала Омельченко, а следом и почти всю танковую Рыбко. А Терещенко и здесь не сник, но

с той же энергией выторговывал загодя, чтобы считалось, что главный удар по Предславию наносит его армия, а обе другие – будут вспомогательные. Похоже, вводилась единственно теперь спасительная тактика, которую генерал Кобрисов про себя называл «русской четырехслойной»: три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвертый – ползет по ним. Вступало и обычное соображение, что раз уже столько потрачено сил, то отступить никак невозможно, и может случиться, что вырвет победу «последний брошенный батальон», – то самое соображение, которое погубило немцев в Сталинграде.

– Что ж ты считаешь, – спросил Терещенко, голос был тонкий, ломкий, едва не плачущий, – наши усилия, наши потери общие, жертвы наши – всё зря? Почему ж раньше молчал? Тихой сапой, понимаешь...

– Он не молчал, – сказал Жуков.

Терещенко примолк, съежился, только смотрел исподлобья на Кобрисова с обидой, укоризной, побелевшими от злости глазами.

Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чем теперь задумался маршал? Не о том, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в афёру, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Поспешил обрадовать Верховного – и этим закрыл все иные возможности, которые вот же углядел этот увалень, преподавший ему урок гениальности? Да, принимая тогда свое «несерьезное» решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки.

А отгадка так проста была – танки! Нужно было их любить, как этот Кобрисов, чтоб знать, что любят они – ровную, слегка всхолмленную местность, где можно укрыться как раз по башню, а то вдруг вылететь на бугор, отстреляться, вновь затеряться в низинах, в

реденьких перелесках, искажающих лязг и рёв, главное – не теряя темпа...

– Вы генерал с танковым качеством, – сказал Жуков. – Я это ценю. Как же вы их на кручи-то волокли?

– По-всякому. Бывало, и слегами подпирали под гусеницы. Одного вытащим – другого он тащит тро-сами.

– Небось, и сами плечо подставляли?

Кобрисов только повел могучим плечом, и зал заскрипел скамьями, дробно рассмеялся.

– Фотий Иванычу, – сказал Терещенко, – такому лбу, хоть на спину звали...

– Сколько было машин? – спросил Жуков.

Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дремоты, ответил Рыбко:

– Шестьдесят четыре.

«Батько» всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков.

Снова повисло молчание. Жуков, поворотясь к залу, смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались – или хотели казаться – на голову ниже, опускали глаза. Хрущев ерзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Один Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами.

– Так, полководцы... – начал Жуков зловеще. Но не продолжал.

И так показалось Кобрисову, что не только он над ними имеет власть, но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую.

Терещенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Омельченко, тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, лунноликий Омельченко, с пробором в рыжеватых волосах, уложенным плойками, настроил себя на тон проникновенный, был – сама скорбь и душевная боль.

– Мы тут слышали грубые слова от товарища Кобрисова...

– Не для нежных ушей? – сказал Жуков.

– Не в том печаль, товарищ маршал, что грубые, мы в своем кругу по-солдатски привыкли, а – обидные. Упирается человек в свое корыто, а того не видит, что, может, всё по плану делается. Что командование фронтом свою задумку имело. Одним такая доля выпала, чтоб, значит, фон Штайнера этого на себя отвлечь, нервировать его, а другим – знамя над горсоветом водрузить. Не обязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный манёвр. И как у поэта сказано, у Маяковского, не грех напомнить: «Сочтемся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди...»

Вот как всё было, оказывается! Было и тогда, когда он, Кобрисов, смотрел в бинокль на черного ангела с тяжелым крестом на плече, высоко вознесшегося над кущами парка, на ослепительный купол собора, с пробоиной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри, на дымящиеся руины проспекта, наклонно и косо сходящего к Днепру, и думал о том, какая обидная доля выпала ему: стоять против великого города и только страховать Терещенко – на тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть сибежский плацдарм с востока. Вот как оно было, когда он трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, разворачивал карту и колесиком курвиметра вел по извивам водной преграды «р. Днепр», когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибежа и то же расстояние отложил к северу, и лапка с иглой уткнулась в сердцевину кружка, и прочиталось – «Мырятин». И было предвидено, спланировано заранее, как он, по колено в воде, ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях и посмотрит на тот берег и поразится его зловещему безмолвию и услышит толчки сердца в висках...

– Должен я отвечать на упрек, товарищ маршал? – спросил Кобрисов.

– Не обязательно, – сказал Жуков.

Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину.

– Николай Федорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения?

– Почему ж не предвидел? – раздражаясь, спросил Ватутин. – Когда позвонил ты мне в Ольховатку, я же не удивился, тут же согласие дал. А если б не попросил – тебе б рано или поздно приказали...

– И когда я свои танки быстренько на правый фланг перебрасывал, сам от себя прятал, чтоб другие не увели...

– Ну, всего не предусмотрить. И танки я от тебя не требовал кому-то передать.

Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо: «Не было этого, не было!», а другой: «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но, понимая отчетливо, что каждым словом обрубают ниточку, которую протянули ему, он все же не мог не бросить им свой горький упрек:

– Пускай бы вы просто на берегу стояли против Сибежа – и то бы фон Штайнера отвлекали. Нервировали, по крайней мере. А так – слишком дорогая получается мясорубка. – Он увидел грустный, предостерегающий взгляд Галагана и все же продолжал. – Он ждал вас на юге – и дождался. А если б сразу начали, где я начал, да всем гуртом навалились, он бы рокироваться не успел.

– Не доказано, – сказал Жуков. – Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но не всё. С кем согласовывали наступление на Предславль?

Кобрисов отвечал уклончиво:

– Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся?.. И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?..

– Никто вас не судит.

– Победитель ты, Фотий Иванович, – начал было Галаган, но Жуков остановил его, выставив ладонь.

– Не судим, а разобраться хотим. Как дальше быть.

– Вот я тоже разобраться, – поднял руку Хрущев. – Почему это так, что и судить нельзя? Я не в смысле трибунала, а в смысле суждений, значит. Партия такое право всегда имеет, и нам, значит, тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они...

– Никита Сергеич, много у тебя? – спросил Жуков.

– Ну... Я по оперативному выскажусь вопросу. Вот вы наступаете, Кобрисов, да? Наступаете, значит, пока, можно сказать, успешно. А поглядите вы, значит, через плечо. Через правое. Что у вас за спиной делается? А там, понимаешь, целый город у вас в тылу остается. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или так?

– А на кой он ему? – спросил Галаган.

– Как «на кой»? – удивился Хрущев. – Хорошее дело – «на кой»! Город советский. Занятый, понимаешь, врагом.

На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов, и должен был ответить Чарновский: «Отрежьте мне этот кусок плацдарма, вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет, я бы и этому рад был». Так должен был сказать Чарновский, но почему-то молчал. Даже показалось Кобрисову, что он вышел куда-то. Нет, просто отсел подальше, смотрел сосредоточенно в пол.

– Командующий, – спросил Жуков, – как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина?

– Нейтралитет, товарищ маршал. Он меня не тревожит, я – его.

– Но он угрожает вашим переправам.

– Угрожал. В основном, авиацией. Бывало, по сорок самолетов налетало, а то раз и семьдесят мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь господство, так что – тихо сидит.

– Но вы же клинья зачем-то выдвинули. Планировали окружение?

– Не было такого плана. Только угроза окружения. Где уж мне, с моими силами, еще окружать!

– И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинья – километров на пять. Да он оттуда раком уползет!

Так оно, верно, и будет, подумал Кобрисов. Уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнется, не достанется русским – ни машин, ни повозок, ни сёдел, ни танковой брони. Им – прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаетесь, чего вам бояться – встречи с земляками?..

Заговорил, между тем, Терещенко:

– Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить... Как понимать – «пусть уползёт»? Это предоставление инициативы противнику. Это мы еще ждать должны, как он решит: захочет – уползет, захочет – клинья обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год, мы ему должны навязывать нашу идею, а он – пусть принимает. И тут я у командующего четкой идеи не вижу пока. А я бы с нее начал. Но такую занозу, Мырятин, у себя на фланге не оставлял бы.

Жуков, не отвечая ему, обратился к Кобрисову:

– Сколько бы вам понадобилось еще машин? Если б была у фронта возможность.

Кобрисов задумался, набрал в грудь побольше воздуха.

– Сто бы мне. «Тридцать-четвёрочек».

– Почему сто? С потолка берёте?
– Так двести же не дадут.
– Генерал Рыбко, могла бы ваша армия сколько-то выделить ему?

«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки.

– Цэ трэба розжуваты, товарищу маршал. Да он же у нас такой озорник, Кобрисов этот. Ему дай сто, хоть и двести дай, он же их все на Предславль угонит.

– Ну, это уж как он распорядится.

– Давай, батько, раскошеливайся, – сказал Галаган.

Мучительная дума пересекла «батькин» лоб глубокой горизонтальной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался.

– Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал?

– Оперативная пауза, – сказал Жуков.

– Приходят это чекисты из гепоу к еврею: «Рабинович, сдай деньги в госбюджет!» Ну, жмется Рабинович: «Та откуда ж у меня деньги?» – «У тебя, может, и нет, а у твоей Саррочки, гепоу знает, припрятано. Давай, выкладывай». – «А зачем вам деньги?» – Рабинович это спрашивает. «Как это зачем? Социализм строить». – «А у вас их нету, денег?» – «То-то и дело, что нету!» – «Так я вам так скажу: когда нет денег – не строят социализм».

На анекдот генералы отвлеклись охотно, у Жукова края рта завернулись кверху.

– А мы его вроде построили, социализм? – спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребенка.

– Как же, Гёр Константинович! – укорил Хрущев. – Верховный еще когда говорил: «завоевания социализма».

– А, так его еще завоевывать нужно?

– Да нет же, Гёр Константинович, это он завоевывает, социализм!

– За всем не уследишь, – сказал Жуков виновато. – Ну, на то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю.

– К Мырятину, – напомнил Терещенко.

– Да, к Мырятину.

К танкам, однако, не вернулись.

Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудо-подбородок. Наверно, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с каким-то городишкой районного масштаба, имея впереди «жемчужину Украины», и понимал, наверно, Кобрисова, и потому опять смотрел на всех недобрым взглядом.

– Какая все-таки причина, – спросил он, – что командующий не хочет брать Мырятин? Он же у вас на ладони лежит.

Еще в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод.

– Товарищ маршал, – сказал Кобрисов. – Это так кажется, что на ладони.

– Мне кажется?

– Вам не всё доложили. Операция – очень дорогая, тысяч десять она мне будет стоить.

– Что ж, попросите пополнения. После Мырятина – выделим.

– Мне вот этих десять... жалко. Ненужная это сейчас жертва. Лишняя. И одно дело – люди настроились Предславль освободить, за это и помереть не обидно, а другое дело – я их сорву да переброшу на какой-то Мыр-Мыр. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую, когда мне каждый сейчас, в наступлении, втрое дороже! Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально...

– А мне, – спросил Терещенко, – думаешь, так хочется за Сибезж ничтожный тратиться? А приходится.

Жуков его остановил:

– Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. Что ж, командующий, к вашему доводу стоит прислушаться.

Но по голосу чувствовалось – не прислушался ни-сколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого – он как бы и не расслышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рожден, что для слова «жалко» не имел он органа восприятия. Не ведал, что это такое. И если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов – и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он – выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова «жалко». Не то что не позволял – не слышал.

– Стоит прислушаться, – повторил он. – Но вы мой довод не опрокинули. Вот что делает ваш противник. Удар во фронт. По ослабленному плацдарму. С выходом к Днепру.

– Это был бы акт отчаяния, – сказал Кобрисов. – Зачем ему между клиньями лезть?

– Согласен. Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас – самое для нас ценное. Так что подумайте. Подумайте о Мырятине.

Кобрисов запнулся на секунду, было у него чем этот довод оспорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущев:

– Я вот, Гёр Константинович, ну кто о чем, а вишый, значит, о бане. То есть, я, значит, как политработник волнуюсь. Меня, можно сказать, волнует этот вопрос, вот, значит, насчет укрепления морально-поли-

тического духа, значит, в войсках. Тем более, жемчужина Украины и всё такое. Вот были мы на днях с Николаем Федорычем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Федорович? Гарнесенький такой парубок. Ну, видный из себя мужик. Тоже играет значение! Душевно так, заботливо с солдатами перед боем поговорит, освещение, значит, подвигов хорошо подает. Наладил вручение, значит, партбилетов прямо на передовой. Бой, говорит, самая лучшая рекомендация! Его, кстати, идея была символические подарки украинцам-командармам. Вот хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать, хоть временно. Как же его? Фамилия вылетела...

– Никита Сергеич, – поморщась, сказал Жуков, – вспомнишь – вернемся к вопросу.

Он уже вставал, заставив и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошел к Кобрисову. Выпрямившись и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах, извечного раздражения низкорослого против верзилы. Впрочем, маршал погасил ее тотчас и осведомился благосклонно:

– Командующий, откуда я вас еще до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе?

– Был, товарищ маршал.

– А по какому поводу встречались?

Кобрисов, помявшись, сказал:

– А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров.

– А... – маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребенка. – Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. А за что, напомните?

– За потерю связи с войсками.

– Как же случилось, что живы?

– А нас тогда московская комиссия выручила, из Генштаба, во главе с полковником Григоренко. Они

ваш приказ обжаловали и, наоборот, кое-кого к Красному Знамени представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали.

Брови маршала сошлись на миг и снова разгладились.

– Вспоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. Теперь вы связи уделяете должное внимание. – Он протянул руку. – Поработайте еще, командующий. Желаю удачи.

Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобризову попрощаться.

– Ты, часом, не в обиде на меня? – спросил Терещенко. – Пощипали тебя, так и ты ж нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, больные струны задел!

– И с чего, спрашивается, гавкаемся? – сказал огорченный Омельченко. – Общее ж дело делаем, мирно бы надо.

– Ладком? – сказал Кобризов.

– Именно. Сошлись бы как-нибудь, обменялись, ну там бутылочку разоружили. Почему нет?

– Слушайся их, Фотий Иванович, – сказал Галаган. – А делай все наоборот. Три к носу, держи хвост трубой.

Подошел и Чарновский. Постоял, покачиваясь с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо, с еле не сросшимися густыми бровями.

– Извини, что не поддержал тебя. Но и ты себя с людьми не так повел. Мы не об этом договаривались.

– Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично.

Чарновский, ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел.

Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобризову.

– Как себя чувствуешь?

– Душно сегодня, – сказал Кобрисов. – Дышать тяжело. Расстегнуть бы две пуговички, а?

– Согласен.

Они расстегнули по две верхних пуговики на кителях и перешли на язык, невозможный у начальника с подчиненным.

– Операция эта все-таки дорогая, – сказал Кобрисов. – Я подумал, а сколько же в Мырятине этом жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай, одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверное, десять тысяч. Что же мы, за Россию будем платить Россией?

– Да только и делаем, что платим, Фотя. Когда оно иначе было?

– Я старше тебя на девять лет, Николай. Послушай мудрого. Не всегда это доблесть – бой навязывать противнику, иногда умней уклониться. Больше потом возмешь. Ты вот о «котлах» думаешь, об окружениях, да кто об них не мечтает? А знаешь, чем ты прославился пока, чем, может, в истории останешься? Двумя своими отступлениями. Под Харьковом и на Курской дуге. Это изучать будут, как ты сумел людей сохранить, технику всю вытащить, противника измотать – и сразу, без паузы, способен был контрудар нанести.

– Любо тебя послушать, Фотя, – сказал Ватутин, усмехаясь. – Лестно.

– Ты знаешь, что я не только льстить могу.

– Знаю. Не знаю вот, принять ли за комплимент, что одними отступлениями... Ладно, не в этом дело. Отвечу тебе комплиментом – всех ты нас удивил. Переиграл. Да ведь я давно считаю, что тебе по годам, по знаниям пора бы уже и фронтом покомандовать. Ты прав оказался, а мы – неправы. Теперь подумаем вместе – что скажет солдат? Что командование фронтом, представитель Ставки – чурки с глазами? Один генерал Кобрисов в ногу шагал? А солдату вера нужна в свое командование, иначе – как дальше ему воевать?

– А так же, как и воевал. Думаешь, вера в начальство сильно его греет?

– Ты не пререкайся со мной, Фотя. Тебе же так откровенно, как я, никто карты не выложит.

– Согласен, – сказал Кобрисов. – Помалкивать тоже согласен.

Ватутин прохаживался по залу между скамьями – грузной поступью, заложив короткие руки за спину, склонив круглую лобастую голову центуриона, из-за обвисших щек и резких складок у рта казался он много старше своих лет.

– Терещенку тоже незачем топить. Ну, ошибся. Увлёкся. Все тогда увлеклись.

– Его утопишь! – сказал Кобрисов. – «Командарм наступления»! Поди, он считает, я сейчас его место занимаю?

По тому, как быстро, удивленно взглянул Ватутин, видно было, что это он уже слышал.

– Еще раз скажу тебе, Фотя: армией ты командовал безукоризненно. Я за то, чтоб ты остался на Тридцать восьмой. Хотя замечу – Терещенку бы не пришлось уговаривать этот городишко прихватить.

– Как будто не понимаете вы: с потерей Предславля не будет фон Штайнер за этот городишко держаться, сам оттуда уйдет. Если прежде Гитлер его не снимет.

– И опять же, ты прав. И в то же время – неправ. Есть тут один тонкий «политесс», который соблюдать приходится. Сибезский вариант согласован с Верховным, и так он ему на душу лег, будто он сам его и придумал. А придумал-то – Терещенко. Теперь что же, должны мы от Сибеза отказаться? «Почему? – спросит. – Не по зубам оказалось?»

– И про потери спросит?

– Обязательно спросит. В первую очередь про потери. И в будущем сто раз он нам этот Сибез припомнит. Значит, надо как-то Верховного подготовить. И не так, что северный вариант лучше, а южный хуже, а

подать это как единый план. И надо ему все дело так представить, чтобы вроде он сам к этой идее пришел. Вот для чего и нужен твой Мырятин. Узнает он про него, трубочку раскурит, на карту поглядит – и сам себе понравится: «Они там, дураки, не всё видят, а мне-то сверху всё видно!» Тогда с Верховным любо-дорого дело иметь. Понял ты, наконец?

– Всё финтим, – сказал Кобрисов печально. – И со мною ты финтишь: уже обсуждали вы, как меня от армии отставить. А мне эти финты уже вот так настряли. Как ты-то от них не устал? Вроде не в тех ты уже летах, не в тех чинах.

Ватутин, потемнев лицом, потянулся к воротнику и застегнул пуговики. Сделал то же и Кобрисов.

– Ожидаю доклада о взятии Мырятина. План прошу мне представить самое позднее через сорок восемь часов.

– А ежели не представляю, то...

– Генерал Кобрисов, я не слышал этого!

Все же Ватутин казался подавленным. Молча он прошел к машине, молча кивнул шофёру ехать, ссутуленные его плечи и затылок под фуражкой имели вид какой-то убитый, пришибленный. «Хороший ты мужик, Николай Федорович, – подумал растроганно Кобрисов ему вслед, – но и тебя укатают».

И первым побуждением было этот план все-таки подготовить, то есть достать и еще раз обдумать тот прежний, что он составил сразу после переправы. Несколько часов просидел он в тесной клетушке, раскладывая свой «пасьянс» – какие части отвести безболезненно из района Горлицы, с участков, казавшихся пассивными, какие перебросить к Мырятину из того резерва, что приберегался для уличных боев в Предславле. Не выходило безболезненно, выходило больно, вынужденно и всюду опасно. Единственное, на что была надежда, – когда план будет представлен, ему кое-что подкинут, хотя бы те сто машин от «батьки».

Вечером же, подавая ему ужин, ординарец Шестериков вдруг сказал, тяжело вздыхая:

– Не знаю – говорить вам, Фотий Иваныч, не знаю – нет...

– В чем дело?

– Да плохо дело. Для нас плохо. Сиротин наш кое-чего услышал тут, под машиной когда лежал. Да лучше я его позову самого.

И вот что поведал смущенный, тоже сильно расстроенный Сиротин:

– Значит, когда это, командующие армии Чарновский до командующих фронта подошли поприветствоваться, то командующие фронта им говорят: «Ну, как, мол, лейтенант-генерал, как настроение?» – «Да что говорить, – командующие армии сказали, – завидую Кобрисову». – «И зря, Кобрисову не завидуйте, еще, мол, вопрос о командарме, который в Предславль войдет, еще, значит, будет решаться. Есть, мол, такая идея, чтоб это украинец был. У нас на семьдесят процентов украинцы в частях фронта, и город великий украинский, поэтому логично, чтобы и командарм был украинец». – «Так я ж, – командующие армии сказали, – тоже, значит, хохол, здесь родился, здесь женился, в комсомол вступил, в партию, почему ж, мол, не я?» – «А кто говорит, что не ты, – командующие фронта говорят, – может быть, и ты. Вопрос еще будет решаться...»

– Всё? – спросил Кобрисов, не поднимая головы, разглаживая карту ладонью. Было жарко лицу – от унижения ему, генералу, выслушивать шофёра, подслушавшего речи начальства.

– Дальше не слышно было, тут первый член Военного совета подъехали, Хрущев – генерал-лейтенант, и разговор перебили...

– Ладно, ступай.

Сильно хотелось напиться, и было впервые неловко позвать Шестерикова, чтоб принес фляжку. Шестериков бы настроился выпить, как всегда, вместе, говорил

бы утешительные слова, и некрасиво было бы его отослать, да и пить в одиночку генерал Кобрисов считал делом самоубийственным. Самое обидное, но отчасти и верное, было в рассказе Сиротина слово «логично». Логично она должна была родиться, эта идея, кому бы ни пришла в голову, как бы ни была омерзительна, гнусна. Ничем другим, видно, не свалить его, Кобрисова, не подкрепить пооблетевшие шансы Терещенко. Логично было и Чарновскому смолчать, не выступить, как договорились. «Хотя напрасно ты, напрасно, Василий Данилыч, – думал Кобрисов. – Не про тебя эта идея». Нелогично в ней было другое – почему же одних командармов она касалась? Пойдите же до конца – пехотинцев-казачков, узбеков, да всех русских, снимите с танковой брони. Летчика-эстонца верните на аэродром. И пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою сорокапятку наводчик-татарин. Вот еще тех евреев вы не учли, у которых целые семьи в этом Предславле, во Вдовьем яру, лежат расстрелянные. Всех непричастных отведите в тыл, пусть отдыхают, пьют, гуляют с бабами, сегодня одни только украинцы будут умирать за свою «жемчужину»!

И апатия, тяжелая, непреодолимая, овладела генералом Кобрисовым. Как будто опустошили сердце, вынули то, что стало в последние месяцы главным в жизни, что привязывало к ней; куда-то уплывал и самый облик никогда не виденного им, кроме как в бинокль, великого Предславля, покрывались туманной мглой черный ангел с крестом и ослепительный купол собора; ему, «негромкому командарму», отводилось его всегдашнее место, его роль – быть на подхвате и довольствоваться «разновесами», как Фатеж, или Сумы, или станция Лихая. Он проник в замысел своих коллег и понимал, что с этим Мырятином его заставят потерять время, темп, напор, да и сил его ни на что другое не хватит, и покуда он тут провозится, они успеют осуществить что-нибудь вроде рокировки, переброски войск с сибеж-

ского плацдарма сюда к нему, и главную роль, конечно, отведут Терещенко – нельзя же его топить, он им свой...

А что обещал Мырятин? Выдвинутые клинья уже не втянуть назад – этого ни перед командованием не оправдаешь, ни перед солдатами, потерявшими в боях товарищей. Значит – окружение? Как он и намечал? А если не уползут из мешка защитники Мырятина, если обречены или сами себя обрекли участи смертников, вроде финских снайперов-«кукушек», приковылавших себя к верхушкам сосен?

И отсюда вспоминалась прошлая зима, когда входили в обычай казни на площадях, и именно первая им увиденная, которой не могли себя не обпачкать вчерашние освободители. Поехали после совещания всем гуртом, было не отговориться, сказали, что *политически важно для населения*, чтоб самые крупные звезды присутствовали. Казнимых было четверо – сельский староста, хлипкий, сильно пожилой мужичишка, двое молодых, лет по девятнадцати, полицаев и немец из комендатуры. Их вели по снегу в сильный мороз без шапок, со скрученными за спиной голыми руками, было тяжело смотреть, как у них побелели уши и пальцы; у старосты на голове шевелились от ветра реденькие седые клочья, он был как в полусне, голосила и рвалась к нему его, должно быть, жена, вот уже скоро вдова, ее удерживали двое подростков, тоже почему-то без шапок, с белыми лицами; политически неразвитое население всё воспринимало как-то растерянно, ошарашенно, один из парней-полицаев всё оборачивался и спрашивал: «А чо я такого сделал? Чо сделал?» – и никто не отвечал ему. Немец, чуть горбоносый, голубоглазый и белокурый, крепкий, лет тридцати, шел в расстегнутом мундире, с голой розовой грудью, и усмехался, сверкая ровными белыми зубами. Казнимых взвели на грузовик, поставили у кабины лицами к толпе, желтоволосые мордастые выводные в белых полушубках сноровисто надевали петли, вполголоса командовали: «Подбородочек

повыше!», затем лично проверил исходную затяжку длинный кадыкастый лейтенант в очках, с сурово сжатыми губами, он же зачитывал выписку из приговора, по его же сигналу грузовик стал отъезжать. И тут немец, что-то прокричав насмешливое, злорадное, побежал, крепко топая сапогами по днищу кузова, добежал до края и ринулся, рухнул сам, не дожидаясь неизбежного. И пока те трое еще переступали, еще шаг делали, еще полшага, еще тянулись, на цыпочках, к последнему глотку дыхания, он уже висел, выгибаясь и крутясь, поворачиваясь из стороны в сторону синебагровым, надувшимся, залитым слезами лицом. Было похоже, он убил себя сам, но ушел от казни, кто-то из выводных даже крикнул с досады.

Не было ощущения расплаты, а теперь генерал Кобрисов понял, что и не могло его быть. И не потому, что он толком не знал, что такого ужасного натворили эти четверо, чтоб полагалось прервать им и ту крохотную частичку вечности, которая нам отпущена так неумолимо скупое. Нет, изучи он весь свиток их злодеяний и не найди он никакого оправдания, он бы и тогда испытал другое ощущение, неотвязное и унижительное, как если бы всё совершалось применительно к нему самому, к его рукам, вот так же бы скрученным сзади и омертвевшим, к его шее, на которую так же сноровисто и деловито надевали бы мерзлую петлю, проверяли бы, хорошо ли смазана, затянется ли как надо, — и при этом не проявляли бы не только сострадания, но просто любопытства, что же чувствует, о чем думает человек, глядя в лица сородичам своим по человечеству, остающимся в этом мире и собравшимся смотреть, как он будет этот мир покидать. Должно быть, какой-то вышший судия посылает нам это ощущение, наказывая за соучастие, а зритель ведь тоже соучастник. И, верно, не один Кобрисов чувствовал так: ехали обратно, в штабном автобусе, как-то разрозненно, стыдясь друг друга, и рады были разъехаться каждый в своем «виллисе», ни-

кого не позвав, как всегда бывало, к себе в гости, — люди военные, наученные мастерству убивать, причастные к десяткам тысяч смертей. Все-таки это разные вещи: почему-то же для войны годится почти любой здоровый человек, по крайней мере мужчина, но для этого ремесла подбираются люди особые, чего-то лишенные или напротив, наделенные чем-то, чего лишены все другие. Генерал, при своих звездах и орденах, чувствовал даже некое странное превосходство над ним этих расторопных сержантов, которым, видимо, нравилась их работа — и не только тем, что спасала их от передовой, — этого долговязого сурового лейтенанта в очках, который, проверяя затяжку, просовывал скрюченный голый палец между веревкой и теплой шеей казнимого. Больше того, чувствовал перед ними необъяснимый страх, чувствовал и тогда, на площади перед сельмагом, и даже теперь, лежа во тьме на узкой койке, посреди плацдарма, где они уж никак не могли появиться.

Он не знал, мог ли бы скорее отдать свою жизнь, чем отнимать ее у другого, безоружного, судьба ни разу не предъявила ему такого выбора, но и теперешний его выбор был чем-то сходен и нелегок по-своему. И на тяжесть его он пожаловался сам себе, но скорее — тому судие, который должен был услышать его и избавить от страхов и разрешить сомнения:

— Я не палач! Мое дело такое, что у меня должны погибать люди, но я — не палач!..

Несколько раз он повторил это, что-то утверждая в себе. Он себя укорил, что был нечестен, когда пытался тайком навязать другому, чего сам страшился. И почувствовал даже облегчение, решив бесповоротно — не прикладывая рук к делу, которому противилась душа.

Командующий, не представивший требуемого плана, подписывает себе отставку. Но за весь следующий день ничего не было предпринято в отношении Мырятина; все распоряжения делались, будто и не было совещания, ни ультиматума Ватутина, а в те промежутки вре-

мени, когда генерала не тревожили, он читал Вольтера. У него была причина читать этого автора, и по его просьбе жена прислала первое ей попавшееся – «Кандида». Приопустив очки на нос, он читал неторопливо, вдумчиво и все же не понял, почему из многочисленных злоключений героя следует вывод, что «всё к лучшему в этом лучшем из миров». Но венчающая фраза – «Нужно возделывать свой сад» – ему понравилась, он даже подумал, что неплохо бы ее ввернуть на каком-нибудь совещании, когда зайдет речь о послевоенном восстановлении народного хозяйства: «Как говорит Мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, нужно возделывать свой сад». И, закрыв книгу, вздохнул – какие там совещания, это всё грезился ему день вчерашний.

Поздним вечером, уже в темноте, подкатил к вокзалычику одиночный «виллис». Адъютант Донской с Шестериковым встретили гостя, но подняться он не спешил. Кобрисов, накинув на плечи кожанку, спустился в зал. Почему-то не через двери, а через пролом в стене вошел кто-то невысокий и тучный, с портфелем. Это был начальник штаба армии, генерал-майор Пуртов, живший неподалеку, в селе Спасо-Песковцы, где и расположился весь штаб. Здесь он почти не появлялся, Кобрисов сам туда ездил работать с ним, и это появление было как проблеск новой надежды.

Они стояли друг против друга в темном зале, где едва брезжило рассеянным призрачным светом луны, оба величественные по-своему, не любящие лишних движений. Всё вокруг чем-то напоминало неубранную после спектакля сцену, при опущенном занавесе.

– Стряслось что-нибудь? – спросил Кобрисов.

– Фотий Иванович, осталось двенадцать часов.

Думаешь ты что-то предпринять?

– А что б ты мне посоветовал?

– Давай так рассудим. Противник не делал попыток уйти от окружения...

– Правильно. Потому что понимает – у нас на это сил нет.

– Неточно. Потому что он считает, что мы по науке должны окружать. Создадим внутреннее кольцо и внешнее. На это действительно сил не хватит. А если нам одним внутренним обойтись? Кто его пойдет выручать в Мырятине? Скажи только «гоп», я до утра успею разработать.

– Ты уже разработал, – сказал Кобрисов. – Вон, я вижу, в портфеле принес. А «гоп» я тебе не скажу. Я, Василь Васильич, с тобой полтора года работаю, и что мне нравилось в тебе – ты на авантюры не шел никогда. Это я, командующий, могу и с дурью быть, мне она полагается по чину, а ты мою дурь обязан скорректировать, в рамочки ввести. Понимаю, ты обо мне беспокоишься, хочешь меня выручить, но из-за этого людей губить...

Он не договорил. Эти два человека в равной степени знали, какую новинку таил в себе Мырятин, – и не могли об этом сказать друг другу.

– Другой вариант, – сказал Пуртов. – Назовем его: «имени Терещенко». В принципе – лобовой удар. Сюга. Отбросим его хоть на три километра подальше от переправ.

Кобрисов спросил, не скрыв усмешки:

– И долго ты... готовил его?

– Фотий Иваныч, вариант Терещенко тем и прекрасен, что его и готовить особенно не надо. Наступает каждый оттуда, где стоит. Одним словом – «Вперед!» Нам бы только начать, а там попросим пополнения...

– И дадут? – спросил Кобрисов.

– Не могут не дать, – сказал Пуртов не очень уверенно.

– Привык я, Василь Васильич, деньги считать, когда они в моем кармане. Так не ошибёшься. И печальных неожиданностей не будет, а всё – приятные для сердца сюрпризы. В любом варианте должны мы от

Представля что-то оторвать. Я под расстрел пойду, но этого не сделаю.

Пуртов снял фуражку и держал ее у груди.

– Фотий Иваныч, мы ведь с тобой хорошо работали, а?

– Душа в душу, Василь Васильич.

– Это лучшее, что было у меня за всю войну. Я это на любой случай тебе говорю. А за эти... варианты – извини. Я тоже на некоторую дурь имею право.

– Что-то мы разнервничались с тобой. Поднимемся ко мне, чайку попьем. Фляжку нам Шестериков выставит.

– Ты ж знаешь – язва. Не хочу лишним быть за столом. И настроился я поработать. Может, что и придумаю. Тогда позвоню. А лучше – заеду.

Кобрисов, провожая его, знал, что не позвонит он и не заедет. Потому что придумать тут нечего. Но был он благодарен Пуртову за визит, за добрые слова, хотя никто третий их не слышал.

Ватутин дал ему лишних два часа. Позвонив из Ольховатки, он ни о чем не спросил, он сказал:

– Поговорил я тут со Ставкой. Они согласились с моей оценкой, что поработал ты хорошо, но – перенапрягся, нуждаешься отдохнуть в санатории, побыть с семьей. Так, недельки три. В общем, особо мучить тебя не будут, только доложишься по приезде.

«Значит, и расспрашивать не будут», – подумал Кобрисов.

– Спасибо за заботу, Николай Федорович.

– Да уж как водится.

– А не может того быть, что вдруг меня Верховный вызвать захочет?

Ватутин подумал секунду.

– Не исключается.

– Да нет, это я на всякий случай. Чтоб знать, что говорить.

– Скажешь, как есть.

– Кому передать армию?

Не унять было дрожь в руке, державшей трубку, и казалось, Ватутин это слышит.

– Никому. Твой начальник штаба за тебя остается пока. Вопрос о командующем еще не поднимался официально.

– Ну, что ж... Я главное дело сделал. В двенадцати километрах нахожусь.

– Их еще пройти надо, Фотий Иванович.

– Ну, это совсем уже кретином надо быть – не пройти. Главное все-таки – сделано. А там – кто бы ни был. Хоть Терещенко. Для хорошего человека не жалко.

Ватутин промолчал.

– А знаешь, Николай Федорович, все равно я буду считать – я взял Предславль!

– Я тоже так буду считать, – сказал Ватутин. – Да если б во мне было всё дело... Но это, наверно, не мужской разговор?

– Пожалуй...

– Когда намерен отбыть?

Для генерала не существует «через неделю», не существует и «завтра».

– Сегодня, – ответил Кобрисов.

– Мой «Дуглас» могу предложить, Галаган тебя свезет.

– Спасибо еще раз, но боюсь я.

– Чего боишься?

– Высоты боюсь. А еще больше – Галагана. Он меня как-то по-дружески на бомбовозе прокатил, так руки тряслись неделю. Я уж как-нибудь на своем Сером.

– Во всем ты упрямый, Фотий Иванович, не переделаешь тебя. Попрощаться заедешь?

– Приказываешь?

– Какой тут приказ?

– Тогда – не заеду. Крюк большой...

– Как знаешь. До свиданья, что ж...

– До свиданья.

В четыре часа пополудни тяжело нагруженный «виллис» достиг Днепра и стал спускаться к переправе. Так вышло, что генерал Кобрисов только сейчас впервые увидел ее – изогнувшуюся дугою, громыхающую на зыбях цепь ржавых понтонов, с дощатым настилом и леерами на стойках. С обеих сторон ее стояли по две зенитки, с ухоженными орудийными двориками; вдоль и поперек медленно бороздили реку бронекатера с задранными к небу орудиями и счетверенными пулеметами; в рваных темных клочьях облаков барражировали истребители Галагана. Переправа выглядела прочно обжитой, а ему-то, Кобрисову, всякий прибывавший к нему на плацдарм казался героем. С сильно бьющимся сердцем смотрел он, хотел узнать – не здесь ли он сам переплывал, полтора месяца назад, стоя на палубе танкового парома, дырявой самоходной баржи с помятыми бортами и деревянной, в щепу раскрошенной рубкой, среди всплесков пуль, воя налетевших «фоккеров», ржания коней, стонов и хрипов тонущих. Не тот был теперь Днепр, по-другому оживленный, по-другому шумный. Истинно, не войдешь дважды в одну и ту же реку.

Регулировщик с полосатым жезлом, с белыми ремнем и портупеей, четко приветствовал генерала, затем подошел к фанерной будочке без двери, где в углу стоял прислоненный автомат, а на полочке телефон с зуммером.

– Шура! – кричал он в трубку. – Задержи там, пока генерал проедет.

– Всё чином! – сказал восхищенно Сиротин и мягко вкатил машину на податливую шаткую аппарель.

Они проехали середину реки, когда к левому берегу подошла колонна танков, автоцистерн и конных повозок. Тамошний регулировщик ее задержал жезлом – на узком понтоне «виллису» с танком было б не разминуться. Сколько было танков, генерал отсюда не мог определить, хвоста колонны не было видно. Может быть,

это и были те сто машин из «бадькиной» заначки, которых не хватило генералу Кобрисову, чтоб ехать ему сейчас триумфатором по главному проспекту Предславля. Имя это – «Предславль» – опять зазвенело в нем, но как надтреснутая труба, слышалось предчувствие, предвешение славы, но и предсмертный крик воина, падающего с городской стены, вместе со штурмовой лестницей.

Кобрисов не знал, что то было начало грандиозной операции под кодовым названием «Туман», отчасти предвиденной им рокировки войск с южного плацдарма на северный. Им предстояло в тайне покинуть рубежи на Правобережье и переправиться на берег левый, затем передвинуться на сто шестьдесят километров к северу, минуя траверз Предславля, и вновь переправиться и тогда уже двинуться к югу, тем коридором, который пробила армия Кобрисова. Множество хитростей содержала эта затея, не зря названная «Туманом». Не говоря о том, что само передвижение должно было совершаться ночами или в тумане, разрозненными рокадными дорогами, заглушаемое барражирующей авиацией, но для сохранения секретности оставлялись на сибезжском плацдарме ложные батареи, то есть вышедшие из строя или сколоченные из бревен орудия, такого же происхождения макеты самоходок и танков, ящики от боеприпасов, оставлялись и ложные радиостанции, продолжавшие переговариваться и переписываться замысловатыми шифрами, управляясь автоматически. Военные историки уверят нас, что люди при этом не оставлялись, что раненые были все вывезены, а убитые преданы земле. Уверят и в том, что хитроумный фон Штайнер так-таки ни о чем не догадался и немецкие наблюдатели не заметили, что макеты все-таки неподвижны, рации твердят одно и то же, а чучела в касках и шинелях лишь слегка колеблются от ветра. И вот этой громоздкой, мучительной и не столь уж бескровной, вынужденной операцией будем мы гордиться, называть гениальной новинкой, более напирая на победное ее

завершение и заминая бесславное начало, когда можно еще было, пожалуй, обойтись и без нее...

– Что я вижу! – вдруг сказал адъютант Донской, разглядывавший тот берег в бинокль. – Регулировщик-то – и вправду, Шура. То есть Шурочка. Во всяком случае, в юбке. И, кажется, сапожки на каблучках. И ничего, ничего!

Он передал бинокль генералу. Воспользовавшись минуткой, регулировщица, позволив жезлу висеть на запястье, вынула из нагрудного кармашка зеркальце, критически осмотрела потресканные губы, облупившийся носик, заправила под пилотку выбившийся белокурый локон.

– Фотий Иванович, – спросил Сиротин, – это если девку справную, на каблучках, поставили регулировать, то, значит, дело уже назад не повернется?

– Куда ему повернуться, – сказал генерал. – Теперь уже – до Берлина.

Сиротин, воодушеваясь, было прибавил скорости, но генерал его усмирил взглядом. Танковая колонна могла и подождать генерала, полагалась ему такая почесть.

И покуда командарм-38, генерал-лейтенант Кобрисов Фотий Иванович, едет по переправе, есть время и у нас хоть коротко рассказать, как сложатся военные судьбы других участников того совещания в Спасо-Песковцах. Троим из них не пережить войну. Так радевший и считавший логичным, чтоб «жемчужина Украины» была бы и взята украинцем, генерал армии Ватутин, полгода спустя, на проселочной дороге, получит в бедро пулю украинца-самостийника, и разгорится гангрена, усилия лучших хирургов не спасут ни ногу, ни жизнь. Как и предсказывал Кобрисов, два знаменитых ватутинских отступления будут изучаться в академиях и штабах многих армий мира; что же до последней его операции, Корсунь-Шевченковского «котла», она осуществлялась силами не одного, а двух фронтов, но и ватутинскую

половину славы сильно пощиплет нахрапистый Конев, поставив на рубеже встречи свой танк и выбив на пьедестале надпись, лично им сочиненную. Не будучи филологом – и против истины не греша, – он проявит, однако ж, немалую тонкость и понимание русской фразеологии, в которой подлежащее и сказуемое имеют решающее преимущество перед вялым дополнением:

«Здесь танкисты 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии И. С. Конева пожали руки танкистам 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина, завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск...»

Несколько позже, в Восточной Пруссии, генералом армии и самым молодым из командующих фронтами, погибнет Чарновский – от осколка, попавшего ему в спину, под левую лопатку. Наверно, вторую бы жизнь отдал честолюбивый Чарновский, чтобы рана была – в грудь... Лихой Галаган, поднявшись в свой 251-й боевой вылет в небо над Балатоном, встретит противника, который покажется ему достойным, чтобы, не прибегая к тривиальной перестрелке, затеять с ним рыцарскую игру «кто кого пересмотрит». Считается, что ни один немецкий асс не принял русского лобового тарана, но, может быть, этот попросту растерялся, не справился с управлением, а только не отвернул, и долго они не расставались, падая одним сверкающим факелом, покуда их не приняла остужающая озерная гладь... Генералы Омельченко и Жмаченко доводят достойно, не чересчур выделяясь, но и других не хуже, за что и получают по генерал-полковнику и по Кутузову I-й степени – кажется, оба в один день. «Танковый батя» Рыбко, носивший в своем объемистом портфеле бесконечные разработки, опровержения и дополнения, разбившие в пух и прах «пресловутую доктрину хваленного Гудериана», сделает карьеру скорее ученую и, года не довоевав, уйдет преподавать в академию. Особенно же повезет

Терещенко: вступив в командование 38-й армией, он пройдет, разумеется, те двенадцать километров и возьмет Предславль ровно к празднику 7-го ноября. Пройдя по Карпатам, он сильно пошерстит армейский состав, так что по пальцам можно будет пересчитать солдат-ветеранов, начинавших от Воронежа, а напоследок, для вящей иронии судьбы, достанется ему освобождать Прагу – уже освобожденную Первой дивизией РОА. Победы маршала Жукова, покрывшие грудь ему и живот панцирем орденов, не для наших слабых перьев, скажем только, что против «русской четырехслойной тактики» не погрешил он до конца, до Берлинской операции, положа триста тысяч на Зееловских высотах и в самом Берлине, чтоб взять его к празднику 1-го мая (опоздал на день!) и чтоб не кинулся на подмогу боевой друг Дуайт Эйзенхауэр. Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю – и за то навсегда поселит Железного маршала в своем любящем сердце! Военная судьба Никиты Хрущева сложится не так звездно, но сохранит его для дела не менее славного – низвергнуть Верховного. Оценим же юмор и художественный дар, с какими запечатлит он Верховного в нашей памяти, вложив ему в руки, как Афродите зеркало, глобус, по которому тот будто бы и провоевал всю войну. Оценим неистовую энергию, с которой еще и еще раз потопчет он бывшего кумира и хозяина, плиты его пьедесталов употребит на щиты электростанций, бронзу памятников перельет на подшипники, самый прах его вышвырнет из Мавзолея догнивать в простой могиле, – но и оттуда, из нового захоронения, достанет-таки его Верховный, достанет не своею набальзамированной рукой, а руками того заботливого полковника, того «гарнесенького парубка», имени которого так и не вспомнил Хрущев на совещании.

Среди таких биографий – как не затеряться «негромкому командарму» Кобрисову? Кто вспомнит, как он стоял на пароме посередине Днепра, умирая со страха

перед «Фокке-Вульфом», пикирующим прямо на него, плюясь огнем из обоих крыльевых пулеметов? А между тем, в эти минуты в историю Предславльской операции, в историю всей войны вписывалась страница, удивительная по дерзости и красоте исполнения, которой суждено будет войти в учебники оперативного искусства и опрокинуть многие устоявшиеся представления, но и страница загадочная, как бы недосказанная, не сохранившая имени автора.

Страницу эту назовут – Мырятинский плацдарм. Ее, как водится в стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее, приспособят к истории, как она должна была выглядеть, но не как выглядела на самом деле, и понаторевшие в этом лекторы из ветеранов, прихрамывая вдоль карты с указкой, убедительно станут доказывать, что Мырятин с самого начала считался плацдармом основным, а не отвлекающим – эту роль отведут Сибезу, – и было это, конечно же, заранее спланированным маневром, а не так, что случайно ткнулась лапка циркуля. Вот разве что сыщется все-таки дотошный историк, который не пощадит штанов в усидчивом рвении и докопается до истины? Или найдется щелкопёр, бумагомарак, душа-Тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу – и тем спасет генеральскую честь?

Впрочем, и этого не надо. Противник, судящий нас порою справедливее, чем мы друг друга, именно генерал-фельдмаршал Эрих фон Штайнер, в своих послевоенных мемуарах «До победы – один шаг», вот что скажет об этой загадочной странице:

«Здесь, на Правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз – когда наступавший против моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином. Второй его шаг, не менее элегантный, – личное появление на плацдарме в первые же часы высадки. Но уже на третий ход

русских не хватило. Я так и предвидел, что вместо немедленного, всеми наличными силами, броска на Предславль, они предпочтут штурмовать этот городишко Мырятин, который мы сами не считали столь важным опорным пунктом. Это им стоило трех недель промедления и нескольких тысяч убитыми, которых могло не быть. Русские повели себя, как нищие: перед ними лежал алмаз, а они предпочли выторговывать – грошик...»

Но – кончается переправа, блондинка-регулирующая высоко подняла жезл, сама вытягиваясь в струнку, и танковая колонна взревела дизелями, окуталась черным дымом, готовая вступить на измочаленный настил.

У самого выезда возились двое саперов, привязывали к леерной стойке шест с фанерным щитом. По белому полю бежала размашистая черная надпись: «Даёшь Предславль!»

– Даю, – сказал генерал. – На серебряном подносе даю. Только руку протянуть и взять.

Так пересек он Днепр в обратном направлении, расставшись с вожделенным, никогда не виденным Предславлем, оставив свою армию, – он, поклявшийся, что никакая сила не сбросит его живым с плацдарма.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ ИЗ КАНАДЫ

* * *

Душа моя тянется к дому. И видит – спасения нет.
Оно достается другому, однажды в две тысячи лет,
И то – исключительно чудом, в которое Томас, простак,
Не в силах поверить, покуда пробитого сердца в перстах
Не стиснет. И ты, собеседник, как в черную воду глядел,
В созвездиях, в листьях осенних, когда мы с тобой
Остались. Состарилось слово, горит, превращается
Одним в полумраке багровом рождаться. А что же
другим?

Такая вот очередь, милый. Любители жизни живой,
Сойдясь с неприкаянной силой, назвали ее роковой,
Придумали свет за оврагом, прощальную чернь
Врагом называли и другом осиновый крест на горе.
А пламя колеблется, копоть пятнает высокую речь.
Разорванного не заштопать, и новой заплате не лечь
На ветхую ткань золотую. И с прежним душевным
Мы странствуем, любим впустую, второго пришествия
ждем.

А где-то есть край окаянный, где гвардия ищет с утра
Запомнивших треск деревянный и пламя другого
костра.

Оливы рассветные стынут, нужды никакой в мятеже –
Но каменный диск отодвинут, и тело исчезло уже.
А где-то есть край богомольный – черемуха, клевер,
осот.

Проселками вор сердобольный пропавшее тело несет.
И в поле у самой границы ночует, и стонет во сне –
Опять ему родина снится, как раньше мерещилась мне.

А шелест воды нескончаем. Холодные камни блестят.
Послушай, ты так же случаен, как этот глухой водопад,
А что не убьют и не тронут, что лев превращается в мед –
То канет в крутящийся омут, непойманной рыбой

плеснет,
И там, за железной дорогой, у самой стены городской
Блеснет грозовой тревогой, кольнет невозможной
тоской,

И ясно прошепчет – берите и горы, и ночь, и погост,
Где дремлет душа в лабиринте огромных, внимательных
звезд.

* *
*

Позабыть-позабросить, протиснуться в общий вагон,
с бородатым попутчиком сизый глушить самогон

под вареные яйца, и, пот вытирая со лба,
толковать, что ужасна планида, она же судьба,

и лететь через версты ольхи, лебеды, ковыля,
чтоб лежала пластом безлошадная эта земля,

чтоб в окне вечеряющем филин носился, как нож –
на помине нелегко, в ослепшем полете хорош...

А еще хороша – заплетаться – страна за окном,
нищетою знаменита, хмельна самодельным вином,

и германец мой, Федор Иванович, друг роковой,
он бы понял меня, седовласой тряся головой,

но вздохнет собутыльник – ему горевать недосуг
над горящим кустом по осенней дороге в Овстуг,

ни тебе иудейских, ни прочих немецких забот.
Хороша отговоркой... и выпьет, и снова нальет,

и когда я остыну, и сам-то себе надоем, –
хороша, пробормочет, приезжий, да только не тем..

* *
*

«Вот церковь, – я сказал, – Петра и Павла.
Она давно заброшена. Когда-то
в ней овощи хранили, а потом
решили клуб открыть, однако быстро
одумались – ведь кладбище вокруг.
Перепахать хотели, но, как я
слыхал, районный эпидемиолог
не разрешил. А кладбище и клуб
две вещи несовместные. Хотя, –
я засмеялся, – под иным углом
мне вся моя отчизна предстает
огромным сельским клубом, в бывшей церкви,
на кладбище...»

Я долго рассуждал,
но спутники мои не улыбались.

И, обойдя несчастную церквушку,
мы замерли. В одном окне была

проломана решетка. Я, подставив какой-то ящик, подтянулся на руках и стал протискиваться в дыру. Там не хватало одного, от силы двух железных прутьев, так что и при моем – весьма субтильном – телосложении было трудно. Оцарапав бок, рассадив ладонь, переводя дыхание, я все-таки пролез в просторный полумрак, и прыгнул на пол, и руки отряхнул. Запахло мглой, гниением и пылью, голубиным пометом, запустением. Иные из фресок расплылись, другие были попорчены зубилом. Однорукий Христос (реалистического стиля начала века) шествовал по водам к пустой стене, где красовался ветхий обрывок ситца с надписью «Да здра...»

Печально стало мне. Я крикнул: – Эй, эгей, сюда! – но спутники мои не захотели выпачкать костюмов о кирпичи, о штукатурку, о порядком проржавевшее железо разломанной решетки. Лишь один, когда я лез обратно, вдруг взмахнул рукой и щелкнул кодаком. Спустившись, я тоже засмеялся, увидав большую надпись ХОДА НЕТ над самой решеткою. Занятный вышел снимок, особенно уместный в этот день, замысленный как некое прощанье с отечеством.

Впоследствии мой спутник признался мне в письме, что наш поход

нисколько не понравился ему,
скорее озадачил, лишний раз
заставил думать о юродстве русских,
скорбеть, что в бедном этом государстве
заброшенных церквей, забытых кладбищ
с бумажными цветами на могилах
сто лет пройдет, и триста лет...

Но, впрочем,
писал он в заключение, я рад,
что сделал этот снимок. Прилагаю.

Я сохранил его. Цветное фото,
фигурка диссидента, и решетка,
и надпись черной краской – ХОДА НЕТ,
и яблоко зеленое на чьей-то
могиле безымянной...

* *
*

Неясное небо, летящее вбок,
подобно стальному ножу,
недобрая память, которую впрок
у самого сердца держу,
и ночь, за которую критик меня
уже упрекал, дуралей, –
все это мое до последнего дня,
до смертной постели моей.

Пока горемыка, небрит и космат,
рубашу меняет на плащ,
«прощай» – городские осины шумят,
наследницы выцветших чащ.
И мне бы от их ежегодных забот –
сто лет я пред Богом ходил –
но спать не дает мне, и в колокол бьет
звонарь одинокий один.

Гостили в грядущем, любили, вдвоем
в замочную скважину сна
подглядывали, узнавая, почем
беда и сырая весна.
Приблудного поезда ласковый вой,
пространства осеннего крест...
И вторит вагонам гусиный конвой,
срываясь с насиженных мест.

Качайся, мой колокол, в ветер и дождь,
не думай, не плачь ни о ком.
Ты слишком высокую ноту берешь
тяжелым своим языком.
А ты, запоздалая, как ты жива,
о чем твой мучительный труд,
покуда в окошко чужие слова,
что крупные градины, бьют?

* *
*

То ли выдохся хмель, то ли скисло вино,
то ли муха жужжит у виска.
Есть у времени вредное свойство одно –
на пространство глядеть свысока.

В паутинных углах дорогого жилья
знай талдычит, в глазах мельтеша:
Хороша ль контрабандная участь твоя?
Отвяжись, говорю, хороша.

Отчего ж, донимает, в раскладе таком
не особо вам сладко вдвоем?
Оттого, что другая – с иглой, с гребешком –
в изголовье томится моем.

И, как всякая плоть, осужденная ждать
с мирозданием наедине,
загляну ей в глаза, отвернусь, и опять
пустоту обнимаю во сне.

И украдкой зима подступает, как встарь,
воротник роковой серебра.
Недурное наследство получит январь
от стареющего декабря.

И темнеющий запад, блистая тайком
перед тем, как пойти с молотка,
алым шелком затянут, железным серпом
ниже горла надрезан слегка.

А дворами по-прежнему ветер и свист,
пляшут крылья сырого белья.
Ненаглядный дружок мой, осиновый лист
наострился в иные края.

Собеседник, товарищ, евангельский тать,
хоть из кожи наделай ремней –
только ради Христа, не берись сочинять
послесловия к жизни моей.

9 ноября 87

* *
*

Воротиться в родные пенаты.
Что ж, обида не так велика.
Телеграмма летит к адресату –
слово за слово, к строчке строка.

Самого себя ставя в кавычки,
отгоняя кошмарные сны,
человек собирает вещички
в чемодан непомерной длины.

Все в кармане – и паспорт, и виза,
и билет, и другие дела.
Ходит голубь нью-йоркским карнизом,
и закат догорает дотла.
Ходит голубь, и сразу взлетает,
превращается в точку, и вниз
суетливо планирует стая
птиц таких же на тот же карниз.

Воротиться к пенатам и ларам,
и ларькам, и родным небесам,
поlyingающим чудным пожаром,
по заветным пройти адресам,
под хмельком, в переулках понурых,
где бесчинствовать ветер горазд
и колотится мерзлый окурок
о чернеющий мартовский наст...

Что мне чудится? Хрип? Или ропот
репродуктора возле виска?
Или конной милиции топот
после проигрыша Спартака?
Скрип качелей? Осипшая пленка
Окуджавы? Филёвский фокстрот?
Улетаешь – несется вдогонку,
остаешься – за сердце берет.

Воротиться с гостинцами, ибо,
если пот и молчанье не в счет,
все пространство чужого разлива
металлическим медом течет.

Прозерпина моя, Персефона,
извини, если в чем виноват.
В запотевшие окна с балкона
красноватые звезды глядят.

Помолчим. Все, что можно, сказали.
И таксист, многословен и прост,
матерясь и визжа тормозами,
выезжает на Бруклинский мост.
Городское сияние во сто
раз умножено в темной воде.
Да и что в этой жизни не остров,
в море, в небе, неведомо где...

* *
*

Льется даром с языка, мучит и калечит
мусорная музыка урожденной речи.
Острием карандаша ранит – и отпустит,
затерявшись в ландыше, в заячьей капусте.

Кто польстится на нее? Беспризорной тенью
ищет наказания, просит искупленья.
Шелестит кириллицей, муравьиной кучей,
стелется, не мылится, гонит прах летучий.

Клюнул кричат кочета, в поднебесье тащит.
Все пройдет, за вычетом кратких и шипящих,
ушлой безотцовщины, тех, что были чьей-то
глухотой защищены от немецкой флейты.

И седому пьянице с мокрыми усами
детская достанется трубочка в гортани,
да в казенном зеркале солнца отблеск тонкий
на больничном никеле в диффритной пленке.

* *
*

Вот элемент пейзажа, чтобы унять глаза.
Небо – печная сажа, киноварь, бирюза.
Море – толкнет, обманет, вынесет на песок.
Имя – костер в тумане, вытертый адресок.

Наперекор недоле, смерти наперекос –
пригоршня серой соли, химия вольных слез.
Крымский кустарник тощий, корни, узлы ветвей.
Мне бы чего попроще, вроде любви твоей.

Пригород. Дым древесный, тот, что очей не ест.
Чинный собор воскресный, колокол, медный крест.
И от мороки снежной слабых, коротких дней
прошлое безмятежней, будущее темней.

Вот и впадаешь в детство, высветленный зимой.
Время бы оглядеться, Господи Боже мой.
Что ж ты, Аника-воин, по молодому льду
бродишь среди промоин, мучаясь на ходу?

Так тишины хотелось – только мешал сплошной
шорох и дальний шелест в раковине ушной.
Это в дунайских плавнях старый Назон поет
физику твердых, давних серо-зеленых вод.

* *
*

Возле башни, у проспекта,
в круглой шляпе страшный некто,
горло кутая от ветра,
крутит старое кино.

Нелегко, неторопливо
тучи тянутся к заливу
в городке, где я давно

не бывал – не пил в подвалах,
не считал закатов алых,
не прощался на вокзалах
ни с друзьями, ни с тобой,
и не брал, почти что даром,
канцелярского товара
в мелкой клетке голубой.

Водный город отдаленный,
камнем перенаселенный,
в призрак собственный влюбленный,
так похожий на Париж...
Жили – все казалось мало,
и отчаянно шушала
в жарких складках одеяла
свидригайловская мышь.

Льется песенка с пластинки.
Помнишь шарик на резинке,
гриб раскрашенный в корзинке,
чью-то ссору за стеной,
мышеловку-живоловку
да пустую остановку
у Фонтанки ледяной?

Где мы были? Что любили?
Погибали, пели, или
вирши детские твердили,
в снег бросали медный грош.
Исчезают губы, плечи,
нет иных, а те далече –
где – уже не разберешь...

Года убегают. Опасностью древней
источены зимние дни.
Мечтать об отставке, о жизни в деревне,
о скрипе вермонтской лыжни.
Углы в паутине и в утреннем инее,
у милой растрепанный вид,
сырые поленья стреляют в камине,
и чайник сердито свистит.

Мы с возрастом явно становимся проще.
Все чаще толкает зима
вдыхать о покое, березовой роще,
бегущей по склону холма.
И даже минувшее кажется сущей
находкой, когда у ворот
в заржавленном джипе какой-нибудь Пущин
цыганскую песню поет.

А что ж не в Михайловском? В Северодвинске?
Не спрашивай. Лучше налей
за то, как судьбу умолял Баратынский
не трогать его чертежей,
как друг его лучший, о том же тоскуя,
свалился, чудака-человек,
последним поэтом – в пучину морскую,
звездой – на мурановский снег.

В вермонтском безлюдье, у самой границы
с Канадой, где кычет сова
о том, что пора замолчать, потесниться,
другим уступая права
на вербную горечь, апрельскую слякоть,
на черную русскую речь –
вот там бы дожить, досмеяться, доплакать,
и в землю холмистую лечь...

* *
*

На востоке стало тесно, и на западе – темно.
Натянулось повсеместно неба серое сукно.
Длиннокрылый, ясноокий, молча мокнет в бузине
диктовавший эти строки невнимательному мне.

Тихо в ветках беспокойных. Лишь соседка за стеной
наливает рукомойник, умывальник жестяной.
Половица в пятнах света. Дай-ка ступим на нее,
оживляя скрипом это несерьезное жилье.

Город давний и печальный тоже, видимо, продрог
в тесной сетке радиальной электрических дорог.
Очевидно, он не знает, что любые города
горьким заревом сияют, исчезая навсегда.

Остается фото пленка с негативом, что черней,
чем обложка от сезонки с юной личностью моей.
Остаются ведра, чайник, кружка, мыльница, фонарь.
Торопливых встреч случайных небогатый инвентарь.

Блещет корка ледяная на крылечке, на земле.
Очевидно, я не знаю смысла музыки во мгле.
Но останется крылатый за простуженным окном –
безутешный соглядатай в синем воздухе ночном.

* *
*

Восторги, усы, полумаски. Галдит у подъезда толпа
с мешками, и страшно, как в сказке, и тыквенные черепа
таращат пустые глазницы с горящею свечкой внутри.
Зануде – томиться и злиться, а городу – жечь фонари,

раскрашивать плоские крыши, кубышки, наряды до пят.
До самого неба и выше багряные листья летят.
И будь я силен в этих играх, и сам увлекаться умей –
давно бы их вынес в эпиграф к испуганной жизни своей.

Пройдет. Поболит и привыкнет. И радостно вдруг в
тишине
бродячий утопленник гикнет и гибелью встанет в окне.
Ах, черное наше веселье, проделки детей заводных.
Орехами ли, карамелью давай откупаться от них.

И копотью пахнет, и смехом отхлынувший Хэллоуин.
Потянет по улочке эхом – и вновь остается один
писатель таинственной прозы. Скрипеть ему школьным
пером,
глотаю холодные слезы на темном ветру мировом.

2 ноября 87

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

ЗОСЬКА БЕЗ НОСА

Да, несомненно, для своих двенадцати лет я слишком много знал. Таких всеведущих малолеток называли у нас «старый маленький». Для питомца улицы уже давно не было никаких тайн. Особенно в сфере половых отношений.

Расположенный на отшибе, в далеком предместье, наш привокзальный район славился обилием проституток и крыс. И те и другие были истощены и жалки. Голод выгонял их с самого утра на панель. Женщины простаивали на углах и в подъездах, грызуны копошились во дворах и катались на тротуарах под ногами прохожих. Вместе задавали они тон серому и закоптелому предместью. Бранчливые и скорые к дракам сцеплялись в ожесточенных схватках. Приходилось и тех и других разгонять камнями. Я прислушивался, как «шмондзи» (так у нас называли проституток) сговаривались с фраерами о цене и программе обслуживания, и стал неплохо разбираться в прејскуранте обыкновенного и специального сервиса. Почти во всех окрестных домах жило их по несколько человек, но не все располагали помещением для своего дела, не терпящего постороннего глаза. На задних дворах, за хозяйственными сарайчиками и мусорными ящиками были у них заранее намеченные закоулки. Никто, если не считать крыс, туда не проникал. Кроме меня. Щели и выдвигаемые сучки в дощатых оградах и переборках помогли мне создать прототип позднейших реер shows.

У некоторых «шмондзь» были дети – мои сотоварищи. Чахотка и золотуха косили их, как, впрочем, и остальную детвору нашего предместья. Время было тяжелое, послевоенное, экономический кризис и безработица чувствительно ощущались. Белый хлеб мы уви-

дели впервые, когда в двадцатые годы начали поступать транспорты продуктов американской АРА. Ближайшим моим другом был Антек Грах, белокурый и голубоглазый паренек. Узнаю его, когда случается смотреть пастели Выспанского, Вычулковского или раннего Петрова-Водкина, изображавших просвечивающие лица деревенских ребят с глазищами, смотревшими прямо в душу. Манька, мать Антека, выгодно отличалась от своих товарок. Во-первых, она сохранила еще некую привлекательность, остатки валахской красоты; во-вторых, у нее была своя комнатка на дощатой галерее, бегущей вдоль второго этажа. Осенью и зимой, когда нельзя было играть во дворе, мы прятались с Антеком от дождя и холода в этой конурке. Если иногда Манька в это время приводила кого-то, мы с Антеком перебирались в сенцы сортира на конце галереи и там резались в «дурака» засаленными до невозможности картишками.

«Черная Манька», как ее звали, торопливо взбиралась по крутой лестнице к себе, довольная, что ее рабочий день бойко начинается и почин обеспечен. Фраер следовал за ней на некотором расстоянии, с виду равнодушный, он здесь, мол, ни при чем, но осторожно озирался по сторонам, не наблюдает ли кто за ним... В комнатку проникал он одним прыжком. Когда мы с Антеком возвращались в нагретую комнату, в воздухе стоял еще крепкий запах спермы и каких-то женских секретов. Ночью Антек спал возле маминой кровати на сундуке, затянутом тонкой занавеской. Бывало, что он обогащал мои знания по сексологии, сообщая о непонятных выходах серьезных мужиков.

– Понимаешь, Изя, он только сосет титьку, как грудной ребенок, сопит и стонет, а свою письку пихает в мамкин туфель, – рассказывает он мне доверительно, и его голубые глазища еще более округляются от непонимания мира взрослых чудаков.

Для меня это уж не столь сенсационное открытие, я знал номера похлеще. Но у Антека есть другая, взволновавшая меня новость.

– А знаешь, в нашу «ярычевку» переезжает сама Зоська Без Носа. Будет снимать комнату у старой Крольчихи.

Вот тебе на! «Ярычевкой» называли наш дом из-за того, что большинство его жителей были выходцами из села Ярычево. А эту Зоську Без Носа я, правда, никогда сам не видал, но слухов про нее ходило уйма. Для наших «шмондзь», которые были рядом с ней, как вороны около павы, она была примером самой блестящей карьеры в их специальности. Про нее они говорили с тем благоговением, с каким бедные еврейские лапсердаки говорят о Ротшильде. Она и впрямь была некоронованной королевой полусвета нашего города.

Да, Антек поразил меня своей новостью. Я был потрясен слухами о Зоське и теперь, пронырливый пацан и неисправимый сплетник, дрожал от возбуждения в предвкушении ближайшего соседства. Чего стоила только сама кличка «Зоська Без Носа», приводящая на мысль страшные обезображенные сифилисом рожи, которых у нас тоже хватало. А в то время, как рассказывали сведущие люди, у нее был самый прелестный носик, пожалуй, во всем городе. Правда, мол, на левой ноздринке был еле заметный шрамик – последствие мести отвергнутого любовника, пытавшегося ее изуродовать. Нос откусить не удалось, но эпатазирующее название пристало навсегда. После этого покушения на ее красоту Зоська решила обходиться без любовников и сутенеров. В городе известен был ее девиз: – Как-нибудь обойдусь без кассира от моей попы! Она могла себе это позволить ввиду того, что оберегал ее, издали, муж сестры – Рыжий Апель, «Крестный отец» мафии ломовых извозчиков. Никто в городе не рискнул бы затеять ссору с гориллообразным детиной, скорым на поножовщину.

Я до сих пор не знаю, что склонило Зоську переехать из благоустроенного центра города в наше – не приведи Бог – предместье. Заговорил ли в ней дух противоречия или эту пришлицу из деревни поманила близость заставы, за которой видна была кромка леса по краю полей, где родимо веяло конюшной и коровником. Да и сама квартира старой Крольчихи могла напоминать обстановку детства. Народ тоже был здесь более непосредственный и искренний, хотя себе на уме и не без налета некой жуликоватости. Во всяком случае, шаг ее был непостижим разумом, а скорее всего причудливым капризом.

Наша «ярычевка» и все смежные дома принадлежали майору Фафу. Бывший офицер императорско-королевской армии Австрии давно ополчился и принял службу специалиста по шифровкам у новых хозяев в штабе округа. В единственном сохранившем еще вид среди остальных трущоб доме он занимал весь второй этаж. Жил там с парализованной старой матерью, экономкой и ее дочерью. Жил по канонам прошлого столетия. Иногда по выходным дням майору приводили из близлежащего конноартиллерийского полка оседланную лошадь. Одетый в костюм для езды верхом, майор выходил и, сев в седло, трусцой направлялся в сторону заставы. На почтенном расстоянии следовал за ним коновод. Мы, мальчишки, вертевшиеся вокруг лошадей, долго смотрели им вслед. Майор, в своем английском красном сюртуке, с низким котелком на голове и стеклом в руке, на породистой лошади, был из какого-то иного мира и никак не вписывался в наш скудный пейзаж.

Жители «ярычевки» уважали его и даже искренне любили. Они – вероятно, по своему невежеству – не развили еще в себе классовой ненависти к благодетелю, каким был для них, по существу, майор Фаф. Перебиваясь с хлеба на воду, почти все сплошь и рядом затягивали

с квартплатой на длительное время, кое-кто по несколько лет. К счастью, майор не зависел от этих доходов. Ни на кого он не нажимал, даже не упрекал, а о принудительном выселении и речи быть не могло. «Ярычевка» со своими тремя дворами, лавчонками на улице, с красильней, пекарней кренделей и лакировочной мастерской была скорее, из-за нашей голытьбы, убыточной недвижимостью.

Старая Крольчиха относилась к достойному похвалы исключению. Она считалась зажиточной, потому что у нее была комната с кухней и крылечком и даже торговая точка на базаре.

Старые люди помнили времена, когда она была шикарной блондинкой, любимицей господ офицеров городского гарнизона. Глядя на ее старчески согнутую спину, тяжелую утиную походку и сморщенное, как испеченное яблоко, лицо, трудно было себе представить, что была она когда-то цветущей девкой, которая, задрав высоко юбку, выкидывая под потолок точеные ножки и выпячивая попу, отхватывала бешеный канкан на богато накрытом столе. Господа австрийские офицеры, говорят, кукарекали от восторга и хлестали из ее туфелек шампанское во хвалу красоты «Крольчонка». Кое-что из своих прибылей она сумела сберечь и на старости лет избежать печальной участи иных гулящих девок, доживающих век свой в богадельне или в каморке клозетной бабушки. Она стала заправской торговкой и ежедневно утром вывозила на базар коляску с бочками, в которых плескалась свекольная закваска, булькали соленые огурцы и кислая капуста – всё домашней работы. Сама жила в кухне, а просторную светлую комнату сдавала солидным квартирантам.

В день, когда Зоська со своими вещами подъехала на извозчике к нашему парадному, собралось много зевак, а уж мы, огольцы, выстроились прямо в почетную шпалеру. Из-под поднятого верха экипажа спусти-

лась сначала исключительно стройная нога в тонком шелковом чулке, а потом уже показалась Зоська во всем своем блеске, и я наконец ее увидел. Она была чуть дебелая, рослая, русоволосая, и поступь у нее была величава – ни больше ни меньше королева из сказки. Накинув беличью шубку, в одной руке держала она круглую коробку для шляп, в другой – клетку со щеглом. Пожилой извозчик взвалил на себя большой окованный сундук. Мы, мальчишки, понесли остальное. Мне достался деревянный граммофон с громоздкой зеленой трубой. Антек нес инкрустированный перламутром ларец для косметических принадлежностей. Я шагал за Зоськой, одурманенный ароматом ее духов. Благоуханный шлейф долго еще держался в воздухе нашего двора. Не менее крепкий аромат испускали пучки сушеных целебных трав в комнате, в которую мы внесли багаж Зоськи. Все это полевое и лесное богатство было воткнуто за рамы образов на стенах. Это была целая галерея ликов Богоматери, Спасителя и святых угодников. Еле хватило места для двух больших литографий. На одной Ангел-Хранитель бережно вел маленькую девочку через шаткую перекладину над бурным потоком. На второй Иисус Христос благословлял кающуюся Марию Магдалину. Впрочем, обращенная на путь истины блудница была столь похожа на Зоську Без Носа, что я невольно поискал глазами достопамятный шрамик на левой ноздринке. Но белые, круглые плечи и вываливающиеся из платья лилейные груди были те же самые.

Мы получили горсть медяков и гордые вышли во двор. Чудесная райская птица спорхнула с дерева познания к нам, малым мира сего.

По вечерам, когда фиолетовые сумерки чуть украшивали нашу серую безнадежность, придавая ей меланхолическую прозрачность городских пейзажей Утрилло, под «ярычевку» заезжала одноконная пролетка пана Онуфрия. Старый извозчик кряхтя сползал

с козел и, поддерживая полы длиннющего балахона, проходил чинно оба двора. Кнутовищем стучал он в Зоськино окно. Зоська выходила расфранченная, постукивая каблучками и шурша шелком юбок. В эти минуты она казалась мне столь восхитительной, что спазма сжимала горло, хотелось пасть перед нею на колени и прикоснуться губами к краешку ее платья.

Зоська удобно рассаживалась в экипаже, чтобы не помять юбки, пан Онуфрий взмахивал кнутом, и – подковы уже зацокали по отлого спускающейся в город мостовой. Пружинистые рессоры немного укачивали, и Зоська в приятной истоме окидывала взором улицу и прохожих. Чем ближе к центру, тем больше знакомых ей мужчин попадалось навстречу. Некоторые приветствовали ее дружелюбной улыбкой или взмахом руки, но были и такие, что отворачивали головы, особенно если находились в женском обществе. Зоська их понимала и только снисходительно улыбалась.

Ночная резиденция Зоськи помещалась в небольшом отеле «Венеция», где она занимала комфортабельный номер с телефоном. Портье и вышибалой в одном лице был там немолодой хромой мужик по кличке Кракус. О нем тоже ходили легенды, что когда-то, в начале нашего столетия, принадлежал он к числу самых отчаянных «хойраков», как называли забияк в нашем городе. У нас вообще преклонялись перед авантюристическими типами, особенно если они действовали бескорыстно и в одиночку против численного превосходства. Их подвиги воспевали уличные баллады, вроде этой:

А к полуночи явились
темные ребята,
у них волосы торчком,
рожи прыщеваты.
Ничего не говорили,
только морды били
хрясть да хрясть!

Или вот баллада о бандите Бялоне, взятом в кольцо лягавыми:

На Левандовском тихом предместьи,
в домике, скрытом там, где лесок,
была когда-то твоя малина,
был верный шпалер, твой корешок...

Кракус остался героем бесчисленных драк, даже когда потерял ногу и опирался на тяжелую вишневую палку, которая стала его грозным оружием. Я слышался о нем немало, но к моему времени он уже перебежился и был только довольно озлобленным брызгой.

Номера в отеле «Венеция» сдавались не на сутки, а только на часы любовным парочкам, чаще всего лучшим проституткам. Зоську Кракус уважал и к ее клиентуре относился с несвойственной ему сдержанностью, не позволяя себе отпускать хохмы, которыми славился в городе. Если бывало, что сеанс, по его мнению, слишком затягивался, он взбирался по лестнице, стучал в дверь и требовал: – Лелька, прекрати ему наслаждение и труби отбой! – А когда обиженный фраер, сердито фыркающая, проходил мимо его портьерки, Кракус бросал ему вслед: – Надо уметь сокращаться! Вы что, пришли здесь на акт или на факт? Блядь тоже человек!

Случалось, что приезжий человек, сбитый с толку вывеской «Отель», заходил снять комнату. Кракус ошарашивал его тогда ответом: – У нас, уважаемый, сдается только половина кровати.

Здесь я вынужден сделать отступление и рассказать, как некоторое время спустя пресловутый Кракус прочно вошел в мою жизнь.

Как-то на городском катке я познакомился с моей ровесницей Ирмой. Я стал провожать ее домой, а иногда заходил за ней, чтобы идти вместе кататься. Девушка ничем особенным не отличалась, если не считать того факта, что она была дочкой хозяина «Венеции». А все,

что имело причастность к Зоське, затрагивало меня и привлекало.

В один прекрасный день я ожидал Ирму перед отелем, исподтишка наблюдая за Кракусом, который вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Он стоял, кряжистый, широкий, как шкаф, опираясь на палку, и подставлял свое исполосованное лицо лучам зимнего солнца. Я рассматривал его с возбужденным любопытством. Ведь это была как-никак живая встреча с городской легендой, всегда меня волновавшей. Вдруг мне показалось, что и он не спускает с меня глаз. Неужели мое долгое торчание перед отелем насторожило его? Я готов уже был уйти подальше, но заметил, что он кривит губы в какой-то улыбке, не то кислой, не то поощрительной. Он даже выразительно поманил меня пальцем. Убедившись, что этот жест касается меня, я не без страха подошел к нему, готовясь к объяснениям. Долго вглядывался он в мое лицо, пока, в конце концов, не оскалил желтые зубы во вполне дружелюбной собачьей улыбке.

– Тебя звать Изя, если я не ошибаюсь? – голос его был хрипло-скрипучий.

– Да, – ответил я, совсем сбитый с толку.

– А твою маму зовут Региной?

Я кивнул утвердительно головой, а он схватил меня крепко за руку и, припадая на левую ногу, потянул меня в свою проходную. Пахло там пивом и дешевым табаком, равномерно тикал большой будильник. Долго длилось тягостное молчание, и я не знал, как себя держать. Кракус сидел, собираясь с мыслями.

– Слышал ли ты когда-нибудь о мамином брате Симоне? – голос его показался мне теперь более мягким, и может быть, взволнованным.

– Я только знаю, что он умер задолго до моего рождения. А вы что, знали его?

– Можно и так сказать. Слушай, ты уже довольно большой и можешь знать правду. Я и есть Симон, брат твоей матери.

Новость ошеломила меня, бросила в жар и холод. Я забыл про Ирму и весь свет. Мы сидели до сумерек, пока начали появляться первые парочки, и я узнал историю одной исковерканной жизни.

Три брата было у моей матери, из коих я знал до того времени только двоих. На вопросы о третьем мама отвечала уклончиво, мол, умер давно и не стоит вспоминать. Я чувствовал, что мама что-то утаивает, но раз не хочет говорить – ее дело. А теперь все раскрылось.

Моя мать росла в бедной семье, которая жила в дрянном местечке, вблизи австрийско-русской границы, где вся округа промышляла контрабандой. Дедушка рано умер, оставив пятерых детей. Самый старший сын, Симон, в двенадцать лет стал главным добытчиком в семье. Наделенный необыкновенной силой, он носил самые тяжелые тюки через границу. Он первый переселился в наш город, а за ним потянулась вся семья. О его сверхчеловеческой силе широко заговорили. Он гнул в руках подковы, разрывал железные цепи и мог сделать карьеру циркового атлета или борца, но предпочел стать маркитантом. С повозкой, нагруженной съестными припасами, напитками и табачными изделиями, он сопровождал войсковые части во время маневров и передвижений. Он вошел во вкус жизни на колесах, запаха дыма костров во время биваков, ржания боевых коней, пронзительных мелодий горнов, трубящих сбор и тревогу. Хватало и приключений, непродолжительных любовных интрижек с деревенскими красотками и многочисленных драк, по которым чесались руки. Часто приходилось ему отбиваться от разбойничьих налетов на больших и малых дорогах. Но жизнь была ключом, жить было не скучно. Когда надоело, возвратился в город и открыл лавку с воинским снаряжением.

По вечерам и в праздничные дни ходил туда, где можно было погулять и подраться.

— Я никогда не начинал первым и не обижал тех, кто слабее, — заверял он меня убежденно. — Поверишь ли ты, что я никогда не стоял перед судом.

Уверенный в своей правоте, он стал самозванным хранителем порядка, увеличивая свою дурную славу опасного забияки, кумира всех «хойраков». Но и это кончилось, когда он женился на скромной, миловидной девушке. Жизнь потекла нормально, для полного счастья не хватало только детишек. Беда грянула неожиданно. Он поранился при вырезании мозоли, получилась гангрена, и пришлось ампутировать левую ногу по щиколотку. Жизнь сразу пошла кувырком, по наклонной. Жена ушла от него, не желая жить с калекой. Лавку он запустил и вынужден был от нее избавиться. Он начал прикладываться к рюмке и стал завсегдатаем всяких игорных притонов, впутываясь опять в авантюры и драки. Те, кто хотел отыгаться на нем за прежние поражения, глубоко обманулись в своих надеждах. Вишневая палка не только служила ему опорой, но стала в его руках настоящей палицей Геракла. Тогда приобрел он кличку Кракус и слава о его подвигах загремела далеко, заставляя братьев и сестер краснеть от стыда. И ничего удивительного, что, когда моя мама обручилась с человеком из очень уважаемой семьи, она не сказала ему о наличии третьего брата, опасаясь, что он испугается родства со столь своеобразной знаменитостью.

Симон не был приглашен на свадьбу. Кровно обиделся, и всякая связь была порвана навсегда. Но окольными путями все же старался узнать что-либо о судьбе самой младшей и самой любимой сестры.

На следующий день, сидя за обеденным столом, я вдруг сказал с бухты-барахты:

– А я вчера встретился с дядей Симоном и мы поговорили обстоятельно о семейных делах. Он показался мне очень мил.

Отец не донес ложку до рта, так и застыл, взметнув брови и окидывая всех недоуменным взглядом.

– Кто такой дядя Симон и откуда ты его вытащил?

Я взглянул на маму. Она побледнела, потом побагровела и, зарыдав, выбежала из комнаты.

Объяснения были долгими и кончились резолюцией отца:

– Вот что, Изя, ты еще сегодня отправишься в город и пригласишь от нашего с мамой имени дядю Симона на воскресный обед.

Дядя Симон явился пунктуально, с лицом, выскобленным бритвой до синевы, в штиблетах, надраенных до ослепительного блеска (это была его мания, из-за которой он всегда носил в заднем кармане брюк бархатный лоскут). Мама долго билась в его объятиях, всхлипывая с надрывом, ужасающий Кракус ревел, как бобр, и долго еще у всех оставались влажными глаза, а отец никак не мог зажечь папироску. А я, пользуясь общей суматохой, дорвался до отставленной в угол, овеванной славой палки. Я взвесил ее в руках – не со свинцовой ли она начинкой? – и, к моему удивлению, убедился, что пахнет она отнюдь не вражеской кровью, а лишь благородным вишневым деревом.

Несколько дней спустя собрался у нас семейный совет. Явились мамина сестра и остальные братья. Средний брат был у нас редким гостем. У него было лучшее в городе ателье мод, и богатство мешало ему водиться с нами, голодранцами. После бурных пререканий было решено, что Симон откажется от дежурств в отеле «Венеция» и будет получать скромную пенсию от братьев, которых когда-то привез в город и приспособил к доходному делу. Сестры обязались поочередно кормить его обедами и приглашать на праздники.

Горделивому орлу подрезали крылья и втокнули в клетку обыденности.

Это случилось позже, а пока все шло по-старому.

В середине ночи, когда у нас на окраине петухи уже начинали шевелиться и стряхивать с себя дремоту, жизнь в центре города только замирала. Питейные и увеселительные заведения закрывались, а последние гуляки вываливали на улицу, чтобы нехотя брести домой. Зоська, попрощавшись с Кракусом, выходила из «Венеции». Поджидавший ее пан Онуфрий дремал на облучке. Если еще спать не хотелось, она велела везти себя в «Рыздум-Пыздум».

Слезы навертываются мне на глаза, когда я вспоминаю этот милый сердцу кабачок, в котором, став взрослым, я завершил не одну бурную ночь. Нигде в мире не нашел я другого такого убежища для заутренних кутил. Разве что много лет тому назад в Париже, в кабачках, расположившихся вокруг не существующего уже теперь крытого рынка «Чрево Парижа», да и те все же нельзя сравнить с «Рыздум-Пыздум». Задушевность не та. «Рыздум-Пыздум» открывали только под утро, и то на несколько часов. Просторное, мрачноватое помещение, кое-как прибранное, с замызганными стенами и постоянно опущенными шторами, скупо освещенное тусклой лампочкой под потолком. Обстановка более чем проста – два длинных стола и вдоль них четыре расшатанные скамейки. Недостаток удобств возмещала особо теплая атмосфера и пестрая компания. Когда уже были закрыты все шалманы, здесь сходились те, чья душа еще не находила покоя, требовала добавки и общества собратьев.

Хозяйка, тетушка Байля, проворная толстуха, сумела завоевать себе уважение посетителей. И не только потому, что, не колеблясь, могла пухлой рукой хлопыстнуть по морде и вытурить на улицу любого бузилу. Прежде всего пленяла она сердца алкашей ис-

тинно материнской рачительностью о закуске, верная призыванию: поить и кормить. Всякие отговорки и увертки были бесполезны, нельзя было получить вожделенную рюмку горькой, не заняв места в очереди и не приняв из рук тетушки Байли чашку борща с плавающим в нем куском отварной говядины. С рюмкой и налитой до краев чашкой надо было осторожно, чтобы никого не облить, подойти к столу и любезно спросить:

– А подвинуться нельзя?

И человек сразу становился полноправным членом братии. Сидели бок о бок, локоть к локтю, дыша перегаром, плотно друг к другу прижатые люди, принадлежащие к самым разным кругам – настоящий сбор Богородицы: отъявленные пьянчужки, богема, поэты, живописцы, продрогшие извозчики в своих мешковатых балахонах рядом с одетыми во фрак официантами из фешенебельных ресторанов. Женщины здесь не бывали, разве разносчицы цветов и самые неотлучные подружки художников. Одни искали здесь отдохновения от трудов ночи, другие – забвения от неудач и огорчений. В разгар ночи появлялись слепой гармонист Гриша со своим поводырем Валетом-мандолинистом. Присаживались на краешке скамьи или опускались на пол и начинали петь высокими пронизывающими душу голосами неповторимые песни нашего города. Пели про обманутых краль, мстительных любовников, про печальные разлуки и одиноких героев. Песня утешала – всем плохо, не только тебе, бедолага несчастный.

Зоську встречали здесь радушно, даже с неким респектом – все-таки царица ночной жизни. Охотно уступали ей место, приносили борщ и водку. А ей льстили эти знаки внимания. Со всеми держалась она снисходительно, но не допуская лишнего панибратства. Охотно присоединяла свой голос к рвущейся из пропитых глоток песне, своеобразному гимну этого кабака:

Меня под бочкой схороните,
вина мне в руку дайте жбан
и над могилой затяните:
хоть был он пьяница, но пан,
пан, пан, пан парам...

Ранним майским утром я вышел из дому. Улица была еще безлюдна, только от заставы шли пригородные крестьянки с коробами свежесрезанной сирени за спиной. Капли росы сверкали на розовых и белых кистях, и хотелось впитаться в них губами и носом. Как раз зацокали копыта, и пан Онуфрий привез Зоську домой. Она всплеснула руками, прыгнула с подножки пролетки, остановила цветочницу и купила у нее стогообразную охалку цветов. Несколько веток она воткнула за хомут коняги, две ветки подвесила к шляпе извозчика, а остальными украсила крылечко и свою комнату.

Я смотрел, как она шла танцующей походкой через оба двора, спрятанная за цветами, живой куст сирени — богиня весны. Вспоминая ее теперь, думаю: Господи, да неужели я, мальчуган, был тогда в нее влюблен?

Просыпалась Зоська далеко за полдень, потягивалась спросонья, выпивала приготовленную ей Крольчихой крынку молока и бралась за чтение очередного выпуска нескончаемого романа с продолжением «Барбара Убрык, или Тайна живьем в склепе погребенной». Читала и обливалась слезами, переживая злоключения героини. Часто заводила она граммофон и прослушивала по нескольку раз свои любимые пластинки: «Танго Милонга», «Рамона» и «Золотая пантера». Переливчатый голос певца вырывался через открытую форточку во двор и пылом аргентинских страстей будоражил сердца соседок.

Летом, когда солнце накаляло стены дома, Зоська, набросив на себя тончайший, чуть ли не прозрачный белый пеньюар с широкими ниспадающими рукавами,

выходила на крылечко, прижимая нежно к груди рыжего пушистого кота Кацарабу. С этим котом была странная история. Он явился к Зоське через несколько дней после ее переезда к нам. Кацараба прошел весь город в поисках своей хозяйки. От Зоськи он никогда не отставал. Я до сих пор не уверен, не являлся ли он доверенным помощником ее опекуна Рыжего Авеля. Зоська опускалась на верхнюю ступеньку лестнички и, напевая чувствительную песенку о «красной девице, вышедшей на берег реки, ибо сердце ее опечалилось», расчесывала неторопливо свои волосы, отливающие червонным золотом. Лорелея ярычевского двора с магнетической силой привлекала к себе взоры всех мужчин. Рано увядшие соседки беспокойно следили через окна, как их непутевые мужики под любым предлогом выскальзывали во двор. Со стороны могло показаться, что они всецело поглощены наблюдением за полетом кружащих под небом голубей. А они из-под прищуренных глаз охватывали жадным взглядом волнующую их розоватость, просвечивающую сквозь паутину батиста и кружев. Нервно затягивались при этом дымом самокруток и густо сплевывали в сторону. Известный своей язвительностью сапожник Хефко, который через свое подвальное окошко не упускал из виду все творящееся во дворе, ехидничал, что эти плевки адресованы неприглядным прелестям их благоверных. Случалось, что даже еврей-старьевщик с взъерошенной бородой пророка и перекинутым через плечо полосатым мешком застывал в восхищении от такой «шиксы» и забывал кликать свое гундосое: «Ганделе-э-э, ганделе-э-э!»

Со временем все в «ярычевке» привыкли к скудному неглиже Зоськи, и никого оно в искушение не вводило, кроме меня. Мне она снилась все чаще и все бесстыжее.

Когда со временем Кракус стал к нам приходить на обеды, случалось, что встречал он во дворе Зоську. Останавливался, и они долго о чем-то своем вполголоса

разговаривали. Зоська серебристо смеялась, а дядя похрюкивал и скалил свои желтые зубы. Но слова до меня не доходили, и я сгорал от любопытства. Какими же новостями он с нею делился? А вообще-то вновь приобретенный дядя Симон довольно быстро снискал себе расположение среди жителей «ярычевки», благодаря своему боевому духу, проявленному в защите попоранного порядка. Запомнилось мне два случая. Черная Манька, мать Антека, завела себе постоянного любовника. Миська Чич, по профессии ветфельдшер, служил когда-то в легионе Пилсудского, и, хотя война уже давным-давно кончилась, к своей возлюбленной он являлся всегда в полном воинском снаряжении, с медалями на груди и длинной винтовкой за спиной. На плече болталась у него брезентовая сумка с ветернскими причинами. Плюгавенький, на своих кривых жокейских ножках в зеленых обмотках, он сумел одно время держать наш дом в постоянном страхе. Обычно он приходил утром, и Антек должен был по нескольку раз бегать за водкой. В полдень Миська находился уже в состоянии совершенной невменяемости, и тогда начиналось великое светопреставление. В выпущенной на брюки рубашке Миська выкатывался во двор. За спиной торчала винтовка, в руке поблескивал лошадиный шприц с громадной пятидюймовой иглой. В шприце переливалась какая-то желтоватая жидкость. Миська долго качался на ногах, ища глазами, кого бы попотчевать уколом. Во всем доме сразу поднимался панический переполох. Мужчины и женщины, стар и млад, прятались куда попало. Закрывались наглухо двери и окна, матери истошным голосом зазывали детей домой. Даже собаки и кошки, поджав хвосты, бросались наутек. А Миська, поводя налитыми кровью глазами, хватался угрожающим жестом за винтовку и мычал:

– Стой, стрелять буду! Лечить буду!

К счастью, никого он никогда не настигал, ибо был смертельно пьян и спотыкался о размотанные обмотки.

Но от страха перед буйном люди долго боялись показаться во дворе.

Это повторялось несколько раз, пока однажды Кракус не попал на такой содом и гоморру. Узнав, в чем дело, он быстро поковылял к Миське и одним взмахом палки вышиб ему шприц из руки. Затем схватил его за шкурку и потащил к забору, который отделял наш двор от колбасной мастерской. Там, раскачав его изрядно в воздухе, одним махом перекинул вместе с винтовкой в заросли крапивы по ту сторону забора. Больше Миську у нас никто не видел.

В другой раз было еще проще. Лавочка Шийко Кая с правой стороны подъезда была бакалеей только с виду. Хотя стояло там несколько мешков с затхлой крупой и бочка с селедкой, но, по существу, это была настоящая малина, где велась торговля по купле и продаже украденного добра. Собиралась там шпана со всего предместья. Мазурики выпивали там, резались в карты и пускались в пляс под звуки гармошки. Когда веселье переливалось через край, кутилы, расстегивая брюки на ходу, забегали в подъезд по малой и большой нужде. Жителям «ярычевки», особенно женщинам, не было прохода. Голые задницы со всякими принадлежностями были всегда выставлены напоказ, а тяжелый смрад шибал в нос. Обращаться в полицию за помощью не было у нас принято. Дворничиха Янова предпочла пожаловаться Кракусу. Дядя Симон поправил галстук и приступил к действию. Присевшего в подъезде бражника так огрел палкой по крестцу, что тот, опрокинувшись на спину, только дрыгал в воздухе ногами, как перевернутый таракан. В самый разгар гульбы свет у входа в малину вдруг загородила плотная фигура, опирающаяся на палку. Одним ее взмахом Кракус загнал всю веселую компанию в дальний угол лавки. Бакалейщик Кай, как в дешевой кинокомедии, сел даже в бочку с сельдями. Кракус долго мерил грозным взглядом притихшее общество, затем проговорил:

— Я надеюсь, что вы знаете, кто такой Кракус. Я не люблю предупреждать, но, если еще раз узнаю о безобразиях в парадной, в два счета разнесу ваш притон в щепки.

Поднявшись после таких происшествий наверх, дядя ни слова не говорил о случившемся. После обеда «Кракус» брал у меня лист чистой бумаги и цветные карандаши и, посадив на колено мою младшую сестренку, принимался за рисование. Высунув язык от натуги, он изображал каких-то причудливых, никогда не встречаемых птиц и бабочек на фоне фантазмагорической растительности. Нелегко было разобраться в этой галиматье линий и красок, но мне это нравилось и даже пленяло. Да я и теперь иногда задумываюсь, не дремал ли в дяде Симоне незаурядный примитивист наподобие таможенника Анри Руссо.

Но вдруг он, воплощение здоровья и силы, заболел и лег в больницу. Родители шептались по углам не то о язве, не то о раке желудка. Я носил ему обеды в судках, но он к еде почти не прикасался. В большой палате стояло десятка два коек, и он лежал на последней у окна. На белой постели он выглядел каким-то поблекшим и казался меньше ростом. Я долго сидел возле него, а он лежал тихий, предавшийся каким-то своим размышлениям, и не выпускал моей руки из своей. Я думал, что он спит, но один раз он открыл глаза и внезапно сказал:

— Ах, если бы ты знал, какое это прекрасное зрелище, когда конноартиллерийская батарея на всем скаку выезжает на открытую позицию; расчеты молниеносно прыгивают с лошадей и, распрягши их, наводят орудия и открывают огонь прямой наводкой. Все поле застлано белым дымом, и столбы красного огня взметываются в небо. Я уже никогда этого не увижу...

И наступил день, когда я пришел в больницу, а койка у окна стояла пустая. Монахиня в крылатом накрахмаленном чепце вручила мне без слов кожаный протез с никелированными скреплениями. Штиблет

на нем был вычищен до блеска. Этот протез долго лежал под моей кроватью и страшил посетителей.

Иногда, когда выдавался хороший денек, Зоська, повязав голову платком, отправлялась за заставу, в сторону темнеющей кромки леса. По пути она шла через полосы поля, где колосились чахлые побеги ржи и овса. Она отщипывала горсть неспелого зерна и грызла его, как семечки. Срывала межевые невзрачные цветочки и, сложив их в пучок, клала в придорожные часовенки, где горестный лик деревянного Христа трогал ее до слез. Часто возвращалась в город только тогда, когда первые фонарики с длинными шестью на плече выходили уже зажигать газовые фонари, а сивка пана Онуфрия рыла копытом мостовую от нетерпения.

Но чаще всего, когда одолевала ее скука, она, накинув на пеньюар узорчатую шаль, выходила на улицу и пропадала в близлежащих лавочках, делая мелкие покупки. Заходила в кондитерскую выпить стакан газированной воды с сиропом и купить кулек конфет да несколько апельсинов. В мануфактурной лавке выбирала себе несколько ленточек. Отец мой явно терялся, когда Зоська забегала в наш ларек, где он продавал мелкую галантерею, незатейливую косметику и табачные изделия. Она перебирала флакончики одеколona и пузырьки духов, брезгливо принюхивалась к ним, то же самое проделывала с кремами и пудрой, чтобы в конце концов купить только коробку лучших папирос «Дамес». После ее ухода глаза отца еще долго оставались масляными. Своих глаз я не видел. Тень звезды Поллукса все чаще ложилась на мои сны, и их вулканический характер доводил меня до изнеможения. Весь экран сновидений был набит нежными розовыми попками или ядреными задницами.

Отец мой был никудышным торговцем. Перекати-поле, много бродил по белому свету, одно время жил

в Америке, переменял все профессии от гладильщика до актера и газетчика. Обаятельный, лишенный всякой хитрости неудачник, который нигде не мог ужиться и обеспечить себя в материальном отношении. Когда он познакомился с моей мамой, то покорила ее своим красноречием и знатным происхождением так, что бедняжка, очертя голову, вручила ему свое сердце и сбережения, накопленные многолетним тяжелым трудом парикмахерши, ухаживающей за прическами первых дам нашего города. Получив впервые в жизни немалые деньги, отец возымел желание стать купцом большой руки. Он открыл сразу два крупных мануфактурных магазина, каждый в противоположной части города. Была принята куча продавцов и две кассирши. Отец взял на себя общее управление и закупку товаров на оптовых складах. Он суматошно носился на извозчике по всему городу и подписывал бесконечное количество векселей. Но очень быстро все это ему надоело, и он все чаще стал забегать в свое старое кафе и просиживал там по полдню, играя в шахматы или вступая в бесплодные политические дискуссии. Потом он зачастил в кинематографы. Если ему случалось бывать в своих магазинах, он уходил в контору и там погружался в чтение газет и книг. А тем временем продавцы тихой сапой крали все с полок и оголяли их начисто. Уходя домой, они обматывали себя под верхней одеждой целыми отрезами самых дорогих тканей. Отец ничего не замечал, а мама, подавленная авторитетом и светским образом жизни своего мужа, не смела обидеть его вмешательством в дела фирмы. Все это ухарство длилось не больше, чем года полтора. Кредиторы все чаще опротестовывали не уплаченные в срок векселя, отец опаздывал с платежом за помещения, и вдруг все вылетело в трубу. Отец был объявлен банкротом, и судебный исполнитель наложил арест на остаток товаров и все домашнее имущество. Мы остались у разбитого корыта с кучей долгов на шее (я говорю «мы», ибо я уже успел появиться на земной

юдоли). Отец, который не признавал никакой вины за собою, разводил руками и говорил, что это «вис майор», то есть непреодолимая сила роковых обстоятельств. Этим выражением, звучавшим как научный врачебный диагноз, он всегда обезоруживал маму. И тогда пришлось съехать с приличной квартиры в городе и поселиться в «ярычевке». Оставался еще вопрос, чем прокормить семью. Как раз появилась новая мода у женщин носить короткие волосы. Их не надо было искусно укладывать и высоко закалывать шпильками.

Мама начала отпускать дешевые обеды на дому и снабжать домашними пончиками несколько кондитерских лавок. За деньги, выклянченные у старшего брата, она сняла ларек с непритязательным товаром и водворила в нем своего непутевого муженька. А он считал себя непонятым и несчастным, ухитрялся коротать время в своем заточении за непрерывным чтением, хотя душа его рвалась в кафе и кино. Частично это удалось ему осуществить, когда я уже настолько подрос, что можно было оставлять ларек на мое попечение. Покупатели редко нарушали спокойствие, и я, выкурив по одной папироске от всех сортов, доводил себя до полного одурения. Потом, когда муть в голове прояснялась, я подыскивал себе что-то подходящее из отцовской подручной библиотечки. Когда надоедало, а отца все еще не было, я открывал баночки с кремом, снимал осторожно пальцем тонкий верхний слой и усердно втирал в кожу лба, все чаще покрывающегося бугорками угрей. Когда время все еще тянулось, я брал из кассы мелкую монетку и выбегал купить себе леденец на палочке.

Однажды, когда я и впрямь изнемогал от скуки, открылась дверь и вошла она – З о с ь к а. Я вышел из угла и встал за прилавком. А она, распахнув шаль и блеснув глубоким декольте, скептически обводила глазами жалкий ассортимент товаров, как будто недоумевая, зачем она сюда зашла. Когда же, презрительно

надув губы, она наклонилась над стоявшим на прилавке ящиком, где лежали под стеклом разные гребешки, я резко отпрянул назад. Ее груди в вырезе пеньюара зашевелились, как два хищных зверька, готовые прыгнуть к моим губам – или скорее наоборот. Это мое движение заставило ее только теперь заметить меня. Она подняла удивленные глаза и пристально посмотрела, как я меняюсь в лице. Постепенно изумление в ее взгляде уступило веселому любопытству. Этот подросток с помутневшими глазами явно ее смешил. Она задумалась, прищулив глаза, и вдруг обожгла меня вопросом:

– Какие гондоны есть у вас в продаже?

Вся кровь во мне схлынула куда-то вниз, а затем начала бурно подниматься вверх. Неужели Зоська с одного взгляда разгадала мою самую сокровенную тайну? Я старался изо всех сил унять дрожь, а она все всматривалась в меня с пытливостью препаратора, вскрывающего неизвестный до сих пор вид лягушки. Конечно, я давно уже обследовал содержимое ящичка возле кассы, где хранились коробки с розовыми пакетиками с красным крестом и надписью «Оля-гум». Я с детства знал, как и зачем они употребляются, но, тем не менее, непосредственное прикосновение к этим резиновым перепончатым кружочкам электризовало меня предчувствием еще неизведанных ощущений. Один раз от вынужденного безделья я залез в закуток за полками и там решил примерить на себе такой чехольчик. Эффект был столь потрясающий, что мне показалось, как будто болезненный нарыв гейзером прорвался во мне наружу. Обескураженный, в полной растерянности, я второпях кое-как скомкал намокшую и потяжелевшую резинку и, вложив обратно в пакетик, сунул в ящик. Через некоторое время я опомнился – к счастью, отец еще не вернулся – и бросил вещественное доказательство моей половой зрелости в горевшую времянку. Отец ничего не заметил, только жаловался, что нестерпимо воняет жженой резиной. Но после этого инцидента я долго

ходил подавленный, злополучного ящика даже не касался и пытался все это забыть. И вот, по странному совпадению, при первом личном столкновении с Зоськой эта неприятная для меня история всколыхнулась во мне, усугубляя мое смущение.

Я вытащил несколько пакетиков и положил перед нею. Она вскрывала их нервно, чуть не разрывая бумагу, и выкидывала содержимое на стекло. Потом поочередно распускала резинки во всю длину и натягивала их на растопыренные указательный и средний пальцы, проверяя плотность и растяжимость. Поглядывала при этом на меня искоса, как бы интересуясь моей реакцией. Сейчас я думаю, что это была вполне рутинная покупка принадлежностей, связанных с ее профессией, но тогда в ее поведении почудился мне вызов, чуть ли не заигрывание. И вдруг осенила меня дикая мысль: а не подобает ли всамделишному продавцу продемонстрировать на себе одну из этих штучек? Меня бросило в жар от сознания, что я бы, пожалуй, не противился. Я уже не помню, потянулся я к ширинке или нет, но Зоська заметила что-то неладное, насупила брови, распахнула сумку, смахнула в нее все пакетики, бросила на прилавок банкнот и, не потребовав сдачи, хлопнула дверью. Я долго стоял, прислонившись к полке, пока не остыл. Когда уже пришел в себя, первой моей мыслью было – вот погоди, еще немного повзрослею, раздобуду нужные деньги и махну в отель «Венеция».

В маленьком проулке через дорогу наискось от «ярычевки» находился Богом и людьми забытый шинок пана Брыля. Уже давно редко кто нарушал тишину и полумрак никчемного заведения. Когда-то в соседстве существовало управление акциза, чиновники которого собирались у пана Брыля. Когда акциз закрыли, пан Брыль разорился. Рядом тянулась главная улица, ведущая с вокзала в город, с множеством питейных заведений, и не было смысла искать чего-либо другого в глу-

хом проулке. Но хозяину некуда было деться, и он остался. За помещение и квартиру он уже давно не платил, надеясь на великодушные майора Фафа. Кредит был исчерпан, бочечного пива не привозили, а на буфете, богатом когда-то холодными закусками, стояли теперь только несколько бутылок пива, лежали окаменевшие плавленные сырки, черствые баранки и нарезанная кусками селедка с луком. Две бутылки водки дополняли скромные ресурсы. Только под вечер, после закрытия лавок, сходились здесь мелкие торговцы, чтобы, стуча костяшками домино, забить козла и обменяться сплетнями. Сюда приходил и мой отец в поисках партнеров для дискуссий. Приманенные газовым светом и звуками говора, спускались сверху дочери хозяина, два перестарка, вечно зябшие, кутавшиеся в один плед. В борьбе с сединой они применяли перекись водорода, но волосы выкрашивались почему-то в салатный цвет яри-медянки. И так сидели они в зеленоватом свете газовых ламп, сами зеленые и скисшие, как две экзотические кикиморы. Один их вид мог навести настоящую тоску.

Знакомясь с окружением, Зоська забрела к пану Брылю и была тронута уединением и убожеством его заведения. Она присела, велела налить себе рюмку, закусила селедкой и завела разговор с вызывающим жалость хозяином. А тот, рад каждой живой душе, рассказывал ей о минувших успехах и нынешних горестях.

— Ах, если бы вы, милостивая государыня, знали, сколько народу тут у меня раньше теснилось, в обеденное и вечернее время, в обеих комнатах пестрило в глазах от зелени акцизных мундиров. А теперь, если что-либо зеленеет здесь, так разве что головы моих бедных дочек, пока они еще не облысели. — И пан Брыль тер свой щеточный ежик. — А теперь даже ни одна хромая собака ко мне не заглянет. Да что там собака, даже нищие по понедельникам обходят мой порог.

По понедельникам, согласно какому-то своему, давно установленному плану, целые полчища побиру-

шек разного пола и возраста обрушивались на наше предместье, превращая его на несколько часов в своего рода средневековый парижский *cour des miracles*. Уже с самого утра снизу, со стороны города, раздавался ритмический гул, точь-в-точь как музыка к «Танцу нищих» в драме Ан-ского «Дибук». Это надвигалась громадная ватага фантастических оборванцев, побрякивая плошками и железными кружками для сбора подаяний. Выставляя напоказ свои настоящие и сфабрикованные раны и увечья, таща с собою для пущего милосердия полуживых изуродованных детей, они надрывно голосили, жалуясь на свою долю. Никому прохода не давали и обходили в определенном порядке, друг за другом, все дома, квартиру за квартирой, лавку за лавкой. На тех, кто не поддавался настырному выклянчиванию, сыпался поток чудовищных проклятий. Дабы этого избежать, надо было иметь наготове запас мелких монеток для оделения всех. Было известно, что овдовевший кабатчик Агид, любитель тухлятины, готов был дать и по полтиннику нищенкам, которые помоложе. Мы с Антеком даже знали, за что.

Таковы были диковинные явления нашего города того времени.

Зоська стала все чаще заходить в шинок пана Брыля и дольше там просиживать. Скоро все знали, что это из-за парикмахера Эдуарда.

Парикмахеры у нас принадлежали, некоторым образом, к цвету интеллигенции. Цирюльники старой школы занимались к тому же простейшим врачеванием — пускали кровь, ставили пиявки и банки. Часто бывали недурными музыкантами, постоянно или по случаю играли в оркестрах. Тусклые скальпы, напаянные на фаянсовые безликие головы, стоящие на витрине, свидетельствовали о том, что в этом предприятии в самом деле выделяют парики. Мастер Квятек, чья парикмахерская находилась напротив «ярычевки», в доме, зани-

маемом майором Фафом, принадлежал к последним могиканам. Эдуард, его сын, работающий у отца в подмастерьях, был, увы, уже только простым брадобреем. Отступление от традиций он возмещал себе великосветским образом жизни. После рабочего дня он превращался в салонного льва, неотразимого покорителя сердец чуть отцветших знатных дам. Стройный красавчик, как с поздравительной открытки, с пагубными усиками и косыми бачками, с загадочным шрамом на щеке – скорее бритвенного, чем сабельного происхождения, он был предметом вожделения определенного типа сентиментальных женщин. Эдуард очень заботился о своей внешности. С миниатюрным флажком именитого кавалерийского полка в петлице он мог сойти за офицера запаса, когда по вечерам появлялся в лучших клубах и собраниях города. Никому из постоянных посетителей не приходило в голову, что таинственный джентльмен, мало о себе рассказывающий, всего лишь скромный парикмахерчик. На фэйф-о-клоках, вечеринках и балах он утверждался в своем самомнении, флиртуя с высокопоставленными дамами. Связь с простой девушкой из предместья казалась ему унижением. Как сказочная Золушка, ускользал он часто под утро с шумного бала, чтобы всего несколько часов спустя брить и стричь привокзальную публику. С кислым лицом он лихорадочно работал, мечтая о том, как бы поскорее опохмелиться. Когда оживление в цирюльне унималось, Эдуард забегал за угол к пану Брылю, чтобы выпить залпом сто грамм горькой и быстро вернуться на работу. Во время одной такой заправки увидела его Зоська.

– Пане Брыль, духом одну «детскую с капельками» и бутылку светлого! – раздалось с порога.

В дверях маячила стройная фигура в белом халате, застегнутом сзади и собранном в талии. Прибывший смахивал скорее на хирурга, чем на парикмахера.

– Уже, уже, пане Эдуард, – трактирщик засуетился. – Пан Эдуард, видно, этой ночью немного переборщил?

– Нет у меня времени на разговорчики, – пробурчал незнакомец и, выпив заказанное, бросил на стойку серебряную монету. Зоська не успела даже его разглядеть, столь стремительно выбежал он на улицу. Да ей, по существу, плевать хотелось на всякого мужика.

Несколько дней спустя история повторилась, красавчик в белом задержался у стойки чуть дольше, но к ней даже не повернулся. Хотя нахальный тип был ей совершенно безразличен, она не привыкла к такой развязности, чтоб мужчина не остановил на ней взгляда. А не признак ли это наступающей бренности ее прелестей – пронзила ее тревожная мысль. При третьей встрече она решила проверить равнодушие негодяя, который задел-таки ее самолюбие. Она ловко задрапировала пеньюар и шаль, углубила вырез на груди, кокетливо выставила коленку. Когда изверг с усиками выпивал свою «детскую», она достала папироску и на самом грудном тоне спросила у него огня. Не оборачиваясь, он бросил ей на столик коробку спичек и тут же вышел. Теперь ей стало ясно, что он сознательно пренебрегает ею. Если он не педераст, так что же это такое? Кого только она не видела у своих ног, а здесь паршивый парикмахер-ишка, провонявший бриолином и лавандовой водой, дает ей явно понять, что она для него ноль без палочки. Откуда ей было знать, что Эдуард, набивший себе голову шашнями с дамами большого света, к которому он и себя уже причислял, считал бы для себя позором подарить хотя бы один взгляд продажной бляди.

Я не знаю, как и когда униженное самолюбие переломилось в Зоське в большое чувство, принесшее ей много страданий. Мне теперь легко умничать, но что я тогда мог смыслить, даже если был, как сегодня говорят, акселерантом. Конечно, все началось с уязвленного самолюбия, а затем, может быть, она осознала свое одиночество или ожили в ней подавленные естественные чувства и разыгрались распирающие ее женские соки. Зоська была влюблена по уши в заносчивого сума-

сброда Эдуарда, и напала на нее безысходная хандра. Все чаще и дольше просиживала она у пана Брыля, не ограничиваясь одной рюмкой. Нередко отправляла она назад извозчика Онуфрия и оставалась вечером дома.

Когда наивные в своей безнадежности заигрывания с Эдуардом не дали желанного результата и он остался для Зоськи недостижимым, хандра перешла в черную меланхолию. Мне даже казалось, что ее красота потускнела, что, впрочем, придавало ей оттенок некого одушевления.

Однажды она вручила мне писульку, чтобы я отнес ее Эдуарду. Почти детские каракули были орошены слезами и расплывались:

«Сладчайший мой Эдуардик, почему вы так немилосердны ко мне, что я такого сделала, что вы терзаете меня и даже не хотите смотреть в мою сторону. Я готова ишачить днем и ночью, чтобы вы не были вынуждены работать и всегда могли алигантно одеваться. Тоскует мое сердце и шлю вам листок, шлю на запад, шлю на восток, там где живет мой милочек.

Низко кланяюсь З.»

Эдуард пробежал письмецо глазами, порвал его на куски и сказал мне кратко:

– Не тащи мне, засранец, писем от блядей, а то как дам тебе пинка под жопу...

Я болел душой за Зоську, которая буквально сохла на глазах. Такую пришибленную увидел ее у Брыля старый скульптор Оркаевич.

К большому сожалению жителей «ярычевки» и всего предместья, тяжелое испытание постигло нашего хозяина, добрейшего майора Фафа. Самые нежные чувства он посвятил дочке своей экономки, пятнадцатилетней Янке. Он объявил ее своей приемной дочерью и послал учиться в лучший пансион для благородных девиц. Тем самым подтвердились слухи о том, что Янка была его незаконнорожденной дочерью. И вот, проводя

каникулы на морском курорте, она заплыла слишком далеко и утонула. Убитый горем майор велел привезти тело в цинковом гробу и устроил торжественные похороны при большом стечении сочувствующего ему народа. А некоторое время спустя стало известно, что наш местный скульптор, старый Агафон Оркасеви́ч, получил заказ соорудить пышный надгробный памятник на могиле незабвенной Янки.

Скульптору Оркасеви́чу предсказывали в молодости блестящую карьеру. Он учился у известного профессора в Кракове, доучивался в Вене и Флоренции. С успехом участвовал во многих выставках, где его портретные скульптуры и фигурные композиции находили одобрение зрителей и критики. После того, как он провел декоративные работы в строящемся тогда Оперном Театре, Оркасеви́ч остался в нашем городе навсегда. Это были первые годы нашего столетия. Он женился, наслаждался семейным счастьем и благополучием, как внезапно молодая жена погибла во время родов, осиротив горбатого сына. Горе сломило его, он пристрастился к спиртному и выбился из колеи.

Там, где кончался ряд наших домов, ближе к заставе, находился обширный пустырь, называемый Цыганским. Разбивали там свои шатры цыганы. Там же расположились небольшие луна-парки с балаганами, каруселью и тиром. В промежуточное время наши ребята гоняли там тряпичный мяч. В дальнем углу площади Оркасеви́ч в начале двадцатых годов соорудил не то барак, не то избушку и устроил себе там мастерскую. От творческих притязаний он уже давно отказался и промышлял камнеобработкой и гипсовыми отливками садовых урн, надгробных украшений и лошадиных голов. Одевался он неизменно по моде его юности и с художественным шиком. Черный бархатный пиджак, вечно обсыпанный перхотью и гипсовой пылью, широкополая шляпа, высоко торчащий воротничок с причудливо завязанным бантом обращали внимание прохожих.

Одним он казался трагической, другим – комической фигурой в паноптикуме нашего города. Горбатый сын Мацек был его помощником и вел хозяйство.

Оркасевич был уже забыт как скульптор, и поэтому приглашение к майору и разговор с ним всколыхнули его и привели в движение помрачневшие от старости и винных испарений ум и чувства.

– Сколько лет, сколько зим, пане Оркасевич, – голос майора, исполненный доброжелательности, позволил воспрянуть духом потревоженному неожиданным вызовом старику. – Садитесь, садитесь, надеюсь, что кресло достаточно мягкое. Какую сигару изволите, гавану или виргинию? Рад видеть, что старая гвардия еще держится, есть еще порох в пороховницах. Помню, как вчера, ваш вернисаж на всемирной выставке в 1894 году. Ах, какой фурор произвела ваша «Психея»! Я был тогда адъютантом для поручений в свите императора Франца-Иосифа и запомнил, как его величество долго наслаждался гармонией и совершенством форм этой статуи. Да и мы были тогда молоды, и жизнь стелила нам цветной ковер под ноги.

Здесь майор бросил быстрый взгляд на свой большой портрет кисти известного баталиста. Молодой бра- вый ротмистр в парадном мундире и высоком кивере с плюмажем мало чем напоминал сморщенного и седого хозяина в домашней куртке. Старый скульптор сидел беспокойно, пытаясь не выдать волнения, вызванного неожиданным приглашением. Это не ушло от внимания хозяина, который быстро изложил суть дела.

– Вы, пане Оркасевич, наверно, слышали о постигшем меня несчастье. Что делать, Бог дал, Бог взял. И вот задумал я увековечить память о моей приснопамятной девочке надгробным памятником большой художественной ценности. После долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше вас никто этого не сделает. Нынешним художникам я не доверяю и не понимаю их фиггли-мигли и заумные штучки-дрючки. Как человек

старого закала, считаю, что искусство должно быть всем понятно. Имея в памяти ваши давешние успехи, я верю, что вы оправдаете мои надежды.

Оркасевич чуть не расплакался, так был тронут оказанным ему доверием. Он договорился с майором, что с проектом он не будет медлить и принесет скоро зарисовки для одобрения. Майор Фаф еще раз подчеркнул, что желательно, чтобы скульптура символизировала всю чистоту и непорочность внезапно оборванной молодой жизни, а также глубину скорби всех оставшихся.

С крупным авансом в кармане, окрыленный и польщенный почетной задачей, Оркасевич бросил даже пить и приступил к работе. Он сознавал, что это должна быть его лебединая песня, но размякший от многолетнего пьянства и отвыкший от серьезных усилий ум потерял прежнюю сообразительность. Руке и глазу не хватало меткости. Зарисовки давались ему с трудом, основная идея явно не конкретизировалась. Майор Фаф со сморщенным лбом рассматривал предъявленные ему зарисовки и находил их лишенными оригинальности и выразительности. Он уже корил себя за опрометчивое решение обратиться к одряхлевшему скульптору. Пригорюнившийся Оркасевич не находил себе места. Выйдя однажды от майора, он решил подкрепиться, завернул за угол и толкнул двери к пану Брылю.

Зоська собиралась как раз уходить, не дождавшись сегодня ненаглядного Эдуарда. Ее статная фигура в длинном пеньюаре и копна русых волос озаряла полумрак помещения. Выражение печали на ее прекрасном лице проняло скульптора насквозь. Ведь это было то, чего он так долго искал. Ангел неутешной скорби слетел на землю. Она прошла мимо, а старик застыл в оцепенении с потухшим окурком сигары в углу рта.

— Кто это такое, пане Брыль?

— Вы совсем оторвались от жизни, пане Оркасевич, если не знаете Зоськи Без Носа. Ведь она считается

королевой ночной жизни в нашем городе. С некоего времени переехала к нам и снимает комнату у старой Крольчихи в «ярычевке».

Появление пана Оркасевича в нашем дворе на следующий день в послеобеденное время вызвало настоящую сенсацию во всей «ярычевке». Бархатная куртка на нем была вычищена, в руках держал он букет васильков, а из-под мышки торчал гипсовый купидончик. А когда, справившись о квартире Крольчихи, он направился к ней, во двор выбежали все от мала до велика. Засунув руки под фартуки, женщины исподтишка хихикали или нарочито громко сплевывали.

– И в старой печке бес огонь раздувает!

– Да говорят же: седина в бороду, а бес в ребро.

Не спускали глаз с окна возле крылечка, и такой галдеж стоял во дворе, что сапожник Хефко, высунувшись из своего подвального окна, заорал:

– Утихомирьтесь, бабы, хватит чесать языками, пригодятся для зализывания ран от побоев ваших супругов. На вас, старые ведьмы, и никакой бес не полакомится.

Но женщины не унимались, притихли только и насторожили уши, не донесутся ли к ним отзвуки разнузданной оргии. Кто-то даже подстрекнул Стасика, ученика сапожника, чтобы взобрался на окно и заглянул в комнату. Озорник Стасик поплевал на ладони, подпрыгнул, схватился за косяк, подтянулся и расплющил нос о стекло. Сразу стало тихо, только слышно было, как где-то кричал покинутый матерью грудной ребенок.

...Виолончельный овал спины, переходящий плавно в два ягодичных полушария, которые ритмически поднимаются и опускаются, заслоняя весь мир. Под ними беспомощно раскинутые ноги оседланного мужчины. Белые старческие ноги с атрофированными икрами – только время от времени перекачивается под кожей

и коченеет в судороге мышечный шарик. Дерг, дерг – ноженьки еще пару раз дернулись и уже становятся одеревенелыми и холодными. У, бессовестная, заездила на смерть старичка, надо позвать мужиков из городского морга, пусть приедут и возьмут на дроги бездыханное тело... Нет, нет, слава Богу, не надо, он уже ожил и стоит теперь на коленях перед ней, раскинувшейся поперек кровати, и припал седой головой к извилистой ложбине промежности. Господи, да разве бывает у стариков такой красный, длинный и гибкий язык. Он шурует им с алчным чавканием, как собака, дорвавшаяся в знойный день к холодной воде...

Я открыл глаза, и терзающие меня видения развеялись. Наш соглядатай прыгнул как раз вниз, и ему покатилося навстречу одно протяжное общее:

– Ну?..

Они стояли с вытянутыми шеями, а Стасик, не торопясь, доложил с чувством выполненной важной миссии:

– Ну и тпру! Нечего рассказывать. Она стоит посредине комнаты в этой своей паутинной рубаше и протягивает руки, будто хлеба вымаливает. Старый же хрыч сидит с рисовальным блокнотом в руке и что-то без передышки чертит в нем.

Расходились по квартирам с чувством, что их негодным образом надули.

Работа над памятником пошла теперь живо. Майор Фаф проект одобрил, и Оркасеви́ч закрылся в своей мастерской наглухо. От зарисовок он перешел к боцет-то, маленьким макетным моделям. Потом долго лепил большую статую из глины. Проходили месяцы, художник никому своей работы не показывал, боялся сглазу. Даже преждевременные похвалы, по его суеверию, могли накликать неудачу. Если случалось, что заходил к нему кто-то посторонний, он тщательно набрасывал на

модель мокрые тряпки. Затем ему привезли специально заказанные глыбы белого мрамора из Хенцинских каменоломен, и он всю зиму высекал из них свою композицию. Уверенной рукой с прежней силой он бил молотком по резцу. Горбатый Мацек старательно обтесывал детали, выглаживал их и шлифовал.

В июле майор Фаф объявил близким и знакомым, что в первую годовщину смерти Янки состоится на кладбище торжественное открытие и освящение ее памятника.

В светлый и солнечный день почти все жители нашей улицы отправились к месту празднества. «Ярычевка» явилась полностью, купив вскладчину пышный венок из белых роз. Ее жители с глубочайшим благоговением прошли через кованые ворота и пошли по главной аллее. Легкий ветерок морщил белое полотно, свободно окутывающее памятник. Майора, его престарелую мать, сидящую в инвалидной коляске, и мать Янки окружали почтенные дамы и господа, представители разных религиозных и благотворительных обществ, пользующихся щедрыми вспоможениями майора. Чуть в стороне расположился многоголосый хор кафедрального собора. Собравшиеся ожидали еще приезда прелата, посланца епископа, который должен был своим присутствием придать торжественность церемонии. Когда он с некоторым опозданием появился, хор исполнил «На крыльях песни» Монюшки. Высокие ангельские голоса, поддерживаемые крепкими басами, взвивались в поднебесье. Песня летела в небо, увлекая все больше просветлевшие сердца людей. Песня как бы смывала с них всю копоть повседневных дрязг и обыденной суеты. Хотелось плакать, и некоторые уже не могли сдержаться, когда прелат в белом кружевном стихаре и фиолетовой накидке произнес латинскую молитву. Напряженность чувств достигла предела, когда их старый приходской священник дрожащим голосом начал свою проповедь.

Голос отражался от каменного забора и надгробных плит и, усиленный эхом, переворачивал душу.

– ...наш всемилосердный Отец небесный в Своей неохватной доброте позвал к Себе отроковицу Янину, чтоб заступалась за нас, многогрешных. Ее уважаемый всеми нами отец, неподражаемый образец нравственности и благотворительности, как богобоязненный Иов, подвергся тяжелейшему испытанию, но не сетует и не ропщет на Бога, ибо знает величие Божие. Ему известно, что неисповедимы пути правды Божьей, и вот решил он закрепить в рукотворном памятнике все эти скрытые непреходящие духовные ценности, которым не было дано проявиться до конца в кратковременной жизни отроковицы. Да останется это вдохновленное Богом произведение искусства символом непорочной жизни для будущих поколений на веки вечные!

Все присутствующие плакали, бабы – навзрыд, мужики – шмыгая носом, дамы и господа – приложив к глазам платочки. Жалко было скромную, тихую Янку, жаль было сломленного горем майора, который стоял с поникшей головой, а ветерок трепал его белоснежные волосы. Жалко было и себя самого, которому никто такого памятника не поставит.

Ксендз кончил и уже протянул руку за кропилом, когда горбатый Мацек потянул шнурок и сдернул покрывало. Засияла на солнце белизна мрамора, и взору собравшихся предстал памятник во всем своем великолепии, изумляя ценителей изящества тонким и строгим соответствием формы и гармонии. Шепот восхищения прошел через первые ряды стоящих. Только уважение к месту и моменту сковывало ладони, рвущиеся к аплодисментам.

И лишь жители «ярычевки» и соседних домов стояли растерянные от неожиданной встречи с Зоськой Без Носа. Они сразу узнали квартирантку Крольчихи в ангеле печали со стелющейся по земле туникой и пальмовой ветвью в руках. Зоська стояла, как живая, в своем

пеньюаре, а ниспадающие и отброшенные назад рукава драпировались в стилизованные крылья. Горестно склоненная голова на классически изогнутой шее отражала всю глубину скорби, в которую вверх Зоську своим равнодушием парикмахер Эдуард.

Стояла жуткая, истинно кладбищенская тишина, так что слышно было, как на верхушке плакучей ивы беспечно щебечет какая-то пташка. Люди стояли онемелые, пока у одной тетки не вырвалось протяжное: – Господи, и это символ непорочной жизни?!

И сразу взорвался столь оглушительный смех, что испугнутые им птицы сорвались с деревьев и долго кружили стаей под небом.

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

НА ФЕРМЕ

Глава I

Я живу на самой вершине амфитеатра,
на последних ступенях деревенского колизея,
примостившихся на воздушной подушке под небесами,
на краю семихолмия, над выемкой гигантской,
изнутри заросшей зеленой, распахнувшейся глазу –
вся целиком – как будто соглядастая и дожидалась.
Раблезианец для полноты картины
не преминул бы заметить, что между холмами,
в лощине, промежность с кудрявым лесом.
Здесь получаю отпущенную мне долю зрелищ.
Пасутся коровы. Обьедают нижние ветки смородины
козы. Только что бурки лишившиеся бараны,
по ходу стрижки изгибавшиеся то так, то эдак,
закручивавшиеся в рог бараний,
утрачивая семитскую скрутку,
демонстрировали возможности звериного орнамента,
а выпущенные из-под машинки
переминались неловко, как новобранцы.
Колоннада серых сосновых стволов на перевале
поддерживает составленное ветвями
подобие многофигурного треугольного фриза
и сама, над классикой этой нелепой смеясь
и потрясая ею, трясется. Это здесь не проходит.
Гористая местность, не приспособившись
к самоограничению, не ограничивает свободы
формам, явлениям, перемещениям лиц.
И мой паровозик бежит по строчкам туда-сюда,
сойдя с колеи, одолевая пересеченность
вольготно разлегшегося ландшафта,
собой и увиденным поглощенный,

расставшись с бухтеньем шпал, переводом стрелок, со станционным буфетом, расписанием железных дорог: тропы, строфы, гудочки рифм, контролеры. Вот уж где места нет педанту, догматику, резонеру, ни заигранности фирмы «Мелодия», ямб бубнящей ни короткой дыхалке прямоугольных куплетов. Находясь в покое и воле пространства, данный вид транспорта если и управляет чем-то, то не более чем движением хода мысли, полагая, что им-то уж он владеет.

Глава II

Взгляд разлетается с непривычки, не встречая препятствий, уносясь туда, где клубится небо после битв нездешних; пускай себе сочиняет далее метафизик, каков тот потусторонний мир, какие там войны, Ничто какое, а у меня желания нет за рамки пейзажа выйти. Раскинувшаяся долина словно книга раскрытая, где великое множество всяческих внимание забирающих мелочей, заботящихся о прекрасном, ради его продолженья. Ее читаю – несостоявшийся растительного языка палеонтолог (София!) – как самодельную Библию монастырскую, как Часослов, где всё готически устремляется вверх по мере способности к росту и, уводя внутрь нагромождения веток, сквозное виденье развивает. Так, сквозь деревья на белом фоне, словно сквозь черновик сочинения крупной формы, сквозь палочки, разным почерком не сложившие букв, сквозь боковых стволов контрфорсы, мимо обглоданных воздухом ребрышек голых, костяшек, вывернутых тяг деревянных,

нервных пучков, проникаешь в неведомых
сущностей сферы: предугаданий того,
что гадай – не гадай, случится,
в поисках тех подпорок, чем подпереть это знание.

Глава III

Смотришь – и занят, и нет причин
перевернуть страницу: черенки, отростки,
прутики, ответвления. Лучшее время то,
что преисполнено любованья; оно
не течет напрасно, оно производит что-то,
может быть, новое Время, даваемое, не отнятое
у тебя. И если взгляд попадает на человека,
его лицо рассматриваешь как плоскогорье,
только с меньшим количеством
подробностей наслаждения. Взгляд,
которому не во что упереться за отсутствием стен,
строений, перегородок, блуждает где-то,
где ты ничего не знаешь, запропавши,
словно сын блудный, в какового тебе превратиться
несподручно, как есть ты дочь.
Женский взгляд на вещи – подмечает
формы единства, пуповинные связи; бытие, природа –
вот в чем ее режим щадящий, вот в чем
принцип дележки, который включает
в свое «имею в виду» и меня как объем работы,
приобретенный с рождением. Похожее всё,
как будто вот-вот припомнишь что-то такое,
на что это всё похоже, всех прообраз
подобий. Ищешь, но одинакового не найдется;
ничто не напрашивается на сравнение,
оно на ум не приходит. Ты пройдешь, а это
останется. Вот кто: пейзаж – одинок;
вот кому: уйти некуда – хуже.

Глава IV

Звуков, кроме как издаваемых ветром, никаких;
его клавир из только шипящих согласных
составлен – безголосый Моцарт.
Тянет бесконечные фразы. Обрывки повторов
бросает в жестковолосых смычков пущи;
кружными путями ищет захода в облачную мерлушку
в надежде наткнуться, как в симфонии «Юпитер»,
снимает шумовую накипь. Гармошку дыхания
до дурноты растягивают. Драматургия фильма
немного. Так не играют, не исполняют,
но производят действие жизни, трагическую
заготовку. Сердце в своем мешочке унывает.
Беспокойство, близкое к умалишенью,
сообщает ему о столь великом,
о чем в безветренную погоду не станешь думать
и что обернуться чревато едва ли к лучшему
для него переменой. В полдень
ветер собирает в кулак пространство,
ударяет в тарелки зенита – раздается
беззвучное громыханье. Медная рябь,
слепя, тренирует влюбчивость слуха,
возвращает в детство, в тот отзвук Времени
обо всем, что прежде болело. Мощным выдохом
на траву накатывает, обожанье наращивая
не к предмету только, но повсеместно,
распространяясь, как свет рассеянный,
как запрос на почту о не востребованной любви.
Такова здесь форма существования,
и человек есть следствие этой формы –
она-то равенство и есть, раз смеешь любить
то, чему тебя вовсе не нужно,
что в неведении о тебе, чему ты не понадобишься
никогда (оно-то вечно!), если способа не найдешь
для доказательства самого себя,
как теорему из исходных данных,

кто ты есть или кем ты – еще немного
и можно будет сказать – была. Вот что,
кроме амадеев великих, с жизнью тебя примиряет,
с неестественным естественным ее концом
неизбежным.

Глава V

Вдоль дороги увлекшегося родника
захлебывающиеся речи с полным ртом камней
по дну канавы – тот еще оратор! –
к публичным готовится выступлениям в низине,
когда станет рекой Делаварой (на ту же букву!).
Сбегаёт мимо клавиатуры поленницы дров,
по ходу распиливанья прибавляющей
регистр за регистром, рядом с которой
недостаток речи ручья все безнадежней.
Романтизм, что дорогой, что дешёвый,
этап пройденный, и на том спасибо.
Проживаешь частным лицом, без бурь, без борений,
не геройствуя, черпая силы из внутренних
источников собственных полезных ископаемых.
Неизвестно ещё, что труднее. Довольно того,
что глаз, обычно потухший, наплескавшись
в зеленых затонах перевернутой чаши лазури
(«свет-мой-зеркальце-скажи»), светлеет.
Вот опрощение – русский подвиг. Из него выпав,
здесь совпадаешь с миропорядком. Дни,
дети Времени, один за другим вырастая,
дом покидают. Театр планетарных действий
перед тобой происходит; движешься
с ним в едином потоке. Горный максимализм
наблюдая сверху вместе с минимализмом
простейших травок, производишь свой выбор
(лучшая ссылка на географический фактор,
раз за него не посадят, вот бы Страбон удивился!),

сам сторонником малых мер становишься, постепеновцем цивилизованным неторопливым, умеренным англофилом, проводящим летний сезон в штате Нью-Йорк.

Глава VI

(Не внутри ли себя?) пробный камень кладется какой-то сельской постройки, амбара, времянки, сарая – или это древний могильник? мечта неких предков о земле молока и меда? Те же самые имена на почтовых ящиках вдоль единственной улицы внизу в поселке, что и на памятниках местного кладбища. Рядом с местом захоронения предков пасутся коровы потомка, у которого я и беру молоко (его детишки, замурзанные по-русски, на приветствие не отвечают); чуть поодаль трудятся пчелы другого потомка, у которого мед покупаю. Здесь на ум не приходят мысли о заурядной жизни: достойный житель, его бестиарий. Мы, скучнолицые, с глазами уснувшей рыбы массовые горожане, живем иначе, не знаем, где-то нас похоронят. Или это следствие ощущения, что покинуто место рожденья, причем добровольно, и что жизнь сама по себе, когда не мучительна, то сладка, на чужбине включая. Этот простор, воздушность, протяженность каждого наблюденья, пока отыщешь, за что б уцепиться. чтобы сравнить, ворошит солому неохотной памяти, натывается на иглу того, что было старинной адмиралтейской верфью на берегу той реки, что стала Летой. Направленье знакомо, да только платить перевозчику дороговато, да и рано идти на попятный,

превращаться в подростка, размахивать кулаками,
пользоваться то отсутствием выбора, что лежит
под руками: местных величин шкалу измерений,
каменных сфинксов загадки, скованность юных
метафор,
капризы очередных поветрий. Перемена системы
мер и весов – той на эту – превращает
жизнь во что-то вроде легенды, ибо не до конца
в это веришь; так что даже с самим собой
отношения изменяются в сторону ощутимо
большего интереса, даже если это заметно
только наблюдателю самому. В свете этих
последних открытий я на том свете,
где никого из моих знакомых не бывало;
словно Тень, сопровождавшая в детстве,
материализовавшись, как алебастр затвердевший,
во что-то вроде садовой (не лучшая копия!)
скульптуры, стоит от автора отдельно,
позволяет на себя иногда опереться
или загораживает, когда, к примеру,
приходится завязать шнурок. Проживаю в сферах,
где нет места проявлению энтузиазма в любом
его виде; где если и есть достижения,
то состоящие в том, что самообладаешь более
твердо; где если тоска посещает, то
по стихотворению разве что, то есть,
из этих сфер зафитилит в такие
где никаких плодов не соберешь, что ни посадишь,
таково это зерно, что из него произрастает
только голод.

Глава VII

Коровы бредут, словно в начале письменности
знаки. Бараны гуртом подходят близко;
на их телах альбиносовой масти,
как после бритья, царапины после стрижки;

посадка черномордых голов надменно;
по именам различаю: Авраам, Исаак, Иаков,
Исав, Иосиф и его братья, оправляться любят
именно там, где я загораю. Гоню пугливое племя.
Погружение в вязкую медоточивость.
Солнце дремлет, закатив ясновидящий зрак;
повсюду его присутствие: пушок, реснички.
Цикады замерли на одной ноте. Внутри,
как будто ты полый, гулко. Собственная рука,
как фрагмент утраченный богинь безруких,
лежит поодаль. Кружит и кружит ястреб,
словно напоминая: есть и не только то,
что видишь глазами. Хищность и вечность –
все станет их пищей. Сено в круглых бобинах,
как бы сказал знаток производственного искусства,
«перекликается» с ракетообразной постройкой
силовой башни. Ее космический серебристый
купол сообщает о двадцать первом, считая
в обе стороны от Рождества Христова, веке;
включая будущее лоснящегося чернотелого
двухмесячного бычка с хмурым взглядом
из-под кустика светлых ресниц (назовем Антиноем),
с молоком на морде. Занимают также
ежедневные встречи с благодушным меховым
зверьком, живущим в норе под камнем;
как он называется, мне неизвестно, но сын
утверждает, что суслик; надо справиться
в словаре по возвращении в город.
И еще узнать, ласточка ли живет под крышей,
гнездо из соломы и глины, птица с телом,
раскладывающимся в полете, словно оно на пружине.
Между двумя близлежащими покатосями холмов
спит, свернувшись, облака белая кошка,
как на просиженном старом диване
в круглых подушках, которые приверженцами
домашних словечек прошлого века назывались
«думка». Чего здесь только не вспомнишь!

даже то, что совершенно, кажется, не занимало:
эти, например, подушки; не говоря уж,
что их название «произнестъ»
здесь не страшно.

Глава VIII

Зверобой собираю и тысячелистник для сушки,
мяту и ромашку дикую у обочин дорог,
чтобы было средство на зиму от болячек.
У края пологого поля растет малина.
Отправляясь вглубь за красным комочком,
под навесом куста обнажаешь зубец сердцевины,
он цвета такого, каким бывает только живое.
Руку отдергиваешь, смутясь осязанием,
темную от загара и от коричневой тени,
еще молодую, не праздную – что хорошо,
мою, вот что странно. Сходишь с горы с корзиной
богинь плодородия (Флора, Коломбина),
с охапкой цветов полевых, для вхождения в образ
стараясь держать осанку, и тут замечаешь
с другой стороны малинника, в ложине,
семейство сохатых: пять человек оленей.
Внизу встречается кошка, вышла охотиться
у дороги, и мне еще неизвестно,
что в октябре увижу ее мертвой.
И если я не зову сюда гостя, то не потому,
что это развлечением было бы лишним;
не потому, что, как в детстве, что ни попросишь,
на все получаешь «нет»; но потому,
что здесь ты как будто не связан
ни с обстоятельством, ни с другим человеком.
Если бы люди были ангелами, их бы и звали
иначе. Ангел еще и тем привлекателен,
что человек и на человека-то бывает похож
редко. Это так, к слову, мысль гуманиста.

Глава IX

Два главных события дня: восход и закат.
Туман поутру заходит в долину между
двумя разъятыми половинами перевала,
как угол простыни натягиваемой. Рассвет
надувает парус в расступившемся море и
отчаливает навсегда. Это не сказка,
и он не вернется. После его ухода
отстаивается осадок чего-то ночного
у горизонта, освободив всю емкость для
алхимика-утра, что наполняет его тем самым –
вечной молодости – эликсиром, запускает
пыльцу золотую в колбу переливающегося
дымчатого стекла. Входит герой: светило,
старый повеса, к дверям спиной
покидает место, куда закатилось на ночь;
от избытка чувств проходится по макушкам
деревьев; львиную – как в прожекторе цирка –
лапу накладывает попеременно на все,
что погладиться об нее взаимно желает,
ползет по склону: луг, поляна,
бугорок, перелесок. Молочное поле пшеницы.
В сомнениях в разные стороны двинувшаяся
роща. Просека с мельтешеньем кочек.
Клевер на косогоре. Насыпь вдоль
грунтовой дороги, ее петелька,
обхватывающая холку кручи, тянущей шею увидеть
собственный хвост за грядой перевала. Косая
кустарника челка. Вельветовый рубчик покоса.
Колкость сухой стерни. Толпа
стариковских яблонь. Марево травяное,
школа гомеопата. Выпрастывая сноп света,
луч никакую мелочь не оставляет в забвеньи,
так что вспомнишь Моисея, его куст горящий,
брата-левита и народ, стоявший поодаль,
как и ты сама, убеждаясь в чуде.

Глава X

Два раза в день меняется положение тени, как смена мнений прямо противоположных, превращающее левых в правых, тех и других в приспособленцев власти небесных необсуждаемых абсолютов. Дня золотая жила иссякает. Разум, на время проснувшийся, меркнет. Освещение прибавило яркости, как в лавке у антиквара, где, чтобы выглядела позаманчивей, бронзу высвечивают, чтоб некупивший об этом-то и сожалел на прощанье. Ухищренья понятны, но, раз показывают, смотрим дальше. Свет понижается на октаву. Ниже. Ниже. Завершает опись мелких расходов времени суток, ее итог к чему-то обязывает, словно знание, что кому-то обещано невозможное. Фитиль керосинки коптит, прикручивают; то ли один уголек от пожара остался, дня пепелище. До наступления тьмы словно произойти успевает покушение, несчастный случай: из ранки сочтется содержимое сердца. В огромной давилъне из сложенных с верхом гроздьев синего леса переливают венозную кровь; и, когда слабый раствор насыщается сильным, провисший от тяжести между холмами бурдюк зеленый наполняется до краев и больше впитать не может, мы видим саму бочарню с ковшами, висящими сбоку, Большим и Малым. Их сторожит узколиций во всем соучастник; каждую ночь подозрительность, как воришка, теряя, поворачивает все больше к посторонним свое лицо. И на восьмую ночь его убирают. Нянечки детскосадовской всходит кругляк щеки; к тяжелой люльке долины она подходит и, всю ночь не смыкая глаз, качает бессонно, предполнолуно.

Роксбери, 1987

ТЕМКИНА Марина – поэт, переводчик, критик; родилась в Ленинграде в 1948 г. Окончила Ленинградский университет, в котором сначала училась на кафедре средних веков, затем – истории искусства; была членом секции критиков и искусствоведов Ленинградского союза художников. Эмигрировала в 1978 году, сначала жила в Европе (Вена, Флоренция), затем поселилась в Нью-Йорке; работала в Международном комитете миграций, а также внештатным сотрудником на радиостанциях «Голос Америки» и «Свободная Европа». Стихи, переводы и критические статьи печатались в большинстве эмигрантских периодических изданий; книга стихотворений «Части часть» вышла в 1985 году в изд-ве «Синтаксис». В «Континенте» печатались ее стихи (№ 51) и перевод эссе Иосифа Бродского «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» (№ 50).

Алла Кторова

«МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ»

«Мелкий жемчуг», новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание жизни пращуров и предков прошивается картинками жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй Мировой Войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядом автора на нового человека эпохи НТР и т. д.

«Мелкий жемчуг» продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 стр. с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Заказы на книгу принимаются во всех магазинах русской книги Зарубежья, а также по адресу:

Victoria Sandor, 5838 Edson Lane,
Rockville, Md; 20852. U.S.A.

ДВА МЕСЯЦА

– Ну, подумай, нам же только тридцать два года! Неужели мы не проживем еще хотя бы двадцать? И неужели за это время мы ни разу, ни единого разочка не увидимся? Чепуха!

Обнявшись, они стояли среди переполненного людьми Шереметьева-2 и обещали писать, писать, все время, каждую неделю, обо всем («так, как мы говорим по телефону, да?»), и звонить тоже часто, не реже, чем раз в месяц, правда? и...

– Не забывай, если со мной что-нибудь, ты возьмешь к себе Тамусю, да? Ей исполнится восемнадцать, ты прилешь жениха, и она приедет. С тобой я спокойна...

Мокрой щекой, смуглой, бледной, по мокрой, белокожей, в еле заметных веснушках.

– Пора, запускают. Пойдем. Что с тобой?

Муж, кажется? Да, его рука на плече, знакомое обручальное кольцо. Слезы заливают ее новое голубое платье, все расплывается.

– Возьми мой платок. Ну, не надо...

Как я люблю этот голос! Родной, прозрачный, пришептывающий, с неповторимо доверчивой интонацией, каждая фраза, как воздушный шарик – вверх!

– Мила, я твой платок возьму, только сначала ты вытри им глаза, а потом я возьму. Так лучше. Господи, да что же это?

– Пойдем, пора.

Но тем временем муж убирает руку с ее плеча, и его самого целует кто-то. Она обнимает их всех по очереди, не различая лиц, гладит плечи, волосы... В последний раз! Черная борода, кудрявая, смешная, поблёскивают серебряные ниточки. В старости его облик будет почти

библейским. А когда-то, в седьмом, кажется? Да, в седьмом, мы сидели с ним на одной парте, и он влюбился, и начал стесняться физкультуры, потому что не умел прыгать через козла... Смешно. Надо же поцеловать его хоть единственный раз, по-настоящему.

Помнишь, ты собралась замуж и сказала ему об этом? Окна были открыты, сирень лезла прямо в комнату. Белая? Нет, лиловая, махровая, головокружительно душистая, помнишь? Ты сказала – что?

– Я выхожу замуж.

А он? Кажется, он очень побледнел. И прошептал:

– Я бы его убил.

Кого? Бархатного, кареглазого, толстого, который стоял под опушённым сиренью окном и за которого нельзя было не выйти замуж, так он мечтал об этом!

– Я бы его убил.

А потом он стал на колени перед стулом, на котором ты сидела с поджатыми ногами, – еврейский мальчик, длиннобровый, коротко стриженный, тогда еще без всякой бороды, – он стал на колени рядом со спящей большеухой собакой, и она удивленно раскрыла золотые глаза, подняла голову...

– Поцелуй меня. Один раз. Что тебе стоит?

– Ну, не могу! Я же выхожу замуж!

Сколько лет прошло? Неужели двенадцать? Через двенадцать лет – моему сыну одиннадцать, а сколько твоей дочке, семь? – через двенадцать лет целую тебя на Шереметьевском аэродроме. Не получается никакого поцелуя, губы дрожат.

– Милый, прости.

И всем лицом в бороду, черную, смешную, кудрявую, с мелкими серебряными ниточками.

– Что простить? Ну, иди.

Шагаю вперед. Зажмурившись, как в холодную воду. Теперь между нами какая-то толстая веревка, как в метро. Веревка, и всё? Господи! Да, а Мила? Попрошлась ли я с ней? И, бросив на пол сумку – в ней сразу

что-то звякнуло – водка, икра? – через эту толстую веревку:

– Мила, родная! Милюня!

– Ну, перестань, мы же проходим таможеню, прошу тебя, возьми себя в руки!

– Да, сейчас, сейчас. Милюня!

– Мама, ну не плачь! На тебя же все смотрят!

Он меня стесняется. Ради него хотя бы. Вытираю глаза Милиным платком. Он мокрый. Значит, сначала глаза вытерла все-таки она.

У таможенника брезгливое белесое лицо. Что это он так брезгует? Ах, он вывалил себе на стол всю мою косметику! Надо было купить новую, не было бы так стыдно. Откуда тушь-то эта здесь, допотопная. Не арбатская ли цыганка всучила? От такой туши люди слепнут, ее же из гуталина с клеем делают! А я везу в Америку.

– А это кольцо снимите. Его нельзя.

Кольцо – прелесть. Старинное серебряное кружево. В центре – черный камень. Зарочка перед аэродромом надела. С пальца на палец.

– Куда же я его теперь дену?

– Можно отдать провожающим.

Поднимаю кольцо в воздух, показываю. Зара хватает за щеки.

– И кораллы снимите. Вы что, декларацию не читали? Кораллы не вывозятся.

Кораллы Ванда надела, вчера. С шеи на шею. Нельзя. Досмотр кончился.

– Распишись здесь.

Муж пальцем показывает, где расписаться. Она расписывается и опять поворачивается к ним, за толстой веревкой стоящим, лицом, к брезгливому таможеннику – спиной. Бросает сумку. Опять что-то звякнуло. И двумя руками в воздухе огромными печатными буквами: «Я вас люблю!»

Самолет вздрагивал, урчал, как большое шершавое животное. Только что не облизывался. Грел моторы,

что ли? Через проход – странная семейка: пожилая, седая кудрявая женщина, похожая на мальчика, толстый мальчик в черной куртке и две парочки: постарше и помоложе. Жены некрасивые, одеты нелепо. У той, что постарше, золотой зуб на самом видном месте. Кто же это вставляет теперь золотые зубы? Другая почему-то в тельняшке. Диссиденты, наверное, ну, и богема, конечно. Что со мной? Отчего я так раздражена? Люди как люди. Костлявый молодой человек, муж тельняшки, достал хрустящую десятидолларовую бумажку и купил себе американских сигарет. Стюардесса с усмешкой отсчитала сдачу. Вот так-то: доллары! Он с шиком затянулся. Что это? Мы отрываемся, кажется? Мы улетаем?

– Сыночек, умоляю тебя, посмотри на эту землю! Ты же здесь родился! Это серьезно. Посмотри, сыночек!

Он смотрит. В глазах страх.

– Мамочка, ну что ты опять плачешь?

Муж обнимает ее за плечи. Она мельком видит его черное – почему такое черное? – измученное лицо. Глаза мокрые. Они смотрят вдвоем. А земля уходит. Расчерченный асфальт аэродрома, деревья, фигурки людей. Всё, всё, всё. В последний раз.

– Мама, ну не плачь!

Тельняшка перегибается через проход:

– Плюнем в сторону советской территории!
Поздравляю вас!

Глаза белые. Сумасшедшие глаза. Отнимаю от лица Милин платочек:

– Зачем?

В кухне венской гостиницы «Мадлингерхофф» было две плиты и небольшой стол. В окне – кусок красной черепичной крыши.

– Берта, вы поедете на рынок?

– Ну, неужели? Я езжу каждый четверг. Вчера купила такой язык! Очень дешево. Подошла, а он уже

укладывается. Лежат одни ноги. Вы не знаете, зачем мне ноги? Я говорю: язык есть?

– Подождите, а как вы сказали «язык»? Как это по-немецки?

– Да зачем мне говорить? Взяла себя двумя пальцами за язык и показала. Понял. Чудный язык, дешевый. С ними всегда можно сторговаться, если к закрытию... Я варю без соли, солю потом.

– Простите, где здесь спички?

– Спички? Это вы вчера приехали? Вы в двадцать второй? И как же вас зовут? У вас такое русское лицо, поразительно! А вот спички здесь у каждого свои. Они денег стоят. Нате, пока мои возьмите. Маленький чайник свободен. И предупреждаю: осторожнее. Тут за стеной один ювелир из Москвы. Так ему если что в руки попадет: чайник общественный или губка для посуды, обратно не дождешься. А жене слово сказать нельзя: того гляди кипятком обварит!

Широкая лестница покрыта потертым вишневым ковром. Резные чугунные перила. Полутемно. По коридору, провисая на костылях, ковыляет глубокая старуха с седыми косичками. Как ее довезли сюда? На аэродроме-то как она стояла? И понимает ли она вообще, что происходит?

Дребезжащий микроавтобус уместил всех, прибывших со вчерашним вечерним самолетом. За рулем коротенький человек с косящим ускользающим взглядом. Что-то вроде нового Вергилия. Водит. Развозит. Выкликает по списку. Круги венского ада узенькие и утомительные. Одна организация. Другая. Деньги на неделю. Очереди, анкеты. Идем по коридору Сохнута. Сзади израильский солдат с ружьем. Папа смотрит на него умиленными глазами. Впереди с портфелем в руках подпрыгивает торопливый Вергилий. В нашей группе две пожилые мамы. Одна из Одессы, едет к сыну в Бостон, другая из Риги, едет к двум сыновьям в Австралию. Рижанка маленькая, седая, стриженная под

мальчика, в крепдешиновом платье в горошек. На стареньком круглоглазом лице выделяется подбородок с торчащими седыми волосками и губки бантиком, подкрашенные ярко-красной помадой на манер пятидесятих годов. Очень нервничает, это заметно. Одесситка – исполинского роста, в новом, плохо сшитом лиловом костюме. Сегодня утром – тапочки тоже лиловые, голова в бигуди под розовой сеточкой – жарила на кухне яичницу из одного яйца. Сын уехал десять лет назад. В Бостоне он женился, и у него уже двое детей.

– Вы не боитесь встречи с невесткой?

– Очень боюсь. Иностранка ж все-таки. Но я ей буду угождать, с внуками буду возиться. Только бы сына не потерять.

Теперь они идут друг за дружкой по узкому коридору: горошек впереди, лиловая за ней. Вдруг рижанка поворачивается и испуганным шепотом:

– Куда он нас ведет?

Лиловая, с убежденностью:

– Мне кажется, к гинекологу.

Посол Израиля разговаривал с каждым индивидуально. Может быть, он и впрямь был немножко похож на гинеколога. Московского профессора-частника со Староконюшенного переулка. Помнишь этот подъезд? Свежие январские сугробы, невесомый снег, засыпающий прохожих. В темном подъезде пахнет кошками и валерианкой. Страхиваю белые лепешки с шубы. Сердце стучит. Страшно, ведь доктор. Открывает жена. Она же помощница, она же секретарша. Замашки гранд-дамы. Ослепительные зубы.

– Ваша фамилия? Сапоги снимите, пожалуйста. Вас вызовут.

На диванчике в коридоре огромная желтая кошка с плачущими китайскими глазами. Под глазами мешочки из черной шерсти. Когда это все было? Какой-то старый сон, позеленевшая пленка хроники...

Посол Израиля вежливо привстал навстречу. Вежливым жестом маленькой белой руки пригласил сесть.

– Я рад приветствовать вас здесь, на свободной земле.

И вдруг папа, мой папа – да что же это такое, Господи! – бросился пожимать эту маленькую белую руку обеими ладонями:

– Я вас благодарю! Вы помогли мне, наконец, вырваться из этого ада, я вас благодарю!

Лысая голова с серым пухом апоплексически покраснела, он стиснул ее руками, разрыдался. Когда ты видела его плачущим? Кажется, всего один раз. Да, когда хоронили бабулю. Он стоял над гробом, и лицо его ничего не выражало. А она была... Помнишь, да? Совсем маленькая и словно бы помолодевшая, в белом платочке по-деревенски, восковая, ненастоящая... Ведь она вырастила тебя! А как ты тяготилась ею в эти последние полгода, когда она лежала, или бессмысленно сидела в кресле, или пронзительно звала тебя по ночам! Тогда она казалась тебе деспоткой, мучительницей. И вдруг всё это кончилось.

Я закрываю глаза, изо всех сил восстанавливаю тебя в памяти и спрашиваю: «Ты простила меня?» Да, конечно, да, иначе разве бы ты приходила ко мне во сне так часто? И этот последний бостонский сон, который так легко растолковать! Маленькая восковая родная старушка осторожно ведет меня под руку по заледеневшей лестнице, и я думаю: «Как можно было поверить тому, что она умерла? И если бы не она, кто вел бы меня сейчас по этой скользкоте?»

О чем я? Да, так вот, когда гроб уже закрывали, папа вдруг вот так же, обхватив голову руками, разрыдался, отвернулся, и Лиля с ужасом, словно знала, что это случится, обняла его...

Израильский посол вежливо смотрит в окно. Кажется, ему неловко. Надо подождать, пока этот подтянутый, светского вида старик успокоится. У посла

печальные голубые зрачки, сильно увеличенные очками. Он предлагает воды, на виске его маленький, ярко-коричневый шрам. Папа сморкается в клетчатый платок. Беседа продолжается. Приятная семья, думает посол, и эти три женщины, и плачущий старик, и лохматый мальчик с испуганными глазами, приятная семья, но едут они все-таки в Америку...

– Зинаида Григорьевна, вам надо купить себе хотя бы два летних платья. Правда. Ну, нельзя же так. Сегодня и купим.

В маленьком магазине звякнул колокольчик. У продавщицы кукольное лицо с сиреневыми веками. Напряженно улыбаясь, я беру три вешалки с платьями. Говорить по-русски как-то неловко. Кукла с сиреневыми веками, ласково щурясь, провожает в примерочную. По московской привычке, заходим вдвоем. Мутноватое зеркало, гудит вентилятор.

– Раздевайтесь скорее и меряйте!

– Как же я буду мерять, я без рубашки!

– Ну и что?

Бедная свекровь натягивает через голову платье с белыми пуговками. Дойдя до середины, оно останавливается.

– Подождите, надо же молнию расстегнуть!

Сквозь ширму просовывается кукольное личико со стеклянной улыбкой. Внимательно смотрит на полуголую пожилую даму, запутавшуюся в платье. Ну, что она смотрит?

– Нет, нет, это мне все равно мало. Давай другое, – задушенным голосом говорит свекровь из-под наполовину расстегнутой молнии.

– Да вылезайте скорее, на вас же смотрят!

С улыбкой – разве я не умею так же стеклянно улыбаться? – отдаю платье сиреневовокой. Все английские слова вылетели из головы.

– Я принесу такое же чуть побольше, – говорит она мягко.

– Ты посмотрела на цену?

– Нет, а вы?

– Очень дорого, мы такое не потянем.

Ширмочка отдернулась. Такое же платье, но побольше, и полосочка розовая.

– Ах, нет, нет, только не розовую!

Как, кстати, будет «розовый»? «Pink», что ли? Не стану же я, как Берта, хватать себя за язык!

– Посмотри на цену! Зачем я буду его мерять! Все равно не возьмем!

– Меряйте, она же смотрит!

– Господи, я вся потная, на меня ничего не лезет!

– Сколько раз я вам говорила, если вы надеваете белый лифчик, то и трусы должны быть белые! Если черный – черные! Мука мне с вами!

– Нужна моя помощь? – сиреневовая улыбается еще теплее.

– Скажи ей, что это велико.

– Это велико.

– Неужели?

– Простите, можно я сама выберу?

Насмешливо усмехаясь, продавщица выскальзывает с ворохом платьев. Оставив взмыленную свекровь, – трусы черные, лифчик белый, о, позор! – выбираю спокойное, в темный ромбик, с кожаным пояском. В Москве потянуло бы на сто пятьдесят. Да, в московской уборной на Неглинной, где – помнишь? – ты купила себе сапоги-чулки перед свадьбой? Какой это был шик по тем временам! Мерять, правда, пришлось, сидя на унита-зе. Продавала траурного вида девица с хриплым голосом.

– Это мне знакомый моряк привез. У меня нога чуть больше вашей, а то бы я себе оставила. Я к этим спекулянтам никакого отношения не имею. Случайно

зашла. У меня жених военный летчик. Американскими карандашиками не интересуетесь?

Сапоги лопнули на вторую неделю.

– Зинаида Григорьевна, ну, что вы смеетесь?! Меряйте скорее и пойдем! И так сраму хоть отбавляй! Ведем себя, как чукчи!

Звякнул колокольчик. На раскаленной, розовопенной – почему Вена так напоминает мне пирог с каменными взбитыми сливками? – улице смотрим друг на друга и смеемся. Кажется, первый раз после московского аэродрома.

Знакомый скрипач, ясноголубоглазый, тщедушный, с заячьей улыбкой, говорит:

– Нам ведь все равно, как ехать? Хотите, я покажу улицу, где стоят проститутки?

– Нет, нет, Боря, что вы?! А как же Игорь? Что я ему скажу?

– Чепуха! Дети на это вообще внимания не обращают!

Едем. Вдоль темной улицы – редкие фонари. В межфонарном пространстве одна-две женщины. О, оживший Тулуз-Лотрек! Желтые, взбитые волосы, черные чулки, белые, розовые, лиловые бедра, чуть прикрытые блестками, перышками, кружавчиками... Московские выглядят иначе, не так живописны. А студент Васильев, тот, который шел по первому молодому снегу в знаменитый московский переулочек с публичными домами, как он страдал, бедняга! Рассказ «Припадок»... Я стою на кафедре двухэтажной 9-й аудитории и говорю о чеховском чутье к нравственной боли. Передо мной – море лиц. Удивительная вещь: каждый раз я по-новому волнуюсь. Если же я не волнуюсь – плохой знак. Значит, аудитория невнимательна, я не сумела ее расшевелить. К кому я обращаюсь? К этой девочке в некрасивой зеленой водолазке? Она так хорошо слушает и никогда ничего не записывает. Не люблю, когда за мной записывают. Или к этому, в солдатской шинели – наверное,

только что из армии, – с яркими рыжими глазами? Или к сидящему всегда на последнем ряду седому человеку, который явно не учится в МГУ, а просто приходит слушать? Ко всем и ни к кому. Я просто люблю Чехова. Говоря о нем, я говорю с ним.

– Он работал над «Вишневым садом», умирая... Вы понимаете меня? Он лежал, и не мог иногда даже подняться с постели, и тоскливо смотрел на эти белые, недописанные листы, не в силах сесть за стол и завершить свой труд. У него уже начался туберкулез кишечника...

Грустно. Я ничего не написала о «Вишневом саде». Вряд ли уже и напишу. Эта серая растрепанная книжка так и лежит, наверное, на даче над папиной кроватью: «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер-Чеховой». Я впивалась в чужую жизнь и почти всегда ела при этом что-то вкусное: клубнику с грядки, или бутерброд с вареньем, или, нет – гораздо вкуснее! – черный хлеб с солью и луком.

Помнишь, ты поссорилась с бабулей и уговорила Оленьку (тебе-то было уже лет десять, а ей только восемь!) переехать из большого дома в маленький, который дед построил специально для игрушек, и жить в нем всегда, всю жизнь! Вы просидели в домике почти целый день, запершись на крючок, не отвечали на стуки и вопросы, не пошли обедать. Господи, как это было уютно: сырая тёмная комнатка с игрушками и велосипедами, Оленькины испуганные, совершенно синие глаза и ментоловое, холодноватое, засасывающее ощущение оторванности от всех, таинственной жутковатой сохранности... Но потом ужасно захотелось есть, и ты осторожно выскользнула в пахнувший жасмином вечерний сад, пригибаясь, чтобы не заметили с террасы, где спокойно пили чай под желтым абажуром, и черные капроновые бабочки вились над вазочками с еще теплым вареньем, ты обогнула жасмин и обеими руками нарвала шелковистого луку с грядки...

Чехов писал: «Милая моя актриса, великолепная женщина, люблю тебя, жену мою...» И умирал в Ялте. А она подписывалась: «Твоя собака». И жила в Москве. А я ела лук с черным хлебом и, наматывая косу на палец, читала.

Ночью студент Васильев представлял себя то братом падшей женщины, то отцом, то самой этой падшей женщиной с накрашенными щеками... Грустно всё это. Я ничего не напишу о Чехове.

Две девушки в черных спортивных тапочках прилетели со следующим самолетом. Утром они вышли из «Мадлингерхоффа» босиком. У одной перекинута через плечо светло-русая коса почти касалась коленей. Обе полные, загорелые, голосистые. Но та, что с косой, помягче, поспокойнее, улыбка какая-то потерянная. Взявшись под руки, они плыли по венской улице, как по полю или проселочной дороге. Останавливались перед витринами, с уважением разглядывали киноаппаратуру. Босые ноги запылились. На рынке они купили очень больших темно-алых помидоров и ели их, как яблоки, на ходу.

Черепичная крыша поблескивала в пыльном заходящем солнце. Старуха с косичками заглянула в кухню: «Берточку мою не видели?» – и, стуча костылями, скрылась. Светло-русая коса лежала на влажной клеенке, а она, перегнувшись грудью через стол, говорила мне со своим мягким южным акцентом:

– Папа с мамой два года в американском посольстве провели. Так и жили. Ты ж об этом, небось, слышала? Баптисты, что тогда в посольстве спасались, помнишь? Так это они. И уж три года в Канаде. Живы, здоровы, дай им Господи. Папа за нас с сестрой всю Канаду на ноги поднял. К американским сенаторам ездил, пока нас не выпустили. А они визу дали и – от поганые какие! – через двадцать четыре часа чтоб ноги нашей не было!

Мы в чем есть сели и полетели. Папа с мамой там извелись все...

– У тебя дома остался кто-нибудь?

И сама не рада, что спросила. Карие глаза бурно наливаются слезами, ярко краснеют. Вытирает их кончиком косы.

– Скажу тебе. Любимый человек у меня там. Вот горе. Аж грудь ломит, как подумаю. Женат он. Четверо детей. Мы ж баптисты, у нас абортот не делают. Он и в армию не ходил, отсидел свое в тюрьме, они от него и отвызались. Он мне, что свет. Дорог так – сил нет. Я и не знала, что он меня любит. Издали на него смотрела. У нас же нельзя... Вот сестра моя – так другое. Ни во что она не верит, Бога не боится, с половиной поселка перегуляла. А я не могу. Издали на него смотрела. А тут, в последний месяц, как стало понятно, что нам визу дадут, он меня подозвал на улице. И поговорили. Я плачу, и он дрожит весь. А позавчера мне сказал: «Как же ж я тебя отпускаю?» Ой, горе какое!

Косой закрывает плачущие глаза.

– Ты ему писать будешь?

Опять я, кажется, не то спрашиваю.

– Как же ж я ему напишу? Он и так на волоске висит... У него друг, такой же, как он, пятый год в лагерях. Жена больная, на инвалидности, дети маленькие. Он, кроме своих, еще и этих тянет. Ну, не один, конечно, им все помогают. У нас это крепко. Все можем в тюрьму да в психбольницу попасть, сама знаешь. Только нас им не затравить. Мы ж как один человек. Бог ведет. А писать, как ты сказала, куда ж я буду? Сердце рвать, чего еще...

Через два дня они улетели. Прямо в Канаду, минуя Италию. Опять в черных тапочках, пестрых ситцевых платьях. В светлой косе янтарная заколка в виде жука. Взяла меня горячими ладонями за щеки, поцеловала:

– Дай тебе Бог. Я тебя помнить буду. Хорошая ты.

И перекрестила, неторопливо, широким, плавным крестом.

Таня вот так же перекрестила меня однажды. Я провожала ее на электричку, опять она после короткого наезда в Москву уезжала в свой монастырский, луговой, полевой Боровск, накрапывал дождь, и она говорила мне глухим отчаянным голосом:

– Не нужно мне мужа, не нужно, только бы ребенка родить! От кого угодно, мне все равно.

На обожженном лице со сморщенными темно-кирпичными щеками (в детстве взорвалась керосинка, обварило и дитя, и няньку) большие полутемные очки. Она приподнимает их, и я вижу ее великолепные темно-голубые сияющие глаза. В них мучительное выражение сумасшедшего упрямства и мольбы. Кисть левой руки тоже темно-кирпичная, сморщенная, а правой, белой, породистой, грациозной, она вдруг крестит меня и быстро уходит. Почему она ушла тогда так внезапно? И почему мы больше не увиделись? Я несколько раз звонила в Боровск. Ее мама вежливым голосом сельской учительницы отвечала:

– Дочери, к сожалению, нет дома.

Потом я узнала, что она родила мертвую девочку...

Как это страшно, когда прощаешься навсегда и не знаешь этого! В детстве я так отчаянно любила отца, что каждый раз, когда он уезжал с дачи в город, казалось, что я его больше не увижу. Любовь делает человека зависимым и беспомощным. Это несправедливо. Я провожала его до мостика – длинноногая девочка в розовом сарафане с желтыми цветочками, – мне было лет десять-одиннадцать, за мостиком дачный поселок кончался и начиналась деревня. Ходить туда без взрослых мне не разрешалось. Он торопливо смотрел на часы и целовал меня летучим, нежным поцелуем. И быстро уходил. А я стояла на мостике и глядела ему в спину. До сих пор помню все пиджаки и рубашки, которые он тогда носил! В деревне голосили петухи, скрипели

колодцы, а я думала: «Неужели я его больше никогда не увижу?» А потом, когда его спина, кудрявая голова и рука с портфелем исчезали за поворотом, я говорила себе мстительно, в точности копируя бабулину интонацию: «К своей побежал. Соскучился. Нет, чтоб с ребенком посидеть. Приспичило ему». И это тоже было несправедливо, потому что никакая «своя» не могла заменить ему этого ребенка в розовом сарафане с желтыми цветочками, и все это отлично знали. Ревность заставляет быть несправедливым. Но что же делать? «Что делать?» – говорю я себе сейчас, понимая, что житейские сюжеты меняются, а детские комплексы остаются...

Потом он каждый раз возвращался, и в портфеле его всегда лежал яблочный пирог из ресторана «Прага». Наверное, «своя», зная мои вкусы, покупала...

Они стояли, прижавшись лбами к вагонному стеклу, и ахали от восхищения. Ночь встречала их чернотой, местами переходящими в лиловизну, густыми, масляными красками написанными Альпами. Кое-где лежал совершенно серебряный, ненастоящий новогодний снег. Еще реже поблескивал свет жилья. Кто спрятался там, в середине глухой горы? Нам бы такой домик на два денька, на денечек! Я испекла бы яблочный пирог и села бы к окну с вышиваньем. Розовые, горячие яблоки пузырятся на припудренной корке... Как суетно мы живем, как неверно! Неужели мы не заслужили этот короткий отдых?

Она проснулась от ослепительного света, бьющего в глаза. Поезд несся по пронзительно-желтому выжженному пространству. Наверху золото переходило в синеву и обрывалось круглым белым облаком. Вдруг поезд остановился. Она сидела у окна и обеими руками придерживала растрепанные волосы. Июльское утро дышало в лицо. Два ярко-смуглых, черноглазых, черно-

усых рабочих, посмеиваясь, внимательно смотрели на нее, развываясь на вокзальной лавочке. Тот, что постарше, подмигнул и помахал рукой. Поезд тронулся. Она засмеялась от непонятного нахлынувшего счастья. Это была Италия.

Перед пансионом «Сибилла» стояли трое: маленький грустный старик с таджикским лицом, красивый широкоплечий парень в белой рубашке и абсолютно лысый – потный блестящий череп криво прикрыт носовым платком – человек лет сорока в широких черных очках. Это были перекупщики, ждущие приезда эмигрантов. Высыпавшие из автобуса невыспавшиеся, тревожные люди со своими чемоданами и баулами заполнили пространство перед подъездом.

– Глаз не спускай с вещей, тут тебе не Вена, – сердито шипел своей испуганной рыхлой жене бывший директор ленинградской плодоовощной базы, едущий к дочке в Нью-Йорк. В Вене он как-то умудрился попасть на порнографический фильм и долго потом отплевывался в общей кухне, а жена благоговейно смотрела на него и жалела псу под хвост выброшенные шиллинги, которые языкастая Берта упорно именвала «шиллерами».

Грустный таджик подошел к мужу: «Бинокли? Самоуары? Аппаратура? Балетные тапочки?» У него были припухшие затравленные глаза, шелковая тюбетейка лоснилась.

– Бинокли? Да, есть один бинокль.

– Слушай, отдай мне, я хорошо заплачу. С лысым только не связывайся. Ворюга... – грустно сказал старик.

Кругленький плотный итальянец, прицокивая, приплясывая, прищелкивая пальцами, раздавал ключи от комнат. Когда она проходила мимо к лифту, он вдруг прищурился и растопырил толстые волосатые ручки: «Если красавица гупки надует, тот не мучина, кто не селует».

В комнате, небольшой, с тремя деревянными белыми кроватями и кривоногой тумбочкой, было невыносимо душно. Зеленые жалюзи почти не пропускали сумасшедшее южное солнце, но оно все-таки брало свое. Мучила жажда. Вода в кране была тепловатой и отвратительной на вкус. Рим – неужели Рим? – звенел, вскрикивал и урчал за окном. Его звуки были беспощадно-громкими, как грозовые раскаты, переливались, пенились. Тоска охватила меня. Она подкралась сзади, по одну сторону ее стояла сморщенная усталость, по другую хриплое раздражение, и они вдвоем осторожно взяли меня за плечи. Июль кончается, а там, за тридцать земель, в тридесятom государстве, есть еловый лес, знакомый до последней травинки, под его темными елями растет «заячья капуста», и, если спуститься густою пятнистою просекой, увидишь черную зеркальную чашу озера. А помнишь овраг, голубой от незабудок? Когда тебе было пять-шесть, вы ходили с дедом за грибами, и ты убегала от него, пряталась в этом овраге, сидела там с радостно бьющимся сердцем, слушала знакомые шелестящие шаги прямо над головой...

Оленька любила ловить бабочек. У нас были одинаковые желтые сачки. Оленькина бабушка, с которой моя кончала когда-то институт благородных девиц в Тамбове и которую, несмотря на ее княжеское происхождение, называли в нашей семье просто «Лялька», носила смешную прическу с «коком» надо лбом и даже на даче продолжала аккуратно подкрашивать губы. Мы вдвоем спускались просекой к озеру – две девочки с желтыми сачками, покусанные комарами, со следами зеленки на локтях и коленках, и стройная старуха с седым «коком», которая сразу же успевала нарвать букет из лесных гвоздик и темно-синих колокольчиков. Мы шли по переливающемуся лугу, и маленькие злые старички в зеленых фраках наполняли его своим стрекотанием. Бывшая княжна Головкина, слегка грассируя, напевала песенки из репертуара Вертинского, и – пом-

нишь? – ты всегда просила повторить «Маленькую балерину». Ах, эта маленькая балерина, которой король (я сразу представляла себе заведующего нашей поликлиникой, но с горностаем на плечах и в короне), которой король прислал за кулисы нечто колдовское, небывалое: лак «Виоль» (почти «вуаль» – серебристое, прозрачное!) и к этому «Виолю» лиловые нарциссы... Бедная маленькая балерина! Грозная королева, через силу улыбнувшаяся «улыбкой слез», могла ведь сделать что-нибудь ужасное, отомстить ей... А еще была песенка про девушку, жившую в крошечном провинциальном городке, которой однажды подарили газовое белое платье небывалой красоты, и она все ждала случая надеть его, но случая так и не представилось, пока, наконец, постукивающая траурная карета не повезла на кладбище гроб с телом женщины в этом сказочном белом газе...

В комнату вошел широкоплечий красавец.

– Слушай, покажи мне свой бинокль.

И протянул загорелую руку, знакомясь: «Аркадий».

– Нет, нет, я уже обещал этому старику в тюбетейке. Извини, пожалуйста.

– Да это мой отец. Он меня к вам и послал сейчас.

Рассматривая бинокль, грустно усмехнулся:

– Вы из Москвы? А я из Ташкента. Мы здесь после Израиля осели. Америка всё не принимает. Визу ждем. Уже четвертый год.

– И что же вы здесь делаете?

– А ничего. Тоска. Живем в Ладисполи. Вы туда тоже через неделю поедете. Отец перекупкой занимается. Я ему помогаю. Да эмигрантов стало мало, не выпускают вас из Союза. Особо не разживешься. Зимой в ресторане работаем. Брат мой квартиры устраивает. Он вам может шикарно снять, с квартирами сейчас на побережье трудно, сезон.

– А что вы в Ташкенте делали?

– Отец у меня сапожник. Он из лайки такие сапоги варганил, от лучшей фирмы не отличить. За пару 200-250 брал. А я дизайнер по одежде. Тоже времени не терял. В Москве в валютном материал скупал, по знакомству, конечно, и шил джинсы. Бирку набьешь и будьте любезны: Нью-Йорк, Лондон, Париж, как говорится. У меня в Ташкенте только что самолета своего не было...

– А что же в Израиле? – спрашиваю я.

– В Израиле? – лицо его темнеет. – В Израиле воевать надо. Ты вот сына своего туда не везешь, правда?

Рыхлая жена «плодоовощной базы» постучала в дверь: «Обедать приглашают. Вы идете?»

Поднимаемся на четвертый этаж. Два маленьких зала столовой. Плотно составленные узкие столы под клетчатыми клеенками. Пространство у дальнего окна занято любопытной семьей: большая полногрудая невозмутимая женщина с морщинистым лицом и невысокий, с непропорционально развитым широким торсом длинноволосый мужчина на костылях. У них двенадцать детей, мал-мала меньше, все костлявые, смуглые, подвижные. Католики из Румынии. Приехали по приглашению римского Папы. Перебираются в Палестину. Кудрявый мулат в грязном красном фартучке раскладывает по столам пузатые булочки, и что-то простодушное, старинное есть в том, как он берет рукой – без всяких вилок и салфеток! – теплый хлеб из прижатой к бедру плетеной корзинки и кладет его прямо на стол, по числу сидящих. В стеклянных кувшинах – простая вода.

Над городом висело низкое сапфировое небо. Странно, ни одной звезды. Густой сапфировый цвет. Ноги болели от ходьбы. Что так поразило меня сегодня в соборе святого Петра? Да, эти люди, стоящие перед «Пьетой». Стоящие? Нет, застывшие. Я подумала, что они должны быть откуда-нибудь с Филиппин: женщина,

мужчина и ребенок, которого мужчина держал на руках. У них были темные, словно вырезанные из дерева лица. Оба очень маленького роста, одеты бедно, в каких-то черных веревочных сандалиях. Смоляные, блестящие волосы. На щиколотке у женщины тоненький синий браслет. Они смотрели на «Пьету», не отрываясь, не дыша. Люди вокруг сменялись, подходили и уходили, но эти трое оставались неподвижны. Через какое-то время они одновременно опустили на колени. Женщина закрыла глаза ладонями. Потом, уже поднявшись, мужчина поднес ребенка – круглолицего, деревянного, чернобрового мальчика – прямо к стеклу, за которым она сидела, плачущая, неподвижная Мадонна с сыном на коленях...

Папа вышел из лифта с перевернутым лицом. Сразу прошел в свою комнату, закрыл дверь. Окна его комнаты смотрели в узкий каменный двор-колодец с мусорными баками. В баках шуршали зеленоглазые кошки. Пронзительные. Коварные. Итальянки. Мяукают с ужасным акцентом. В этом городе какое-то несметное количество кошек. В центральном парке они сидят стайками, как птицы...

– Что случилось?

– У него вырвали сумочку, – произнесла Лиля дрожащими губами, – прямо перед Колизеем. Какой-то мотоциклист крутился-крутился, а потом на полной скорости выхватил, чуть руку не оторвал, и умчался...

– Господи! А папа?

– Он побежал за ним. Он кричал ему «Стой» на всех языках. Потом споткнулся, там булыжник, и упал. Прямо лицом. Я испугалась, что ему плохо. Негодяи, убить их мало!

Она расплакалась.

– Подожди, а что в сумочке?

– Ну, ты же знаешь, он всё носит с собой. Все деньги, все документы. Очки. Не знаю, что делать. Он всю

дорогу молчал. Руку содрал в кровь. Я дала ему тазепам, у меня был с собой...

В детстве меня много раз мучил один и тот же сон. Мне снилось, что я стою перед своей дачной калиткой совершенно одна. Закат. Наша аллея усыпана ржавыми красными листьями. Я чувствую, что мне невыносимо грустно, и грусть эта все усиливается и усиливается, переполняя меня до слез. Вокруг ни души, ни звука. Но вместо того, чтобы избавить себя от одиночества, побежать куда-то, позвать кого-то, я, как заколдованная, продолжаю стоять и пристально смотреть влево, откуда, я знаю, она должна появиться. И она появлялась. Немолодая, фарфорово-розовая китаянка в пестром кимоно, со множеством костяных гребенок в своей сложной китайской прическе. Фальшиво улыбающаяся, узкоглазая мучительница. В руке у нее был веер, которым, постоянно обмахиваясь, она неожиданно прикрывала лицо. Иногда на ее плече сидела маленькая черная сова с янтарными глазами. Сова то появлялась, то исчезала. Когда она появлялась, мне хотелось плакать. Помню, что китаянка сразу вступала со мной в какой-то ускользающий бессмысленный разговор. Я знала, что впускать ее в дом нельзя, это хуже всего. Но, извиваясь и смеясь, она мягко отстраняла меня своим атласным веером и через минуту была уже на террасе. Потом наступала ночь, во время которой никто не спал. Я лежала в своей детской кроватке у печки, а папа и бабуля сидели рядом на старинном зеленом диванчике, не спуская с меня глаз. Так они и на самом деле сидели иногда, когда я болела, и, давши мне жаропонижающее, притушив свет, они тревожно ждали, пока я засну. И вот в этом сне моем неподвижные папа и бабуля смотрели на меня, а прокрадываясь к нам в дом фарфоровая кукла, прообраз которой я, без сомнения, видела на одном из больших стенных календарей (был период дружбы с Китаем, и пестрые календари со сценами из национальной китай-

ской жизни можно было встретить в любом доме), эта розовая кукла с лакированной черной совой на плече безумолку говорила и говорила, убеждая их в чем-то... Сон тянулся бесконечно долго. Внутри его наступало утро, приносящее всегда одну и ту же страшную развязку. Китайка, извиваясь, играя веером, увлекала нас всех за собой. Мы шли вниз, к мостику, по красной и желтой осенней аллее (красочность этого кошмара до сих пор удивляет меня!), и я, шедшая последней, почему-то всегда немного отставала. Вдруг они исчезали. Дальше наступало отчаяние. Я кричала до хрипоты, я плакала, я бежала к станции, не чувствуя под собою земли. Их не было. Да и вообще никого не было. Я оставалась одна на свете. Уже не плача, я возвращалась. Я возвращалась к пустому дому, и на развилке трех дорог меня обгонял велосипедист. Он проезжал мимо, не видя меня, не глядя, и быстро, ровно удалялся.

Этот сон был моим детским наваждением. Но и теперь мне иногда кажется, что, когда я буду умирать и бояться этого, китайка в пестром кимоно с маленькой совой на плече еще появится перед моими глазами...

По вечерам в ладиспольской синагоге было оживленно. В задней комнате огромный белобородый старик в ермолке взвешивал розоватых, кошерных кур.

— Слушайте, это ж намного дешевле. Такая кура прекрасная. Я ее взяла за три тысячи, так что вы думаете? на два дня полный обед. Кошерная. Чистая, как слезинка. Красавица.

— А вы знаете, я считаю, что ихний ёгурт куда вкуснее немецкого. В немецком на дне всегда какая-то гадость плавала...

— А подождите, вы в Неаполь не собираетесь? Там, говорят, такая обувь!

— Да что вы хотите — обувь! Там природа такая! Мы с сыном непременно едем!

Иногда ей было смешно. Собственно, никаких претензий к этим людям, чьи голоса, высокие и низкие, плавные и трескучие, своею густою вещественною озабоченностью наполняли этот вечерний пахнущий водорослями воздух, у нее не было. Они были просто люди, со своими житейскими хлопотами, которые, право же, редко отличаются нравственной стерильностью. Они хотели получить от этой жизни то, что казалось им необходимостью, и их собственная практическая цепкость давила им на плечи, как промокший войлок.

А море было свободным. После заката оно ненадолго приобретало тот же густой пронзительный сапфировый цвет, который так поразил ее в римском небе. Ясно, что море и небо были заодно друг с другом.

– Нас тут один итальянец пригласил завтра посмотреть музей этрусков. Говорит, невероятно интересно. У него в машине будет еще место. Поехали, а?

– Какой итальянец? Откуда он взялся?

– Вот не совсем понятно. Он почему-то все время торчит в синагоге. Симпатичный дядька, немолодой. Зовут Энрико. Сказал, если у нас есть друзья, позовите, поедем вместе. У него очень свободный английский.

За рулем сидел загорелый седоватый человек в дымчатых очках. На морщинистой смуглой шее какой-то маленький серебряный талисман. Улыбка приятная, но сдержанная. Возле глаз резкие морщины. Он гнал машину, как каскадёр, не сбавляя скорости. Разговор, как ни странно, становился оживленным. Она сказала что-то смешное, и, засмеявшись, он забавно вытянул шею, чтобы увидеть ее в зеркале. В музее этрусков он неумоимо водил их из одной пещеры в другую и, рассказывая об этой погибшей цивилизации, оживился, как мальчик, сдвинул очки на лоб. Глаза, ярко-карие, были усталыми, почти старческими.

– Благодарю вас, это все очень интересно, – сказала она, вылезая из машины.

– The pleasure was mine, – ответил он и холодно улыбнулся.

На рассвете пошел дождь. Великолепный, серебряный дождь, от которого запузырились улицы, почернели балконы. Перегнувшись через перила, она смотрела на сверкающие потоки. Через дорогу похрипывало море. Казалось, оно подползало, подползало, будто хотело сказать ей что-то важное, но каждый раз спохватывалось и, застенчиво откашливаясь, сморкаясь и всхлипывая, уползало назад.

Я, кажется, не очень боюсь боли. И всегда чувствовала, что в боли физической есть что-то, стимулирующее жизнь. Мне больно, я плачу или стискиваю зубы, чтобы не унижить себя слезами, но я живу и хочу жить и дышать, и желание так или иначе справиться с болью полнее всего говорит об этом. Тоска страшнее. Она полна отвращения к жизни. Что такое настоящая тоска, я поняла рано, в неполные шесть лет. Была холодная осень. Последняя осень перед моим поступлением в школу и последняя осень жизни моего деда. Считалось, что чем дольше я пробуду на даче, тем лучше. Похоронив свою единственную дочку, мою маму, дед и бабуля были слегка помешаны на моем здоровье. Утро начиналось с осипшего кукареканья. В комнате, соседней с моей детской, жил большой золотистый петух Никита Сергеевич, которого по причине сильной простуды переместили из сарайчика в теплый дом. Никита Сергеевич был действительно болен, он клонил растрепанную красноглазую голову набок и кашлял. Бабуля утверждала, что у него жар. Мы с дедом насильно запихивали в его клюв горький толченый аспирин. Петух нас ненавидел. Сырой осенний лес был так непохож на себя самого, недавнего, зеленого, многоголосого, со всеми его июльскими чудесами: земляникой, кувшинками, теплой смолой, – что ходить туда на прогулку было для меня сущим наказанием. Вид почерневших полянок с приби-

той к земле травой напоминал мне мокрых дрожащих котят, которых мы с дедом находили иногда на пустых дачных аллеях и долго ходили потом по деревне – при-страивали. Деревенские старухи были малосердобольны, они протяжно тянули свое: «И-и-и, милаи, да кто ж их подбирает? Кому они надобны?» – и не соглашались. Тогда дед шел прямо к хозяину дома, и смятая пятирублевка брала свое. Хозяин обычно запихивал ее в протертый карман штанов или лоснящегося пиджачка и, делая вид, что она тут вовсе ни при чем, хрипел: «Ну, бабка, ты чего? Возьми животинку-то...»

На даче рано зажигали свет. Иногда под вечер вдруг начинал идти не просто пронзительный дождь, от однообразия которого я тихо глотала слезы, но липкие серые хлопья, сразу таявшие от прикосновения к земле. Мы варили рябиновое варенье, горьковатое на вкус, и после варки большой железный таз с прилипшими к нему черными рябинками бабуля ставила прямо под дождь, отмачивала. Слово «тоска» пришло ко мне само собой, неожиданно, но я точно и навсегда поняла его значение. Тоска – это утро с сиплым Никитой Сергеевичем за стеной, шаг моих резиновых сапожек по забрызганному дождем лесу, серая вата неба над головой, пустые заколоченные дачи... Тоска – это вечернее ожидание папы, а он («ну, ты же знаешь, у него столько работы!») мог и не приехать сегодня, а (о ужас, как неподвижно-долго, невыносимо!) приехать только завтра, тоска – это красный огонь в печи, от которого черно-белое березовое полено становится хрупким и звонким, а мои вплотную приблизившиеся щеки пылают...

И вот однажды я не выдержала. Дед читал старую, с золотым обрезом, толстую книгу «Речи адвоката Плевако», то есть держал ее на коленях и внимательно смотрел на страницу, а что думал при этом – Бог весть! Может быть, он уже чувствовал в себе это ядовитое белое насекомое (как я всегда представляла его!), этот

растопыренный «рак», который заполз внутрь живота и тихо подбирается к сердцу, и, чувствуя, он, скорее всего, не боялся его щекотливых, вызывающих страшную слабость и сонливость заползаний, а знал, что движения этого насекомого только приближают его встречу с дочкой, которой он, как только закончилось по его настоятельной просьбе заказанное отпевание, шепнул: «Скоро приду». А его жена, мать этой дочки, моя бабушка, смуглая, черноглазая, совсем еще не старая, сидела под выцветшим коричневым абажуром и раскладывала пасьянс. И вдруг я, розовощекая, толстая (ведь весь день на воздухе!), играющая в углу со своими немецкими куклами, разрыдалась. Они вскочили одновременно:

– Что ты? Что с тобой?

– У меня тоска! Деда, я не могу больше! Тоска!

Понял ли он меня?

В Ладисполи началась тоска. И чем синее было море, чем жарче солнце, чем красивее пляшущая на рыночных лотках рыба, тем сильнее была тоска. Седой человек в дымчатых очках, так интересно рассказавший про этрусскую цивилизацию, стал попадаться слишком часто.

Утром они с мужем ходили на английский. В общем-то это была глупость, пустое времяпрепровождение, но полагалось ходить, и они ходили. На повороте их часто догоняла его белая машина. Он холодно улыбался мужу, тревожно ей: «Hello!» Вечером у гудящей, как пчелиный улей, синагоги он ждал их у входа, сдержанный, подтянутый, слегка пахнущий хорошим одеколоном, очень ненавязчивый: «Good evening!» Он звал их по именам. Она шутливо именовала его «sir»: «How are you, sir?» – «All right. And you?»

Они гуляли по влажному песку и разговаривали. Звезды наконец-то появились на теплом с набухшими лиловыми венами небе.

– Что вы собираетесь делать в Америке? Вы же женщина из русского леса.

– Откуда вам знать русский лес, сэр? Вы его никогда не видели!

– Зато я вижу вас.

– Ну, если это комплимент, считайте, что он мне понравился. А в Америке я буду читать лекции в Гарварде. Да, в Гарварде. Что вы улыбаетесь? Лекции по русской литературе.

Однажды в воскресенье он появился под их окнами на велосипеде. Она выглянула:

– Вот не знала, что вы занимаетесь спортом!

– Если я не буду заниматься спортом, я умру. Я же старик!

И пригласил посмотреть какую-то крепость. Полуразрушенная, она стояла прямо над морем. Рядом был маленький, разомлевший от зноя поселок. Несколько белых домов, старинная часовня с кроткой деревянной Мадонной. На склоненной голове – пыльный веночек из бумажных цветов. Старуха в черных чулках, похожая на грузинку из фильма, улыбнулась им беззубым ртом.

– Вы верите в Бога, Энрико?

– Я не отвечаю на такие вопросы. Жизнь покажет. Меня, к сожалению, перепичкали этим в детстве. Мать была слишком религиозна.

Ночью я писала на листочке, вырванном из общей тетради:

Ночь пахнет то рыбой, то хлебом,
И долго не спит городок,
Похожий под праздничным небом
На именинный пирог.

Городок еще не спал. Он и впрямь праздновал какой-то свой праздник. На его украшенной двумя лепными фонтанами маленькой площади выступал эстрадный певец. Вокруг бойко шла торговля. Ярко-зеленая башенка мороженого, казалось, никогда не кончится.

– Как вы смешно едите мороженое. Жалко, что у меня нет зеркала. Вы его лижете, как маленькая девочка. Теперь я буду каждый вечер приносить вам в синагогу мороженое, хотите?

– Совсем не хочу. И если вы не перестанете наблюдать за мной, я и это выброшу. Знаете, что странно? Он поет песни, которые я слышала, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать...

– А сейчас вам больше?

Нет, он не был навязчив. В его шутливой манере и маленьких беззлобных колкостях всегда присутствовала корректность. Почему я вдруг стала так нервничать. Частые встречи утром, почти ежедневные прогулки вечером? Но ведь мы гуляем впартером... Нет, не в этом дело. Взгляд его... Слишком внимательный, тревожный, сквозь всю веселость все тревожнее с каждым днем, все напряженнее. Взгляд растерявшегося, немолодого человека.

– Скажите, рэбе, Бог есть или что?

В синагоге шла дискуссия. Люди, родившиеся и прожившие большую часть жизни в насильственно атеистической страны, были, конечно, внутренне растеряны. Предполагалось, что они, несмотря ни на что, исповедуют иудаизм и с детства соблюдают субботу. Приоравливаясь к новому мироощущению, они становились похожи на неловких детей, играющих во взрослых. Молодой черноглазый ребе, лет пятнадцать тому назад вывезенный из Риги, иногда с трудом скрывал свое презрение. Паства была смешанная и невежественная. Он привык к этому, но порою их невежественность оскорбляла его и, объясняя что-то, он опускал глаза, нетерпеливо теребил длинную бороду. Вот и сейчас вопрос о существовании Бога явно вывел его из себя. Спрашивал долговязый одессит средних лет, отличающийся тем, что каждый раз, проходя мимо витрины, он всматри-

вался в свое отражение, щурился, картинно откидывая голову, и проводил растопыренной ладонью по напomaженной, волосок к волоску уложенной прическе. Говорили, что несколько лет назад его голова заняла первое место на парикмахерском конкурсе Украинской ССР.

– Почему вы улыбаетесь? Переведите мне, о чем разговор?

– Я не улыбаюсь, Энрико. Мне, наоборот, очень грустно. Иногда всё это кажется мне какой-то книжкой или фильмом, вообще чем-то ненастоящим. Италия, синагога, дискуссия о Боге... Просто сон какой-то... Пойдемте в парк. Там сегодня опять какие-то развлечения.

Похрустывающий гравий дорожки. Деревья, достигающие до звезд. Господи, как огромна твоя земля, как хороша! Смотри, деревянная сцена, опять кто-то поет в микрофон, а прямо перед сценой, на песчаной площадке, пляшут две девочки лет четырех-пяти, толстые, неуклюжие, кудрявые. Как я люблю это! Смешно, но ведь уже все сказано, даже благодарность, которая могла бы быть моею, выражена. «О, Господи, как совершенны дела твои», – думал больной...

Мне было девятнадцать лет. Напротив продовольственного магазина с постоянно торчащей среди высоких сугробов кучкой сизолицых, с гранеными стаканами в дрожащих руках, хрипло бормочущих и постоянно сплевывающих в этот затоптанный белый снег людей останавливался автобус. Я опускалась на жесткое сиденье в его пробензиненной холодной полутьме, оттаивала в морозном ельнике на окне пятикопеечную дырочку и так, всю дорогу глядя на застывшие стеклянные деревья, доезжала до Переделкина. Уже темнело, когда скрипящей тропинкой я подходила к кладбищу. Утопающее в снегу, оно густо покрывало своими крестами и памятниками плавный просторный холм. Там, у пастернаковской могилы, росли три сосны. Черный

надгробный камень был начисто лишен какого бы то ни было покоя, ибо в центре его молил и вопрошал этот удлинённый знакомый профиль с выпуклым говорящим глазом. И тут же над ним, процарапанный словно бы иглою – кем процарапанный? – тонкий торопливый крест. Я стояла над этим лицом, этим крестом, этим белым покатым простором, и ничего другого не существовало для меня. Снег вечерел, неподвижная деревня внизу зажигала свои желтые бедные окна, электричка свистела за моей спиной мучительно, не переводя дыхания... И столько печали было в этой деревенской, вечерней, зимней тишине! А в небе, высоком, с тающим розовым рубцом на горизонте, медленно раскачивались важные, широкие сосны... Так я благодарила за «Доктора Живаго», книгу, впервые читаемую мною в те далекие дни, нет, скорее ночи, потому что факт ее запрещенности как бы и предполагал это ночное, скрытое ото всех чтение. Чем еще, кроме как своим приходом на эту зимнюю одинокую (сколько раз бывала, и никого – никогда!) могилу, могла я выразить свое молодое потрясение от нее?

Сейчас, через шестнадцать лет, я к ней вернулась, и в этом возвращении было что-то от встречи с давно не виденным другом детства. Разочарование и нежность. Холод внезапного восхищения и тут же странное неудовлетворение ее внутренней логикой, отсутствием живых лиц, нормальных человеческих разговоров... Нет, тогда, юной моей московской зимою, под деревенским, быстро темнеющим небом, над белой могилой, увенчанной – сперва процарапанным крестом, потом выше и шире! – тремя заснеженными соснами с пронизанными малиновым солнцем верхушками, тогда мне было проще...

До башни Флавия надо было идти берегом час, не больше. Ее темно-красные шершавые развалины были ярко окружены водой. Водоросли опутывали их, как

распущенные, не расчесанные после мытья пряди. Солнце растекалось по горизонту красной арбузной мякотью.

– Я хочу сказать вам два слова. Можно?

Они сидели на камне около воды. Вдвоем – совершенно случайно. Остальные рассматривали башню Флавия.

– Да, пожалуйста, скажите.

Она испуганно взглянула прямо в дымчатые очки. Карие глаза ответили как-то странно.

– Я буду говорить по-итальянски. Так мне легче. Хорошо?

– Вам легче. А мне?

Она пыталась улыбнуться, но улыбка не получалась, и сердце вдруг застучало где-то в горле. Стало страшно, но странно: страх этот был наполнен какой-то ликующей легкостью, как будто то, что она должна была услышать, отрывало ее от земли, с ее прозой, обязанностями и тревогами, и переносило в другое измерение, где не было ни прозы, ни обязанностей, а был только очень короткий, в полное дыхание расширившегося горла летний праздник, в котором напоследок участвовало и это море, и это небо, и эта рыбацья лодка с темнолицым стариком неподалеку, и этот малознакомый немолодой человек в дымчатых очках. Все имели равные права. Это было прощание. Он говорил по-итальянски. Она прощалась с Италией.

«Те ато», – сказал он низким дрогнувшим голосом и снял очки. Чужой, переливающийся, как легкий мед, язык, в котором она не понимала ни слова, нахлынул своими рокочущими, смазанными согласными, своими плавными, дрожащими, как рыбы плавники, слогами.

– Я не понимаю. Что вы говорите?

Она произнесла это машинально. Понимать было нечего. Все было понятно.

– Я сказал это потому, – произнес он по-английски, – что завтра мы расстаемся и вряд ли еще увидимся. Я имел право это сказать. Я сказал. Это правда.

Она вдруг почувствовала, что он говорит ей «ты».

– Я хотел, чтобы ты знала. Завтра ты улетишь, и я напьюсь, как старая собака. Ты никогда не видела меня пьяным? Теперь уже и не увидишь. Я сказал тебе правду. Те amo.

Он наклонился и поцеловал ее неподвижную руку на горячем белесом камне. Потом распрямил плечи и встал. Тонкие кривые струйки заката бежали по воде.

– Все прекрасно. Я счастлив сегодня.

Сын выскочил из воды с пригоршней серых ракушек.

Обратно шли медленно. Она с мужем впереди, он с друзьями поодаль. Воздух блестел над морем, как шелк. Италия была прекрасна. На ее языке объясняются в любви. И перевод не нужен. Она вдруг вспомнила, как у Левика смешно поднимались брови, когда он говорил:

– Италия ни с чем не сравнима. Там каждый обыванец знает, кто такой Алигьери.

Она обернулась:

– Я ни разу не спросила вас, Энрико: знаете ли вы, кто такой Алигьери?

Он засмеялся.

«Странно, странно все на этом свете, – думала она, – была Москва, зима, этот снег, заледеневшие желтые троллейбусы на улице Герцена... Мы слушали Моцарта в Малом зале Консерватории, а потом в антракте Левик вдруг заговорил о том, как Мандельштам понимал Данте. Почему вдруг? Я не помню. Он был удивительным собеседником. Он был собеседником в полном смысле слова. Говорить с ним можно было о чем угодно: от последней бытовой ерунды до самых высоких предметов. Он никогда не впадал в пошлость. Все, происходящее на свете: семьи, характеры, литература, политика, – было доступно ему, как знакомые, но не примелькав-

шиеся предметы, до которых он любовно дотрагивался своими большими внимательными руками. Он ощупывал, переставлял их в пространстве, с забытых стряхивал ладонью пыль, подносил к глазам и задумывался. Он был добр, и смерть его была мгновенна: пошел умываться и упал. Он не заметил свою смерть и поэтому не успел испугаться. Она пощадила его. Столь легкий конец достается немногим, говорят, его надо заслужить. Вот я опять даю себе волю, и окровавленная память подползает ко мне, как избитая собака. Я слышу, как она постанывает. Почему моя бабуля умирала так мучительно? До неузнаваемости изменившая ее жизнь все длилась и длилась, обратив дыхание в хрип, лицо в бесформенный желтый мешочек, скатывающийся то на одну, то на другую сторону подушки, в бескровном провале рта была одна бесконечно затянувшаяся, ни на секунду не отпускающая мука, но она все жила и жила, и каждый день, когда я приходила к ней в Первую Градскую, в эту огромную палату, где лежало сразу двадцать почечниц всех возрастов и как раз напротив моей умирающей бабушки поместили доставленную с приступом прямо с работы совсем молоденькую беременную женщину, очень хорошенькую, с растерянными глазами, и я видела, как она старалась не смотреть на этот ужас, происходящий через узкий кроватный проход, и притворялась спящей, и старательно разглядывала ледяные узоры на огромном старинном окне, а когда – раза четыре в день – ее навещал тоже очень молоденький муж в васьковом свитере под белым халатом, он всегда садился так, чтобы закрыть ее ото всех своим мальчишеским телом, бесконечными, приторно пахнущими рыночными букетами, листьями журналов, так вот, каждый день, когда я приходила в пахнущую хлоркой Первую Градскую, и толстые нянки в сваливающихся тапочках сочувственно кивали мне головами, в то время, как карманы их привычно засасывали мои маленькие однообразные подношения: трехрублевую

бумажку или плитку шоколада, она, моя бабуля, – сквозь эту дрящую муку – все с большим трудом узнавала меня и пыталась сказать что-то неповинующимися губами, а один раз, в предпоследний, кажется, день в ответ на мое расплакавшееся «я тебя так люблю!» вдруг отреагировала вполне отчетливо, со сдержанным прежним достоинством: «я знаю»; и всё это длилось, длилось, длилось: и озноб, и хрип, и боли, о которых она уже не могла сказать, пока, наконец, я не наклонилась к ней в последний раз, и она, всматриваясь в меня гаснущими глазами и еле шевеля языком, выдавила все-таки одним судорожным волевым усилием: «Как тебя зовут?»

– Сегодня мы еще поедим мороженого, да?

– Да, Энрико, только давайте никуда не поедem, завтра так рано вставать, автобус придет чуть ли не в восемь. Посидим просто у нас на балконе, хорошо?

– Как вы скажете.

Вечером они ели мороженое. Оно было всех цветов: от янтарно-желтого до темно-вишневого, почти черного.

– Энрико, где вы берете такое мороженое?

– У меня есть свои маленькие секреты. Давайте выпьем перед разлукой. За ваше счастье. Помните, как я учил вас чокаться? Чин-чин, чин-чин!

Вдруг он выскочил в коридор и вернулся с большим портфелем.

– Могу я сделать вам подарок? На память? На добрую память? Мы ведь друзья?

Достал что-то завернутое во множество мягких тряпочек, развернул:

– Это с этрусских раскопок. Видите, вот кувшин вроде амфоры, а это сосуд для вина. Правда, хорошо сохранился рисунок? Мои сокровища. Настоящие. Представляете, сколько им лет? Я хочу подарить их вам. Только не говорите «нет», вы обидите меня, вы мне делаете больно, понимаете?

Растерявшись, она сказала «да». И повторила, увидев его просиявшее лицо:

– Да, спасибо.

Муж замотал головой: «Ты с ума сошла! Разве можно принимать такие подарки!» – но тут его позвали к телефону.

Она опомнилась: «Но ведь это правда: разве можно принимать такие подарки?» Он сжал ее руки, и опять она поняла, что английское «you» звучит русским «ты»:

– А разве существует что-нибудь, чего бы я не сделал для тебя? Но не могу же я произнести: «Останься со мной», ведь у меня ни на что нет права, даже на эту просьбу. Не отвечай ничего. Но не отказывай мне в мелочи. Ты еще сидишь рядом. Сейчас только девять. Не отравляй моего счастья ненужной вежливостью.

Она взяла кувшинчик, похожий на амфору, и, несмотря на его возражения, сама завернула сосуд для вина, засунула его обратно в портфель. Часы показывали одиннадцать. Пушистая лукавая луна летела над балконом.

– Мне, наверное, пора. Вы устали. Я еще зайду попрощаться, хорошо? Завтра утром.

Она проводила его до двери. И вдруг заметила, как у него дрожат руки.

– Протяни ладонь, amore mia.

Удивленно она протянула раскрытую ладонь.

– Помнишь, ты спросила, верю ли я в Бога. Вот мой ответ.

Он положил на ее ладонь маленький золотой крестик.

– Только не говори ничего.

И закрыл ее руку напряженными горячими пальцами.

Белая машина рывком тронулась с места, исчезла за углом. Море хрипело в раскрытые окна, небо дрожало от звезд. Чемоданы опять были запакованы, ковер скатан в трубку. Завтра они улетали.

– Какой невыносимый день!

Я произнесла это вслух, смывая остатки мороженого с тарелки. И поймала себя на лжи. День был великолепен. Он совершился – как бы это сказать? – он совершился, как совершаются события. Он был подобен человеку, разом распахнувшему половинки большого окна, со звоном впрыгнувшему в комнату и оставшемуся в ней навсегда. Этому дню ничего не грозило. Ковер был скатан в трубку и связан большой белой веревкой. Все спали. Она села на краешек постели. Мальчик так загорел за эти два месяца. Ему уже одиннадцать лет. Мой маленький мальчик, мой сын...

– Мама, почему ты всегда плачешь, когда мы улетаем? У тебя аллергия на самолет?

Разве я плачу? Провожу рукой по глазам. Да, мокрые. На высоте я чувствую, как меня растягивает в пространстве. Растягивает – пространство. Мое плачущее, со стучащим в горле сердцем, с воспаленной от всех своих подробностей памятью беспомощное «я» растянуто этим обилием воздуха, светлыми слепыми облаками и тем чувством обреченной неподвижности, которое наступает только во время полета. Я чувствую себя чем-то вроде шагаловской героини, горизонтально повисшей над зелеными холмами и перепутавшимися окнами. Там, где стучит мое сердце, – настоящее, там, где горят мои подошвы, – прошлое, там, где катятся слезы и болит голова, – будущее. Или как-то иначе? Не знаю...

Прожженные солнцем, запыленные люди, успокоившиеся наконец по поводу своего багажа, устало дремали, откинувшись на самолетные кресла. Я провела с этими людьми больше двух месяцев, это последние часы вместе. Что нас связывало в прошлом? Ничего. А в будущем? Наверное, тоже немного. Но я запомнила их навсегда. Эти девять недель въелись в кожу.

Что ждет нас всех? Кто знает? Я не плачу больше. Я смотрю на их усталые, простые лица. Через шесть часов мы приземлимся в Нью-Йорке.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79
телекс 64 98 13 Pensrus

Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире

Информация о событиях в Советском Союзе, в странах коммунистического лагеря, в странах свободного и Третьего мира

Тексты авторов из СССР – самиздатские и написанные специально для газеты

Аналитические статьи по политике и экономике, литература, мемуары, статьи и заметки по литературе и искусству

Об условиях подписки справляться в редакции

ПОЭМА О ТРУДЕ

Заводы кирпичные – люди горемычные.

Фабричная песня

Пригород пригоршней скрюченной
в чайных сжимает стаканы.

Завтра по рельсам измученным
снова пойдут караваны.

Высыплет утром на привокзал
злых исполнителей куча.

Долго рычать, как на привязи,
будет трамвайная буча.

Но к девяти успокоится,
город совсем опустеет.

Что ж за стенами там коится?

Чьи это рожи чернеют?

Кто там лезет, худой и небритый,
озирает подворье безрадостно,

уцепившись в тележку с плитами
под углом в сорок восемь градусов?

Стой! И вспомни вместе с поэтом,
которому ты переехал ногу,

как ты дошел до жизни до этой,
как это все началось понемногу.

«Приходили в завод господ образованы,
соблазняли идти в разбойники.

Дескать, нам от истории так уготовано.

Ныне же все – покойники.

„Счастье там!“ – указали нам мудрые люди
и кивнули крутыми лбами,

и ушли в кабинет кушать скудные блюда.

Остальное вы знаете сами...»

Мануфактура фактом черным
выдавливала продукцию,
и только голый беспризорный
нахально нюхал настурцию.
Азбука техники. Езда без билета.
Бык отощал, таща колымагу.
Черную магию прожекторного света
уже заносят мудрейшие на бумагу.

Наша доля – власть советов
плюс лектрофикация.
Остальное под запретом,
ибо – провокация.

Так и входят горбатые, знатные,
озарив подворье блеском восьмиклинок.
Заводские, фабричные, полосатые, ватные.
Механизмы, залеченные поликлиникой.
Руки большие. Пятерня-ковш.
Рожу обнимет – не будет и видно.
Производитель! Хозяин и вождь!
Только некоронованный, что и обидно.

Между тем приходили под стены, под зубчаты
ходыки, экскурсанты, юродивые.
Востроглазые люди, служивые губчека,
им устроили тайные проводы.
Коли б ведал царь-батюшка,
не позволил погонщикам
разубожить и малых, и старых.
Говорят, что и сам он из простых поденщиков –
бывший слесарь, лихой пролетарий.

Ай, да красная чернь! Ай, да темный народ,
заключенный в цеха и конторы.
Как понять им в решетках фабричных ворот
диалектику залпа «Авроры»?

Еще плечи в рубахах и ноги в портках,
еще только дают по разгонной –
на гармонике в каждой костяшке тоска,
как в глазах побирушки вагонной.
Нефтяной самогонкой упился мотор.
Спецодежды и нужды – облезлые.
В нужниках – перекуры, и слезный фарфор
весь истерт каблуками железными.
Каждодневной дороги своей робинзоны.
Утро вечера ли мудренее и ярче?
По субботам меняют носки и кальсоны
и в пивных привокзальных торжественно плачут.

Бейся, песня, как рыба об лед:
стал мужик никудышным и жадным.
И трехрядка легла на живот,
растопырив меха, как жабры.

Безопасности техника нанесла увечье,
техника безопасности нанесла удар:
затянули вальцы тело человежье,
только голова катается, как шар.

1964

* *
*

Стены, голые стены.
Синие, синие вены.
Спины, гулкие спины.
Слышу: стучат машины.
Слышу, как ветер свищет
между желтыми пальцами нищих.

Никому не нужные груди,
словно детские побрякушки.
Натыкаются сонные люди
на большие жестяные кружки.
Дайте Красному Кресту и Полумесяцу!
Дайте, Христа ради, сколько можете...
Говорят, что сатана повесился:
с нами жить он был не расположен.
С нами только бледные светила
да забытый колокольный звон.
«Приморили, гады! Приморили...», –
по деревням глушат самогон.
Люди носят головы, как глобусы,
к месту жительства пожизненно прикованы.
У кондуктора маршрутного автобуса
пальцы на руке парализованы.
Стены окровавлены плакатами,
улица порезом распадается.
У кондуктора, монетою обкатаны,
пальцы на руке не разгибаются.
Вот он, путь, шлагбаумами мечен.
Он указан мудрыми отцами –
из построек выбегают дети
в мир глядеть служебными глазами.
Строят, душу обложив оброком.
Строят! Говорят, что коммунизм.
На скелет натаскивают скопом
вместо шкуры раззолоченную ризу.

1960

НОЧЬ

Поклонялась ночь Марксу–Энгельсу,
велелепная, как стихарь.
В колокольне сердца в чугунную рельсу
табанил глухой звонарь.

Поклонялась ночь, главной улицей
протолкнула ком слез.
Молод ты еще так сутулиться,
черноусый зис-водовоз.
Сорок с лишним святейших отпраздновав дат,
в срок меняя резину истертую,
ты какую в бочонке привез наугад
сорок ведер – живую иль мертвую?
А у нас нету вещей божественных гор,
а без немцев и не было б горя.
Приключился в России торжественный мор
от утопии Томаса Мора.

1964

СТОЛОВЫЕ

И проходя мимо диетической столовой, взалкал.
И подошед узрел, что заперта она на обед.
И поразился вельми. Как так подающая обеды
пожирает самое себя? Воистину беспредельна
глупость человеческая.

Мир собирался в столовых. И плакали белые
гуси-лебеди
голубых столов, и роняли перья ножей.
Там растревоженно глядели с подавалки повара,
шля огромные клубы пара изо рта,
чтобы видно было всем, как им жарко.
И пропал во дворе под бочкой дядя Ваня, вечный
помощник живым.

И другие сгнули во хмелю, стора я поденно
от неприятия в ларьках щербатых бутылок.
То, что вылезло оттуда, не являло собой фокус.
Оно, еще не возгуляв в рисованных журналах,

кликало на помощь, входя меж вальцев, намазанных
суриком,
что было опрометчиво и вызвало зряшный испуг.
Но это и было рассчитано на посетителя,
собственноручно не секшего котлеты и не знающего им
цены.

1964

ЯКОВ И КАРЛА

Экой старик! Видно добрую душу!
Будь же ты счастлив! Торгуй, наживай!
Н. Некрасов

Дядюшка Яков, знаком тебе Карла,
немец мудрёный, мурло в бороде?
Он-то с высот своего «Капитала»
добрую душу в тебе проглядел.

«У дядюшки Якова хватит про всякого...»
Экой ты, доброй души старикан.
Все отберут. И лошадку каракову.
Тут и дорога тебе – в Магадан.

Видно, что лаком кус им твой, Яков.
Станут товаром иным торговать:
мелки идейки, брошюрки, статейки.
Что им и душу, и рódную мать
«по грушу, по грушу» купить, сменять?

1964

ЛЕВЫЙ ФАРС

Кто там шагает правой?

В. Маяковский

Были матросики –
вышли в чины.
Нынче никак
не попомнят вины.
Были шахтеры –
копались в земле.
Нынче сидят
караулом в Кремле.
То-то в Кронштадте
били своих.
Кто-то «полундра-а!» кричал,
но затих.
Были товарищи –
стали враги.
Стало быть левые –
обе ноги.

1963

САБОТАЖ

Как-то утром не заметил –
славный праздник наступил.
Слышу: топот на панели
лакированных сапог.
Сам начальник перегнулся,
в люк настойчиво глядит,
три зарплаты обещает,
окулярами блеснит:
«Нам сегодня разрешили
саботировать в строю».

Крикнул снизу:
«Поднимаюсь
в деревянных башмаках».

1963

Редакция «Континента» просит автора этих стихов (или того, кто их нам переслал) отозваться.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Давид А в и д а н

ПОЕЗДКА ПО ГОРОДУ

Перевод с иврита Савелия Гринберга

1. Дорожный знак

Где высадить тебя?
Где высадить тебя?
после-того-как всадить тебе?

2. Очередь в поликлинике

Возраст никогда не готов признать: это – возраст.
И болезнь чаще всего не хочет признать: это возраст.
Возраст всегда рад признать: это – болезнь.
Болезнь готова иногда признать: это погода.
Так примерно действует система – взаимовыдачи
маскируя мафиеобразной прозрачнозримой техникой
большинство точнейших симптомов.

Возраст должен признать: это возраст.
Хвороба должна признать: это хвороба.
Погода должна признать: это погода.
И вот тогда – с этой точки – дано, быть может,
приступить
к модификациям: не возраст, но болезнь, не болезнь, но
показатели –
погоды, не погода, но
социология, экономика, поэзия, вся эта
излишняя деятельность имя которой – слова.

3. Король-Убю шекспировский в запоздалом появлении

Что такое почет? Воздух.
Почет это чистый воздух.
Ты вдыхаешь и задыхаешься.
Ты задыхаешься от избытка почета.
Теперь твой почет на месте своем.
В духоте в подходящей задушен почет.
Нет ему воздуха, и он не дышит.
Что такое почет, который не дышит?
Не-дышащий почет это не-почет.
Не-почет это азот.
Не-почет это чистый азот.
Я вдыхаю его всегда.

(Загляни при случае в «Генриха четвертого»,
И в четвертый раз ты поймешь всё.)

4. Три самоплагиата

Вернуться домой (в 05.00) и лечь спать

Человек возвращается утром и находит себя самого
ждущего утром себя самого хоть и нечего ему ждать
и нет никого кто бы ждал его во второй комнате в третьей
в четвертой в пятой в шестой в комнате седьмой
он ждет себя утром ждет вечером
нет у него предвидений непредвиденных заранее
он знает свое место и его место знает его самого
и оба они знают себя и их почет пребывает на своем
месте

*Не вернуться (домой в 05.00) но отправиться (спать)
в другое место*

Человек уступив себе утром находит для себя другое
место
Некому уступать Отсюда уступка самому себе И после
этого

он все-таки оставляет для себя еще небольшую уступку
и остается один с неотступно-излишней уступкой и не
уступает
своей законной жене своей падчерице своему псу
соседской кошке и поколению эстетических
наследников
а потому его нету отсутствует он за своим
рабочим столом
когда кто-то должен проверить удостоверить заняться
ответным письмом
и это ведь по существу все ученье вся метода
для народных масс для арабских народов для избранного
народа

Примечание (техническое)

Садись за стол и работай крепко
работай за столом часы напролет
Садись за стол и забудь, что вот стул
садись на стул и забудь про ноги
сменяя за замыслом замысел за рулоном рулон
катушку за катушкой к продуктивности устремлен
Это ведь чисто технический тест нечто моторное
Встань мелодия пройди Выйдь мелодия проворней

5. Диагноз (научно проверенный)

В определенном возрасте
склонность к защите территории превращается
в прямую функцию физического повзросления.
Иначе говоря: территория все больше и больше
воспринимается
как продолжение тела,
в прямой пропорции к отдаленности тела от момента
рождения.

Я надеюсь, что вышеупомянутое явление
диагностировано – из глубин
отроческой интуиции
а не из рассудочной зрелости какой-бы-то-ни-было.

6. Черновик для доктората

Женщины верят в свою способность вред причинять
мужикам
больше чем в другую возможность что им самим
причинят вред.
У мужчин это наоборот.
Здесь, вероятно, кроется источник хвалимого женского
оптимизма.
А также источник их стратегической глупости вместе с
тем.

7. Зарегистрированный патент

Сtereo-ребенок:
любит папу,
любит маму

8. Самопрограммирование

Покамест я знаю что я делаю
я продолжаю делать то что я знаю
и продолжаю знать что я делаю

9. Самолабораторный самоанализ

То что мешало мне прежде уже не мешает мне теперь
То что мешало мне прежде уже не мешает мне теперь
То что мешало мне прежде уже не мешает мне теперь

то что мешало уже не мешает
не теперь

все мои помехи механические все мои починки
хирургические
все мои выздоровленья словарно-лексические

10. Задет

Кто задет
Нечто задето
Задета жизненная сила
Сила задета бытия
Задета силовая сила
Задета сила чтобы задевать

Нет смысла быть задетым подобными вещами
Предпочтительней уметь задевать в процессе
задевания

11. Пункт по каталогу

Здоровое сумасшествие это не только
наилучший сырьевой материал для искусства
но сырьевой материал единственно легитимный
Я анти-терапевт –
исцеляющий людей от их здравонормальности.
Каждого нормального по роду его в раковину
выбрасывайте,
каждую нормальную – приканчивайте.
То есть: сначала употребите – а потом истребите.

12. Еще деталь по каталогу

Я Уолт Дисней царства сатаны
Я Ингмар Бергман по-настоящему страшных трагедий

Я Рокфеллер неучитываемых векселей
Я шериф хороший шериф плохой и дуревольверный
стрелок об одном теле
Я стреляю в этот мир целиком и оставляю за собой
весь этот расчудесный мир где я мог бы хоть раз пожить

13. Закон природы

Укус это продолжение лая
иными средствами

14. Геолокальное обозрение

Состояние обороны Израиля
напоминает более всего сидение в незапертом клозете
когда рукой прижимают дверь изнутри

15. Черновик на уничтожение ситуации

Что ж может быть вправду настало время помереть
Как это делают
чтобы минимум боли и максимум славы
В наихудшем случае боль
В наилучшем случае слава

16. Уж если так

Если уж на то пошло, то стоит обратить внимание на
детали.

Поза – найденная для лежания
это иногда вещь самая важная в жизни
а также и в смерти.
Лежание в могиле само по себе это

еще не самая непреодолимая трудность.
Более существенен вопрос – в каком положении.
С подушкой под правой рукой,
с раздвинутыми ногами,
на расстояние прыжка или по диагонали,
как на двуспальной кровати размером с небольшой
театральный зал,
когда богиня любви почесывает вам спину
и выдавливая прыщи
там в подземном вакууме.
На кровати размером три на три некрометра
ты лежишь с открытыми глазами и взвешиваешь все
свои возможности
в будущих перевоплощениях – и скажем аминь.

17. Глушение шума

Еще тише чем эта тишина – невозможно
Нету более тихого чем тихое более шумного чем
шумное
Нету подобных вещей даже в Соединенных Штатах
В Манхэттене затыкают окна за неимением выбора
Зима хочет проникнуть внутрь и вот вынуждены
перегородить ей путь
Нету других возможностей существующие
возможности использованы
Двуязычная ИБМ – отвергнутая наложница
А теперь ты менее критичен более стремителен
больше в-ялости-кипящий более вспенённый
больше пены на губах меньше слов
больше звукоподобия меньше тишины
Тише чем эта тишина – это невозможно
Нету менее шумного чем шумное более тихого чем
тихое
Нету подобных вещей даже в Соединенных Штатах
Соединенные Штаты страна слишком шумная

по мнению тихих людей проживающих в Европе
в Европе общеевропейского рынка и германофобии
спотыкающейся Франции и закатывающейся Британии
и Уганды
зализывающей раны длинным черным языком

18. Не дают в этой стране создать кинематограф

День. Улица. Крупный план.

Эта страна не дает мне возможности создать
кинематограф.

Она запретила один мой кинофильм
Она закрывает для меня все другие пути

Монтажный разрыв:

Эта страна примитивная
поедающая только то что она выташнивает
Приходят и говорят мне пиши стихи говори думай
только не п о к а з ы в а й нам то что ты думаешь или
то что ты говоришь
ибо пред тобой не увидят тебя
да и к тебе не придут

Монтажная перебивка:
Вечер. Интерьер. Крупный план.

Это не поможет ей.
У меня в наличии точный список
всех кто не дает мне делать кинофильмы в этой стране
Когда моя видеосинематографическая гильотина
придет в движение
я разорву их одного за другим
перфорация за перфорацией
Мэнсон будет просто собачка-пудель рядом со мной

Гитлер будет миролюбом
Иван Грозный просто некий Иван Иванович

НАПЛЫВ

19. Конец поездки

Я еду себе в машине по Тель-Авиву
и что происходит перед красным светом светофора
ф а н т а с т и ч н о
человек в соседней машине опознаёт меня

он узнаёт меня
по единственному моему выступлению
по телевидению единственному в этом государстве
в единственном городе
где можно более или менее куда-то поехать
в этой стране

человек узнал меня и помахал мне рукой

АВИДАН Давид – современный израильский поэт наиболее новаторского направления. Его первые книги изданы в 1950-е годы. В последующие годы вышло в свет более пятнадцати отдельных изданий его стихотворений. Последний по времени издания сборник – «Книга возможностей» (1985). В настоящее время Д. Авидан готовит к изданию новые книги.

Стихи Д. Авидана переведены на английский, французский, испанский, итальянский, шведский, польский и другие языки. Первые переводы на русский язык – сборник «Криптограммы с борта развед-спутника» (Тель-Авив, 1976. Переводчик – Савелий Гринберг). Другие сферы деятельности Давида Авидана: кино (несколько киносценариев и кино постановок), публицистика (статьи в израильской периодике).

У ПЕКАРЕЙ

Перевел с иврита Валерий Кукуй

1

То было лето не лето: блеклое, влажное... Я начал тогда работать в отцовской пекарне. В то лето отец потел сильнее обычного, и даже когда выходил из-под душа, от него все еще веяло кислым запахом дрожжей и теста. На исходе зимы праздновали мою Бар-Мицву*, и отец объявил, что отныне я сам ответствен за свои поступки. Мне и в голову не пришло усомниться, что отец сказал это вполне серьезно. Позже, весной, родилась Хемда, и по всей округе зашептались, что шестипалый младенец – это предвестие беды. Соседки заходили к маме со лживыми, пустыми и прозрачными, как вода, улыбками, разглядывали Хемду так, будто она родилась от чёрта, и неслышно бормотали заклинания. Хемда орала, не утихая ни на миг, днем и ночью. Длинные рукава как бы невзначай скрывали ее пальцы, но это ухищрение было понятно всем. В пекарне я работал по утрам, а остальное время избегал посторонних глаз. С соседскими ребятами в то лето я почти не играл. При всяком удобном случае выставлял напоказ свои собственные пальцы, желая этим доказать, что я-то в порядке, что пальцев у меня – как у всех.

Хемдины пальцы непрерывно беспокоили маму и бабушку. Каждую ночь я притворялся, что сплю, и наблюдал, как бабушка тихо ступает в кухню. Там она брала загодя припрятанный заплесневелый кусок хлеба,

* Бар-Мицва (иврит) – тринадцатилетие у мальчиков, по еврейской традиции – совершеннолетие.

крошила его в стакан с водой, а затем протягивала над этим стаканом пальцы и что-то шептала – не на идише и не на иврите, а на каком-то другом, странном языке. Потом гасила свет и укладывалась на своей узкой кровати. В темноте глаза ее блестели, как у кошки. Я еще долго чувствовал, что она не спит и обдумывает дальнейшую борьбу.

Только отцу все это было безразлично. Он вставал посреди ночи и шел в пекарню, домой возвращался уже к обеду, обычно усталый, голодный и пропотевший. Поев, он сразу ложился спать, а вечером к нему приходили братья Пинчо и Гольдман, два этих идиота, как бабушка величала их в глаза и за глаза. При их появлении она начинала громко ворчать и вопрошала маму, чем это мы согрешили, что эти двое ходят смердить именно к нам. Мама утверждала, что от них несет, как от трупов, и, по ее мнению, загадочно, почему оба братца уже давно не окочурились от какого-нибудь мора или холеры. Все это мама произносила вполголоса, чтобы все слышали и как бы не слышали, но похоже, что ни тот, ни другой не обращали внимания ни на маму, ни на бабушку, ни на пальцы Хемды. Им было дело только до отца и ни до кого больше – и все из-за ужасов, которые они пережили в России.

В пекарне отца Пинчо и Гольдман работали уже годы и были как безропотные рабы. Отец никогда не позволял им забыть, что это именно он спас их из когтей смерти. Сидя за нашим большим обеденным столом, он любил повторять историю, как два этих брата, запуганные, измученные голодом, умирали медленной смертью в русских снегах. Я давно уже знал все до мельчайших подробностей, заранее знал, в каком месте отец повысит голос, а где – понизит, как будет представлять Пинчо и Гольдмана скулящими от голода и страданий и как эти двое будут глупо улыбаться, слушая знакомую историю. Когда они приехали в страну, отец устроил их в заброшенной хибаре в соседнем квартале, населенном

кавказцами. Отца вовсе не заботило ни убогое состояние хибары, ни враждебность кавказцев к двум чужакам, затесавшимся в их среду. Еще в России Пинчо и Гольдман выучились у отца пекарскому искусству: готовить тесто, сдабривать и замешивать, плести батоны, разжигать печь и поддерживать в ней огонь, своевременно извлекать из печи хлеб, как только он подрумянился и заблестел. Общий заработок братьев отец выдавал им еженедельно в желтом конверте – за вычетом стоимости питания, которое Пинчо и Гольдман брали в долг в лавке Лазаруса. Остаток получки братья топили в водке, которую привыкли пить еще в России. По строгому требованию отца, водку в долг Лазарус им не давал.

Только в конце недели отец позволял братьям напиваться всерьез. В пятницу, по окончании работы, оба спешили к Лазарусу и покупали бутылки с прозрачным, как вода, содержимым. К ужину братья были уже пьяны как надо, глаза заволакивала мутная пелена. Кстати, у бабушки с мамой для этих предсубботних вечеров имелись особые ругательства. По субботам братья валялись пьяными в своей хибаре, кричали, ругались и пели похабные русские песни. В будни отец пить им не давал, разве что по паре рюмок, вечером, после ужина. Оба принимали это покорно, им было довольно одногоединственного случая, когда они преступили приказ отца.

Однажды отец пришел в пекарню как обычно, в четыре утра. Он нашел ее запертой, темной, холодной и – никаких следов Пинчо и Гольдмана. Отец не мешкая – а мог ли он иначе? – вошел, поспешно замесил тесто и поставил его подниматься, разжег две печи и побежал в кавказский квартал. Оба братца валялись пьяными на своих койках и смердили, как падаль. Весь день отец работал в одиночку, а перед обедом снова пошел в кавказский квартал и запер хибару. Затем огромными гвоздями он заколотил двери и ставни, не обращая ни ма-

лейшего внимания на умоляющие крики Пинчо и Гольдмана. Целую неделю волновались кавказцы, глядя на заколоченную хибару, дивясь наказанию и в душе одобряя отца. С великим любопытством все слушали крики и хриплые вопли, которые понемногу стихли, перешли в шорохи, а потом, как прозрачное покрывало, хибару окутала тишина.

Всю ту неделю отец работал один, с полуночи до самого вечера. Мама с бабушкой делали свои дела в яростном молчании, и в те считанные часы, когда отец спал, старались блюсти тишину. Дня через три пришли соседи и заговорили с отцом по душам, чтобы освободил Пинчо и Гольдмана, но отец и слушать не хотел. С середины недели он начал приготовления к выпечке хал* и работал денно и ночно, как чернорабочий. В пятницу к утру все халы были готовы, светились и поблескивали лаком яичного белка, которым были смазаны. При помощи пожилого кавказца Мухáила отец развез халы на рынок и по магазинам. В тот день я видел, как он, крупный, заросший, напоминающий большого зверя, ходит по улицам, понукая, охлестывая двух лошадей, тянущих подводу с хлебом. Домой он вернулся к обеду, долго умывался, а затем лег на кровать и не вставал до исхода субботы. И только тогда, сытно поев, не оставив ни крошки, он пошел и отомкнул хибару Пинчо и Гольдмана.

Эта история пересказывалась со всеми подробностями при всяком подходящем случае, даже слог повествования никогда не менялся, и я мог бы все воспроизвести слово в слово. Слушая, Пинчо и Гольдман согласнo кивали и поддакивали, особенно – когда отец представлял события, происходившие внутри заколоченной хибары: как кончился хлеб, как обуяли узников страшные муки голода, памятные им еще по России; как, словно какие-нибудь скоты, справляли нужду в кастрюлю и

* Халá – сдобная белая булка, выпекаемая к субботе (иврит).

чуть не задохнулись от вони собственных испражнений. Все это братья подтверждали согласными возгласами и кивками, а бабушка из своего угла бросала на них враждебные взгляды.

Они презирала этих двоих всей душой и воздерживалась от поступков только лишь из-за отца. Но и к отцу она не благоволила. Накормить его она всегда старалась как можно вкуснее, но я – и, наверное, я один – знал, что у нее на душе. Она вновь и вновь повторяла маме, что порок Хемды можно устранить при помощи простой операции, а в глубине души – я-то знал! – страшилась ожидающей нас Божьей кары и всю вину возлагала на отца и его родню. Одна из сестер отца тоже родилась с шестью пальцами на каждой руке, и это якобы привело к беде – гибели двух членов семьи. Новорожденная сама скончалась короткое время спустя, и ее скоропостижная смерть как раз вселяла в меня надежду и мечту: вот бы и моя сестрица умерла! Это сняло бы с нас угрозу и позволило мне снова стать как все люди.

2

Как-то в начале лета, за ужином, взгляд отца неожиданно задержался на мне. Пинчо и Гольдман, ужинавшие, как всегда, вместе с нами, усердно грызли куриные кости. Слыша их чавканье, бабушка каменела лицом, и лишь на ее висках бились синие жилки. Мама кормила Хемду кашей из стеклянной бутылочки. Отец, дожевав очередной кусок мяса, объявил, что такой большой парень, как я, должен уже сам зарабатывать себе на хлеб. Услышав это, бабушка еще больше помрачнела, и змейки жил на ее висках нервно задержались. Отец сказал это как бы просто так, однако никто из нас не усомнился в его намерениях. Не часто он удостоивал меня вниманием, и я ни разу не задумывался, что когда-нибудь и мне придется работать в пекарне. Я

молча ковырялся в своей тарелке, и тем временем у меня мелькнула несуразная мысль, что, наверное, причиной всему этому Хемдины пальцы.

В этот миг мама, сидевшая рядом, разогнулась, бутылка выпала из ее рук и разлетелась на мелкие осколки, которые смешались на полу с белой жидкой кашей. Из-за этого шума и рева Хемды Пинчо и Гольдман подняли головы. При свете большой люстры я заметил, что бабушкины глаза сверкают, как клинки. Не обращая внимания на орущую Хемду, мама принялась доказывать, что отец неправ. Пинчо и Гольдман, между тем, равнодушно продолжили свое занятие, на их тарелках уже громоздилось костяное крошево. Бабушка встала, со злостью забрала их тарелки и пошла на кухню. Глаза ее так горели, что грозили спалить дотла весь мир. Пинчо и Гольдман глупо улыбались и с наслаждением курили короткие сплюснутые сигареты, от которых по всей комнате расплывался смрадный дым, смешиваясь с маминой взволнованностью.

Бабушка вернулась в комнату и взяла у мамы Хемду. Отец сообщил, что завтра будет грузовик с мукой и Пинчо с Гольдманом должны будут его разгрузить. Те скромно усмехнулись. Грузовик доставлял муку раз в неделю, и привычной обязанностью Пинчо и Гольдмана было выгрузить все мешки и уложить их на складе. Разгрузка продолжалась долгих два часа, вгоняла в пот и была ненавистна братьям. Отец мог, конечно, нанять грузчиков, но никогда не нанимал. Ведь всем было известно, что он вправе заставлять Пинчо и Гольдмана работать по-каторжному. Их долг перед отцом был слишком велик, чтобы позволить им болтаться без пользы, пьянствуя да онанируя. Последнее я самолично созерцал в мучном складе.

По окончании ужина отец налил Пинчо и Гольдману их ежедневную порцию. Они воодушевленно, одним залпом проглотили. Их кухни доносился грохот посуды. То был явный признак бабушкиного гнева.

Пинчо и Гольдман стремительно опрокинули по второй рюмке. Их взгляды жадно впились в бутылку, но норма была постоянной и не подлежала изменению, тем более, что в два часа братьям приступить к работе в пекарне. Отец был в этом неукоснительно строг. В четыре утра он приходил и проверял, все ли сделано, как положено. К его приходу печи должны были жарко гореть, тесто – уже подняться, быть нарезанным и разложенным на посыпанных мукой деревянных досках. И Боже упаси, если отец находил какую-нибудь неполадку: он вправе был наказать Пинчо и Гольдмана, как ему заблагорассудится.

Когда я начал работать в пекарне, Хемде было около четырех месяцев. Она была пухленькая, от нее нестерпимо воняло мочой, и орала она не переставая. Мама с бабушкой начали посещать педиатров и хирургов, и что ни день за ужином мама требовала у отца денег для уплаты этим врачам. Деньги – толстые, пропитавшиеся потом пачки, стянутые резиновым жгутом, – всегда лежали у отца в нагрудном кармане рубахи. Отец доставал одну пачку, взвешивал на ладони и бросал на стол несколько бумажек, потертых от частого обращения на рынке и в городских магазинах. При виде денег глаза Пинчо и Гольдмана оживлялись и, вдруг навострившись, провожали пачку – пока отец не опускал ее во все тот же большой, оттопыренный карман, очень тщательно застегивая на нем пуговицу. Заработок братьев был ничтожным. Однако что такое деньги и зарплата? – непрестанно вразумлял их отец. Все это, мол, чепуха по сравнению со сладкой жизнью, которую он им даровал.

К середине лета мама с бабушкой убедились, что лишние пальцы Хемды можно-таки удалить, несмотря на ее младенческий возраст. Обсуждалось это по ночам, когда отец спал, и можно было разговаривать не остерегаясь. Операция была назначена на начало сентября, когда я снова пойду в школу, а Хемде будет уже полгода и она будет в силах перенести эту операцию. В ночных

беседах бабушка продолжала утверждать, что операция заодно снимет висящую над нами угрозу. В эти ночные часы бабушка давала себе волю и нещадно поносила весь отцовский род. Как средство от несчастья, по стенам кухни были развешаны связки чеснока, а еще, хорошо припрятанные, я то и дело находил их то там, то сям по всему дому. По ночам бабушка по-прежнему нашептывала над заплесневевшим куском хлеба, а когда разговаривала с мамой, то ясно слышалась вся ее злость и тревога.

3

Обычно я работал в пекарне по пять часов в день, с семи до полудня, а по четвергам – еще с шести вечера до полуночи. Бабушка будила меня за полчаса до начала работы, и первое, что я слышал, – вопли Хемды. Я быстро одевался, проглатывал чашку какао и выходил на улицу. В бабушкиных глазах не угасали искры гнева – она никак не желала смириться с ненавистным ей решением отца, – но когда я стоял уже на пороге, собираясь выйти, мгновенно происходила перемена, глаза ее любовно сияли. Закрывшаяся дверь заглушала рев Хемды, однако он запечатлевался в моей памяти и неотступно преследовал все утро – вместе с мыслью о том, что я сам ответственен за свои поступки, и с передавшимся мне бабушкиным беспокойством, что, не дай Бог, со мной случится какая-нибудь беда. Поэтому я переходил улицу только в предназначенных для пешеходов местах. В конце улицы, возле лавки Лазаруса, сокращая путь, я сворачивал во двор, пролезал через пролом в заборе и сразу вдыхал тяжелый запах мазута, наполнявший задний двор пекарни. Вокруг большого бака, вкопанного в землю, все было черным и промасленным. Из бака выходили трубы, тоже черные, покрытые наслоениями затвердевшего мазута, и, пересекаясь, поднимались

по стене, к печам. Иногда во дворе стоял Пинчо и качал мазут ручным насосом. Вначале, когда до меня еще не дошла сущность Пинчо и его брата, я норовил, проходя мимо, скорчить рожу или сделать пальцами какой-нибудь грубый жест. Потом-то я уже не осмеливался на такое. Как бы там ни было, Пинчо ни разу не ответил на мои выходки, и подчас я даже задавался вопросом, уж не прозрачный ли я, как вода или как их водка. В переднем дворе в лицо мне сразу ударял теплый запах хлеба, но, не успев еще вдохнуть его всей грудью, я уже входил в пекарню, прямо против печной топки, в это время раскрытой, готовой принять квадратные хлебные формы.

В мучном складе я всегда вспугивал несколько мышей, плевал им вслед – средство от всяких бед, – переодевался в рабочую одежду, которой мне служили старые штаны и рубаха, покрытые ссохшимися ошметками теста, как у заправского пекаря. Я немного задерживался на складе, осматривая ловушки, в которых обычно уже сидело несколько испуганных, с блестящими глазками мышей, и горько покачивал головой, наперед зная их судьбу по окончании рабочего дня, когда Пинчо и Гольдман вытряхнут весь этот злосчастный улов и с радостным ржанием умертвят. То было ежедневным развлечением Пинчо и Гольдмана, и я порой наблюдал это зрелище. На заднем дворе они топили мышей в ведре с водой или же дробили им головы железным прутком, который особо держали в складе, а затем сжигали убитых мышей в пустой бочке. Но иной раз они доставляли себе наслаждение, бросая в огонь живых мышей. Пинчо осторожно приоткрывал клетку, вытаскивал мышь за хвост, несколько раз прокручивал в воздухе и под пискливое хихиканье Гольдмана запускал ее в бочку с пылающим мазутом. Двор наполнялся запахом паленого мяса, а оба братца, очень довольные, отправлялись в лавку Лазаруса за вонючими обрезками сыра, которыми пользовались как приманкой. Вещи такого рода происходили каждый день. Мыши были неистре-

бимы, неизменно поддавались соблазну и все вновь и вновь заходили в ржавые клетки. Бабушка утверждала, что это тоже не предвещает нам добра. Отец же считал, что это неизбежное несчастье всех пекарен на свете, и то же самое говорил санитарный инспектор, который время от времени приходил и записывал в свой блокнот замечания. Изредка случалось, что какая-нибудь мышь забиралась в месильную машину и увязала в тесте. В таком случае она или то, что от нее оставалось, пеклась внутри хлебных булок, а за этим следовали вызовы в суд, штрафы, крики и предупреждения. Одной из обязанностей Пинчо и Гольдмана было следить во все глаза, чтобы ни одна мышь не проникла в месильную машину, но — тщетно. За каждый такой случай отец их наказывал. Пинчо и Гольдман никогда не оправдывались, и все же мне поначалу казалось, что отец строг с ними сверх меры. Но потом я начал догадываться об истине. Мне довелось увидеть и услышать многое, и я с изумлением обнаружил, до чего двуличны Пинчо и Гольдман. Я сам видел, как большую мышь затащило в месильную машину на глазах у обоих братьев, но ни тот, ни другой не пошевелил пальцем. Барабан вращался, месильные лопасти растерзали и выбросили мышь в тестяной омут. Отец в это время в другом конце пекарни доставал из печи хлеб и не слышал веселого хихиканья Гольдмана. Я растерянно наблюдал. В глазах обоих братьев я заметил злые огоньки и тут же вспомнил про пальцы Хемды, ее вопли и обо всех бабушкиным страхам.

С того дня я стал следить за Пинчо и Гольдманом. Украдкой наблюдал за ними в пекарне и дома, чтобы застичь при вредительстве и еще раз уловить злой блеск в их глазах. Мне очень хотелось оправдать подозрения, начавшие закрадываться в мою душу.

Наконец было решено, что Хемда пройдет операцию в частной больнице, и хирург требовал приличные деньги. С каждым днем мама с бабушкой переговаривались на эту тему все более осторожно, тайком, словно собирались перехитрить злые силы. Однажды ночью они договорились, что не станут требовать у отца всю сумму, а будут просить только долю, да и ту – по частям. Остальное они решили взять из своих сбережений. Годами они копили, и деньги были припрятаны в старой маминой сумке, в глубине платяного шкафа. И вот каждую неделю мама сладким голосом просила у отца какие-нибудь деньги. Отец отлущивал от пачки несколько бумажек и бросал их на стол, а мамина рука проворно их брала и – ускользала. Бабушкины глаза по-прежнему горели, как огненные факелы, а Пинчо и Гольдман провожали деньги жадным взглядом. Притворяясь, что всецело занят едой, я украдкой изучал лица обоих братьев и различал, что их скрывает маска.

Сперва я не был уверен. Иногда неясным намеком возникало что-то подозрительное, оно прорывалось наружу и – тут же пряталось под выражением покорности и тупости. В такие мгновения Пинчо и Гольдман казались мне охотниками, которые приготовили отцу ловушку, засели и терпеливо поджидают свою жертву. Я воображал отца большой, сильной мышью, борющейся с ними. Все происходило как будто в насмешку надо мной, а подозрения на Пинчо и Гольдмана были как бесформенный ком, теснящий меня изнутри. Глядел я на них – и ощущал свое полное бессилие.

Однажды отец в очередной раз рассказывал о злоключениях Пинчо и Гольдмана, утонувших в российских снегах. Было это, как всегда, после ужина. Мама пеленала Хемду на высокой кровати, бабушка в кухне мыла посуду. Отец сидел за столом и с видимым удовольствием подробно повторял известную историю. В страш-

ную вьюгу он наткнулся на обоих братьев, подыхающих от голода и стужи, в двух шагах от жилья, притащил на собственных плечах, спрятал в пекарне, кормил и поил, лечил их, ослабевших, куда не поставил на ноги. Лицо отца пылало от воодушевления, и было件нятно, что он, всякий раз заново, переживает тот случай. Пинчо и Гольдман строили плаксивые рожи, когда рассказ шел об их несчастной доле, и радостно блеяли, когда отец посвистом и прищелкивая языком подражал завываниям вьюги, смешно передразнивал всхлипывания этих двух немощных и крики комиссара, ответственного за пекарню, который требовал убить их прямо на месте. Особенно братьев сместило, когда отец представлял в лицах, как неблагодарно они себя вели и подло пытались от него сбежать и как жестоко он их наказал где-то там, среди ледяных просторов, и то был урок, который им запомнился на всю жизнь, уверял отец, а мне в смехе Пинчо и Гольдмана ясно слышались желчь и злоба. Мама, склонившись, возилась с вонючими пеленками Хемды, бабушка в кухне ожесточенно терла посуду, а мне в это время думалось, что не случайно нынешнее лето такое жаркое, влажное, душное. По ночам я вслушивался, как медленно оседает в стакане хлеб, и бульканье воды, как кипятик, обжигало мне уши. Рев Хемды наполнял весь дом и был совсем не похож на обычный младенческий плач. Бабушка с мамой не переставая шептались по ночам, и я так и засыпал под их шепот. День операции приближался, и они все больше волновались. Больница потребовала загодя две порции крови, и отец, не раздумывая, приказал Пинчо и Гольдману сдать кровь.

Назавтра, когда я проходил задним двором пекарни, Пинчо уставился на меня, и его пронзительный взгляд я чувствовал, пока не скрылся за углом. Мне почудилось, будто меня плотно и липко опутывает паучья сеть. При входе в пекарню, как всегда, в лицо мне ударило теплым запахом пекущегося хлеба. Из кладовой, где хранились формы для теста, ко мне была

обращена невинная физиономия Гольдмана. Отец стоял в прямке у печи и извлекал из нее хлеб. Он пел по-русски. В песне смешивались снежные вьюги и бескрайние поля, скованные льдом.

5

За лето я хорошо усвоил пекарское ремесло: доставать тесто из месильной машины так, чтобы оно не выскользнуло из рук, резать, быстро и точно разделять его на будущие буханки, плести халы – даже самые большие, самые праздничные, в шесть тестяных жгутов. Все это я выучил как бы между прочим: голова моя была занята совсем другим.

О Пинчо и Гольдмане я знал уже многое. Наблюдал, как, разгружая с машины муку, они, вопреки строгому запрету отца, сбрасывают мешки с высокого кузова. Ударяясь о землю, мешки распарывались, и мука высыпалась, скапливаясь белыми кучами. Грузовик всегда приходил в полуденные часы, отец в это время был дома, и Пинчо с Гольдманом могли безобразничать вполне безнаказанно. После разгрузки они быстро подметали двор и хорошенько присыпали землей оставшиеся белые пятна. На лицах братьев было написано злорадство и ликование.

Но это было только немногим из того, что они выделывали. Я скоро обнаружил, что воду, в которой топили мышей, они затем выплескивали в перемешиваемое тесто. Ведро с водой они оставляли на складе еще с полудня, чтобы ночью совершить свое подлое дело. Я каждый день тайком опорожнял ведро и наполнял чистой водой из-под крана. Спустя немного я понял, что Пинчо и Гольдман догадались об этом. Когда мы встречались взглядами, я замечал хитрый блеск в их глазах. Братья сообразили, что я не в силах открыть все это отцу.

Почти каждый вечер они продавали буханки хлеба, которые заранее припрятавали на складе, а деньги — присваивали. Кроме того, я разведal, что они ходят в кафе кавказца Илии, там пьют и на людях поносят отца. По ночам, когда оставались в пекарне одни, они мочились в месильную машину, заправленную тестом, — и это нарочно, чтобы санитарный инспектор лишил отца прав на пекарню. Утром я, как собака, принюхивался к свежему хлебу, только что из печи, но Пинчо и Гольдману хватало лукавства тщательно маскировать свои проделки. Хлеб всегда был горячий, румяный, ароматный, а единственный запах мочи, который достигал моего обоняния, исходил от Хемды. Короче, мне было уже совершенно ясно, что Пинчо и Гольдман в мучительном нетерпении ждут, когда, наконец, разразится беда, которую нам предрешило рождение Хемды, а сами исподволь готовят ее.

Близился конец лета. Ребята на нашей улице по-прежнему играли и галдели с утра до вечера. Я почти не выходил к ним. Их веселье казалось мне беспричинным и глупым. Работал я рассеянно, зато продолжал неустанно следить за Пинчо и Гольдманом. Часами я бродил возле их хибары в кавказском квартале и выискивал, сам не зная что.

6

Шли дни, операция Хемды приближалась, и ничего необычного не происходило. Бабушка и мама все больше волновались. Чем бы ни занимались, они все делали с особой осмотрительностью, разговаривали между собой приглушенно, а с Хемдой обращались так, будто она из глины и может рассыпаться от неосторожного прикосновения. Отец уходил в пекарню и возвращался как обычно. И все же мне было ясно, что нечто должно случиться — еще до операции. Укрывшись в муч-

ном складе, я во все глаза следил за проделками Пинчо и Гольдмана, а когда они уходили, крался за ними до самой хибары, подглядывал в щели, пытаюсь подслушать, о чем говорят. Скоро начнется учебный год, и мне предстоит вернуться в школьную скуку. Дни все еще были солнечные, но легкая дымка уже заволакивала их летнюю прозрачность. Я вспоминал, что скоро дни станут заметно короче, из школы я буду возвращаться, когда уже вечереет, и будет наваливаться тоска, расслабляющая руки и душу.

Все стряслось в один из этих последних дней лета. Пинчо с Гольдманом украли у отца пачку денег. Случилось это в четверг, в полдень, по окончании работы. Сняв рабочую одежду и надевая свою обычную рубаху, отец обнаружил, что карман пуст. Братья в это время держали в руках большое сито и часто трясли его, просеивая муку. Белое облако окутывало их со всех сторон. Через просвет между мешками я наблюдал, как отец медленно надевает рубаху. То Пинчо, то Гольдман бросали на него быстрые взгляды и продолжали просеивать муку, которая и без того была уже вся просеяна. Острый подбородок Пинчо, казалось, торчит еще больше, чем всегда, а на шее Гольдмана судорожно прыгал кадык. Оба были худые и костлявые – будто их годами морили голодом. Потом я увидел, что отец, уже надев рубаху, стоит неподвижно, а руки Пинчо и Гольдмана задвигались еще лихорадочнее. Отец действовал медлительно, тяжеловесно, как бы раздумывая над происшедшим. Он подошел к братьям, постоял немного, наблюдая за их работой. Был слышан только шорох муки в сите. Я знал по опыту, что, когда в пекарне устанавливается тишина, мыши выходят из своих нор, и ждал, что они вот-вот появятся. Вдруг отец заговорил на идише, мрачно:

– Давай обратно деньги, Гольдман.

Гольдман быстро взглянул на брата. Оба продолжали молча трясти сито. Отец повысил голос:

– Деньги, Гольдман!

Отец говорил всерьез, в этом невозможно было ошибиться.

Гольдман выпустил из рук сито и быстрой, странной, какой-то подпрыгивающей походкой направился в угол склада и вернулся с газетным свертком. Глаза Гольдмана были злые. Столь поспешная его сдача показалась мне подозрительной. Я ощущал, как опасность плотною массой заполняет пространство между тяжелыми мешками муки. Отец схватил сверток, разорвал газету, бросил ее на землю и принялся торопливо считать деньги. Мне почудилось, что мешки с мукой сдвинулись и подступили вплотную к отцу. Возле моей головы сидел и наблюдал за происходящим мышонок с красными глазками.

Склад вдруг стал похож на поле боя. Мышей появлялось все больше. Они скользили в просветах между мешками. Отец закончил считать, достал из кармана резиновый жгут и перевязал пачку. Двое мышей взволнованно нюхали воздух, сидя на верхнем мешке. Чувствовалась какая-то легкая заминка, и я с нетерпением ждал, как теперь поступит отец.

Вдруг Пинчо бросился и — железным прут, тем самым, которым убивал мышей, — ударил отца по голове. Тут же и Гольдман, будто этот наскок был заранее продуман, швырнул отцу в лицо ведро. Послышался звонкий удар. Отец покачнулся, оперся обеими руками на мешки с мукой и, казалось, вот-вот рухнет. Пачка денег упала на землю. Гольдман подскочил, нагнулся поднять, но отец, успевший опомниться, твердо взглянул на него. Гольдман споткнулся — и отец стремительно ударил его в лицо. Послышался хруст, и сразу же струйки крови брызнули из носа и рта Гольдмана. Он попытался вновь наскочить на отца, но движения его были уже неуверенные. Отец схватил ведро и обрушил Гольдману на голову. Удар разнесся эхом по всему складу. Гольдман повалился на землю. Он лежал плашмя на спине, а в это время Пинчо, с железным прут в руке,

подходил к отцу. Однако, заметив, что брат не двигается, он замешкался. Отец отбросил ведро, протянул навстречу Пинчо обе руки и мягко сказал, на идише:

– Ступай сюда, Пинчо, ступай. Я убью тебя.

Лицо отца горело. Пинчо застыл на месте, с железным прутом в руке. Отец проговорил:

– Брось это, Пинчо, брось, или я тебя убью прямо здесь.

Пинчо выпустил из рук прут. Еще раз, искоса, взглянул на брата. Отец произнес, почти шепотом:

– Подонки вы оба, вместе с братом. Два подонка. И я вас проучу... Ну-ка, подними деньги, Пинчо.

Пинчо тяжело нагнулся, поднял пачку, стянутую толстым резиновым жгутом, и протянул отцу.

– А теперь подними своего братца, – приказал отец.

Пинчо стал тормозить Гольдмана. Тот лежал с широко раскрытыми глазами, но не двигался. Отец крикнул:

– Вставай, падло, пока я тебя не прибил!

Гольдман поднялся на четвереньки, затем медленно встал на ноги. Лицо его было залито кровью. Из своего укрытия я видел теперь только спину отца да несколько мышей, взволнованно вззирающих на происходящее.

Пинчо и Гольдман покорно стояли перед отцом. Битва закончилась его полной победой. Я представил в душе, сколько таких сражений было между ними раньше. Мучное сито валялось под ногами, и отец пинком отбросил его подальше. Было заметно, что Пинчо и Гольдман все больше приходят в себя. Отец приказал:

– Неси-ка кнут, Пинчо.

Лицо Гольдмана было кровавым месивом. Пинчо колебался и не двигался. Отец прикрикнул на него. Пинчо пошел к двери. Во дворе стояла хлебная подвода. Кнут, кожаный, многохвостый, которым охлестывали лошадей, висел возле сидения кучера. Когда Пинчо

вышел, отец негромко, уже с мнимой угрозой в голосе, сказал:

– Я покажу тебе, Гольдман... Я тебе покажу, как красть.

Глаза у Гольдмана были странные. Отец продолжал:

– Ты вор, да еще заставляешь своего брата воровать. Сейчас я вас обоих проучу.

Пинчо вернулся с кнутом. На лице Гольдмана были только глаза, каких я не видел никогда и ни у кого. Отец сказал:

– Скинь рубаху, Гольдман.

Гольдман снял рубаху. Его тело было белое и худое, гладкое, безволосое. Отец приказал:

– Встань к мешкам, Гольдман.

Тот поплелся к мешкам с мукой, высящимися, как стена. Отец сказал:

– А теперь – всыпь ему, Пинчо. Вот кнут.

Пинчо взял кнут, сжал его в руке и не двигался. Отец повысил голос:

– Всыпь ему, я тебе сказал!

Лицо Пинчо странно побледнело, и я подумал, что он сейчас бросится на отца. Но он сдавленно, почти со стоном проговорил:

– Господин Йосел, я не могу бить своего брата.

Отца я видел только со спины. Гольдман стоял, уткнувшись лбом в один из мешков. В просветах между мешками возбужденно прыгали мыши. Отец оттолкнул Пинчо и выхватил у него кнут. Затем приказал, чтобы и Пинчо снял рубаху.

Кнут просвистел в воздухе и – вычертил на спине Гольдмана красную полосу. Потом я слушал, как он свистит и хлещет по телу еще и еще... Первым взвыл Пинчо, сразу за ним – Гольдман. По их спинам струилась кровь. Склад наполнился их визгом вперемешку с возгласами отца, гудением и посвистами кнута, рассекаю-

щего воздух. Отец тяжело дышал и выкрикивал вдруг охрипшим голосом:

— Вот так делают с жуликами, Гольдман! Вот так! Вот так!..

Он перестал хлестать, лишь когда Пинчо повалился на землю. Гольдман еще держался на ногах, пошатываясь, и отец приказал ему вылить ведро воды на брата. Теперь я видел пылающее лицо отца. Он бросил кнут и пошел к двери. На пороге остановился и сказал:

— Нынче четверг, Гольдман. Нужно ставить тесто для хал.

Когда отец вышел из пекарни, выскользнул и я и побежал домой. Там я рассмотрел вблизи большой синяк, расцветший у отца на лбу. Отец взял на кухне нож и придавил им синяк. На мамины расспросы не отвечал. Бабушка долго глядела на отца, и в ее глазах бушевало пламя. Наконец она позвала маму:

— Пойдем, Маня. Малютка плачет.

7

Отец проспал до вечера, а встав, ушел в пекарню. Когда я сам пришел туда, то застал Пинчо и Гольдмана раскладывающими тесто по формам. Оба двигались с трудом. Временами Пинчо стонал. Я работал с ними, плел и смазывал халы тягучей яичной болтушкой, присыпал маком. В полночь ушел домой. Перед уходом я глянул на отца. Он стоял спиной ко мне, закладывал сладкие халы в глубину печи. Огнем горелок утроба печи была раскалена докрасна. Пинчо подавал отцу черные формы, смазанные маслом, которые исчезали в печи одна за другой.

Домой я шел пустыми, темными улицами. В моих ушах все еще стоял шум горелок, извергающих в печь красное пламя. Я пытался размышлять о разном, но мысли разбегались. Дома мама и бабушка дожидались

меня. Они пристально вглядывались мне в глаза, и я прятался от этих взглядов. Когда я лег спать, они зашли в кухню и прикрыли за собой дверь. Под гул их голосов я уснул, но продолжал его слышать, а потом пришли Пинчо с Гольдманом и поволокли меня с собой. Ставни в хибаре были закрыты, и в полумраке Пинчо и Гольдман казались теньями. Они смеялись, рыдали и проклинали отца. Потом они пошли плясать вместе с Хемдой, безудержно смеялись и жгли мышей. В хибаре стояла страшная вонь испражнений. Гольдман занес надо мною кнут, который засвистал в воздухе, и я в этот миг поклялся, что не пророню ни звука, не покорюсь до последнего вздоха. Удары обжигали мне спину, рассекали тело до костей, я прокусил язык и губы, но крики вырывались из моей глотки сами собой.

Проснулся я от бабушкиного прикосновения. Ее ладонь была жесткой и холодной. Обе они – бабушка и мама – стояли подле кровати и глядели на меня испуганно. Спина болела от ударов кнута. Я сделал вид, что очнулся на миг повернуться на другой бок и снова заснуть, но на самом деле был совершенно бодр. Все тело пронизывали озноб и боль.

Утром я проснулся поздно. По пятницам я не работал в пекарне и мог спать, сколько душе угодно. Бабушка разговаривала со мной очень нежно и старалась отвлечь от воспоминаний о ночных кошмарах. Незаметно подошел полдень. Вернулся из пекарни отец и принес свежие халы. Синяк на его лбу вспух и был похож на яйцо. Я подумал, что нынче можно есть халы со спокойной душой, что сегодня в них нет ни мочи, нидохлых мышей. Потом вспомнил, что лето прошло и на будущей неделе мне снова в школу, а еще через несколько дней – у Хемды операция, и соседей, наконец, перестанет мучить особый к нам интерес.

Так прошли каникулы. В школе я твердил на память гнетущие пророчества о разрушении, объяснял да истолковывал мрачные псалмы, множил числа, долгие, как века изгнания... Ребят в классе занимали какие-то ничтожные дела, и я, как чужак, взирал на них со стороны. Хемде сделали операцию. Когда сняли бинты, свету явились на каждой ее руке по пять розовых пальцев да крохотные шрамы, и даже угрюмые взгляды отца не смогли приглушить приступа радости у бабушки с мамой.

Потом пришла зима, стало холодно, пасмурно. Дожди шли не переставая и чуть не затопили город. В один из этих промозглых дней исчезли Пинчо и Гольдман – как сквозь землю провалились. Отец был очень тих и объяснял всем и каждому, что два этих негодяя убрались в другой город. Бабушка и мама возносили за это хвалу Владыке Небесному, и только я догадывался об истине.

За ужином отец сидел теперь, как осиротевший, невидный и неслышный рядом с бабушкой, мамой и Хемдой. Его кулаки со вздутыми мышцами, лежащие на столе, напоминали две тяжелые железные гири. Разглядывая их, я понял то, чего никто другой не мог даже вообразить: беда, наконец, свершилась, и эти кулаки вышибли душу из Пинчо и Гольдмана.

Теперь в пекарне работали двое плосколицых молодых кавказцев, которые горделиво вздымали мешки с мукой и пересекали склад большими шагами. Хлебные формы летали в их руках, как игрушечные. Вскоре эти парни полностью вытравили мышей и побелили склад, дабы не осталось ни следа от этого греха. По ночам бабушка больше не колдовала над стаканом с водой, Хемда прекратила орать как одержимая, а во всей нашей округе, не переставая, дивились на чудесную победу бабушкиного и маминого упорства. Я же, чтобы

изгнать из души сомнения, пробрался однажды в пекарню и, словно ищейка, вынюхивал, не осталось ли каких-либо следов от Пинчо и Гольдмана – на складе, в мойке, под мешками с мукой...

Именно в тот день я понял, что никогда не стану пекарем.

БЕН-МОРДЕХАЙ Ицхак – род. в 1946 г. в Тель-Авиве; признанный израильский прозаик, автор трех сборников рассказов: «О месте и времени», «Охотиться на игуан», «Дела семейные». Большинство рассказов этого автора характеризуется ярким сюжетом и посвящено столкновению слабой, лишенной защитного панцыря личности, подчас ребенка или подростка, с суровым, безжалостным миром реальности. Публикуемый рассказ напечатан в последней из вышеупомянутых книг.

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Димитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Димитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механик и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Димитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Димитрия Панина отражалось и в его внешнем облике.

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Димитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Димитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

Россия и действительность

Валерий Соффер

БОЛЬНАЯ ПРИРОДА РОССИИ

Когда в середине XV века англичанин Энтони Дженкинсон, а веком позже немец Адам Олеарий совершили путешествия в Россию, они были потрясены ее богатствами. Крупнейшие реки, изобилующие рыбой, богатейшие леса, плодороднейшие почвы поражали каждого, кто отваживался отправиться на край света, а рассказы о щедрости природы русских земель обгоняли самую буйную фантазию.

С упрочением Государства Российского эти слухи материализовались в реальные факты: лучшие меха, лучшая строительная древесина, лучшая пшеница текли из России на Запад, подкрепляя уверенность в том, что неистощимы природные богатства суровых, но прекрасных земель. До недавнего времени сложившийся стереотип неизменно подкреплялся на деле.

Но так ли все по-прежнему хорошо с природными богатствами России? Что сегодня творится с лесами, почвами, озерами и реками этой страны? Разберемся по порядку со складывающейся в СССР ситуацией.

СССР занимает первое место в мире по количеству водных ресурсов. На его территории протекает 3 млн. рек общей длиной почти 10 млн. км. В СССР насчитывается свыше 2,8 млн. озер (общая их площадь 490 тыс. кв. км) и имеется два внутренних моря – Каспийское и Аральское. 14 озер СССР относятся в величайшим озерам мира (Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Иссык-Куль и др.) Не удивительно, что запасы воды в СССР казались неисчерпаемыми и никто не задумывался над тем, надолго ли хватит их.

Темпы промышленного развития СССР были и остаются высокими. И в Европейской части, и за Уральским хребтом – в Сибири – строилось все больше фабрик и заводов. Все они нуждались в воде, почему и получалось, что около каждой

реки или озера лепились корпуса предприятий, засасывавших чистую воду и возвращавших обратно грязную.

Точные статистические данные о степени загрязнения рек и речушек, так же, как озер и прудов, в СССР не сообщаются, хотя возмущенные (или встревоженные) письма по поводу отдельных конкретных случаев, особенно сейчас – в пору гласности – стали появляться в печати. Собирая по крупицам такую информацию, можно получить представление о том, что творится с водными ресурсами в целом по стране.

Особое внимание в последний год было обращено на озеро Байкал. Самое большое пресное озеро мира, расположенное в центре Сибири, заключало в себе 23 тыс. кубических метров самой чистой воды. Оно могло бы столетиями снабжать все население планеты питьевой водой, так как в нем находится пятая часть пресной воды Земли и 85% запасов пресной воды СССР. В уникальном море-озере обитало более 1200 видов рыб, по берегам произрастали едва ли не самые красивые леса мира.

Байкал расположен вдали от промышленных центров, и можно было спокойно сохранять его как ценнейшее достояние страны. Но в годы правления Хрущева озеро начали убивать. На берегу построили целлюлозно-бумажный комбинат, который стал одновременно пожирать лес с береговой зоны и загрязнять чистейшую воду Байкала. Затем вдоль рек, питающих Байкал, построили еще 140 заводов, и со всех сторон в озеро потекли не чистые горные реки (около 500 рек и речушек), а подчас зловонная жижа.

Озабоченность загрязнением Байкала проявляли многие специалисты в стране. ЦК КПСС в 1969, 1971, 1977 годах принял грозные постановления, в которых перечислялись меры по предотвращению загрязнений. Но все эти постановления остались на бумаге. Всегда находились в эти годы облеченные высокими званиями партийные специалисты, твердившие, что страхи неосновательны. Главным успокоителем выступал тот самый член Академии наук СССР Н. М. Жаворонков, который все это время неизменно принимал участие в травле академика Андрея Сахарова.

За два десятилетия озеру был нанесен огромный вред. Тяжелые загрязняющие примеси накапливались на его дне. Причем вблизи целлюлозно-бумажного комбината загрязненная зона на дне только за два последних года расширилась

с 12 до 20 квадратных километров, а еще худшее положение сложилось в районе впадения многих рек, особенно реки Селенга.

Если такое творилось в сибирской глубинке, далекой от главных промышленных центров России, то можно себе представить, как плохи дела в Европейской части СССР.

Самое большое пресное озеро здесь – Ладожское (площадь 17700 кв. км). От него зависит водоснабжение крупнейшего (после Москвы) города – Ленинграда с его более чем пятью миллионами жителей и множества других городов и поселков. Уже в начале 30-х годов появились сигналы о загрязнении Ладожского озера, особенно после строительства в городе Приозерске целлюлозно-бумажного комбината, а затем и других вредных предприятий. Тем не менее, до начала 70-х годов озеро все-таки справлялось с загрязнениями: биологическое самоочищение было достаточным, чтобы качество воды оставалось в пределах санитарных норм. Однако сегодня только предприятия Министерства лесной и бумажной промышленности сбрасывают в озеро в 128 раз больше загрязнений, чем попадает в озеро Байкал.

Еще один источник загрязнений – сельское хозяйство. Из-за внесения все возрастающего количества удобрений за последнюю четверть века втрое возросло попадание в воды Ладожского озера фосфора. Огромный вред наносят стоки из ставших теперь популярными животноводческих комплексов для массового откорма свиней и телят, а также отходы птицефабрики. Только один из тех супер-больших животноводческих комплексов, которые построены на берегу Ладожского озера, несет сейчас в него столько же отравляющих веществ, как индустриальный город с населением в 2 миллиона человек.

Все перечисленное послужило причиной того, что в водопроводной воде, забираемой из озера для снабжения жителей Приозерска, «предельно допустимые концентрации по тринадцати химическим соединениям оказались превышенными в 2 – 250 раз», – как определили ученые Москвы, изучавшие положение с Ладожским озером. «Ряд соединений, обнаруженных в питьевой воде, – сообщили они, – обладают канцерогенным действием. Вода из водопровода представляет опасность для здоровья населения... Если не остановить процесс загрязнения, то Ладожское озеро станет не только мертвым, но и ядовитым», – заключили они в ноябре 1986 года. Неудивитель-

но, что заболеваемость только болезнями желудочно-кишечного тракта у жителей Приозерска в два раза выше, чем у остальных жителей Ленинградской области.

Аналогичное положение и такая же участь ждет сейчас расположенное неподалеку Онежское озеро (четвертое по величине в СССР).

Не назовешь иным словом, как катастрофическое, состояние вод в искусственных водохранилищах, образованных при строительстве гидроэлектростанций. Только на Волге – крупнейшей реке Европы – их площадь составила более 16 тыс. кв. км. Во всех допустимый уровень загрязняющих веществ превышен многократно. В марте этого года корреспондент «Комсомольской правды» привел рассказ старого рыбака, три десятилетия работавшего в рыбсовхозе на втором по величине искусственном водохранилище – Рыбинском: «А сегодня я вытащил леща... У него, бедного, кровь течет и из жабер, и из под чешуи, и из глаз, словно слезинки алые... Тут и я оплошал – заплакал...». «Наверное, не ловить больше старику лещей да окуней в Рыбинском водохранилище. Рыболовецкий совхоз сворачивает здесь производство», – заключала газета. И так поступают в большинстве мест и на других водохранилищах.

Уже много лет ученые бьют тревогу по поводу загрязнения Волги, особенно ее средней и нижней части. Сверх допустимых пределов загрязнен Днепр (в прошлом году только в районе города Запорожья в реку было сброшено более 3,5 тысяч тонн вредных веществ). В Днестре на участке от Тирасполя до Одессы дно покрыто полуметровым слоем фекальных осадков, а питающие Днестр реки Реут, Бык, Икель и Ботна превращены в сточные каналы.

«С колодцами стало твориться что-то неладное. Вытащишь ведро, а вода – то ли соленая, то ли бензином или еще какой химией отдает – ни умыться, ни напиться», – писала «Правда» в апреле 1987 года.

Но загрязнение вод – это одна сторона проблемы. Другая – возрастание расходов воды на орошение и обмелывание из-за этого водоемов. Засушливый климат в большинстве земледельческих зон России заставляет искусственно орошать поля. Особенно мощно развиты системы ирригации в Средней Азии, в Поволжье, на юге Украины. Чтобы получить как можно больше хлопка, все поля в Средней Азии поливают, а год от

года расход воды на эти цели возрастает. Результат этой политики сейчас стал очевидным.

В конце июня того же года на первой странице газеты «Известия» был опубликован сделанный из космоса снимок второго по величине внутреннего моря СССР – Аральского. Из космоса видно, как мелело море и как все дальше и дальше сжималась акватория, словно шагреновая кожа, исчезающая на глазах. Пустыня съедает море, и «лишь ржавые рыболовецкие суда среди песков напоминают о рыбном изобилии в прошлом», – писала газета. Через четверть века одно из крупнейших внутренних морей планеты должно исчезнуть, что повлечет за собой огромные экологические изменения в масштабах планеты. Повинна в его гибели хозяйственная деятельность человека. Две могучие реки Средней Азии – Аму-Дарья и Сыр-Дарья, которые еще 30 лет назад несли в море по 60 кубических километров воды в год, сейчас доносят лишь четыре куб. км, остальное используется на орошение. Сыр-Дарья теперь вообще не доходит до Аральского моря, отдавая всю свою воду полям. Хотя на картах по-прежнему синяя нитка реки соединена с голубыми очертаниями моря, вместо реки здесь осталось лишь высохшее русло, а море отступило на 100 км, оставив зыбучие пески.

Нависла угроза над пятым по величине озером страны – Иссык-Куль. «Из 60 рек и речек, впадавших в Иссык-Куль, теперь впадает одна», – с тревогой и горечью отмечает писатель Чингиз Айтматов.

Самой же печальной реальностью можно считать то, что до 40 процентов воды, забираемой из Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи на орошение, теряется – из-за плохого состояния оросительных каналов, из-за халатности и нераспорядительности. Дело дошло до того, что во многих местах в пустыне появились болота, на которых ничего не вырастишь, но которые, тем не менее, усердно заливают водой, берущейся из рек на орошение. Если бы не эта вопиющая бесхозяйственность, то можно было бы вдвое сократить забор воды из Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и не иссушать Аральское море.

Происходит это из-за того, что в советской стране нет хозяина земель, вод, лесов. Цена на землю и воду отсутствует, расход воды конкретными людьми не измеряется – и им нет нужды заботиться о каком-то Аральском море, которого они в жизни не видели и о котором сердце не болит.

Есть, наконец, третий мощный фактор, обуславливающий потерю воды в масштабах государства, — нерациональное потребление питьевой воды, поступающей в городские дома и квартиры по водопроводам. В СССР установлена чисто символическая плата за питьевую водопроводную воду — четыре копейки за тонну. Цена эта одинакова и в приполярном Якутске, и в знойном Ташкенте. Но и это — полбеда. Ни в одной квартире в стране не установлены водомеры, поэтому плату берут не за то, сколько воды использовали люди, а за то, сколько людей живет в квартире. Обезличка ведет к тому, что никому не выгодно следить, чтобы не текли краны, унитазы, чтобы люди рационально обращались с водой. Хорошие краны в стране вообще не производятся, импортная техника стоит бешеные деньги, и ее, к тому же, не достать. При обследовании 80 тысяч квартир в одном лишь Ташкенте в каждой третьей квартире была обнаружена утечка воды, из-за чего, вместо предполагаемой нормы расхода воды в 270 литров в день на человека, в городе расходуют 481 литр на человека, а в целом за день Ташкент потребляет летом два с лишним миллиона тонн водопроводной воды, тратя на это семьсот тысяч киловатт электроэнергии, и половина всех затрат не несет человеку никакой пользы. По всей стране эти потери колоссальны.

Как такое стало возможным? Почему столь быстро накопилось в СССР экологическая катастрофа?

В годы правления Сталина советская пропаганда на все лады перепевала лозунг «Мы не можем ждать милостей от природы — взять их у нее наша задача». Психология неисчерпаемости природных богатств овладела умами. Биология, которая могла бы дать трезвую оценку просчетам в области охраны природы, была узурпирована Трофимом Лысенко, а он, кстати, называл конгломерат своих антинаучных взглядов именем И. В. Мичурина, то есть именем именно того человека, который сказал «крылатые» слова о необходимости отобрания «милостей от природы».

Но уже в 60-х годах, когда еще можно было остановить экспансию индустрии, сельского хозяйства и головоуπαства и спасти большинство обезображенных сейчас рек и озер, нарастание критических событий было осознано. С 1965 по 1985 годы было принято около 30 постановлений ЦК КПСС и Совета Министров по вопросам охраны природы. Но тем и

отличалась эра Брежнева, что сверху спускалось много верных приказов, но в низах никто и не собирался их исполнять, зная, что за перевыполнение планов лихими начальниками, живущими лишь сиюминутными интересами, их будут ждать награды и почести. Вот почему получилось, что из 196 партийно-правительственных заданий по охране природы предприятия и министерства отчитались только по 47 заданиям (причем и эти отчеты далеко не всегда отражали истину). О том, что это было за выполнение заданий, говорит такой факт. 5 июня 1987 года – во Всемирный день охраны природы – заместитель председателя Комиссии Президиума Совета Министров СССР по охране окружающей среды П. Полетаев сообщил, что «почти третья часть действующих очистных сооружений не обеспечивает очистку сточных вод до нормативных показателей». Следовательно, даже там, где очистные сооружения считаются введенными в строй, загрязнение природы продолжается.

За эту вакханалию и растекание грязи платит не только живая природа. Кровью плачет не только несчастная рыбешка, выловленная из Рыбинского водохранилища. Платят и сами люди – возрастанием болезней, порчей наследственности, рождением все большего числа уродов. До недавнего времени данные об этом тщательно скрывались в Советском Союзе. Но вот недавно новый министр здравоохранения СССР Евгений Чазов признал, что важнейшей причиной возрастания заболеваний является то, что «в 104 городах страны концентрация загрязняющих веществ в десять и более раз превышает установленные гигиенические нормативы, четвертая часть (!) водопроводов, дающих питьевую воду, и треть ведомственных подает воду без достаточной очистки». Комментарии к таким словам, даже если они приукрашивают действительность, излишни.

РУССКИЙ ЧЕРНОЗЕМ

В Париже, в Международном бюро мер и весов, хранится вырезанный из поля под Воронежом кубический метр чернозема. Он используется как эталон для оценки качества плодородия почв планеты.

Слава русских черноземов прочно укрепилась среди земледельцев мира. Это одна из самых плодородных почв – в ней содержится от 4 до 12 (крайне редко до 13) процентов гумуса (перегнойной части почвы, определяющей ее питательность для растений). По принятой почвоведцами классификации, к тучным черноземам относят почвы с содержанием гумуса в 9 и более процентов, а при наличии менее 6 процентов гумуса чернозем называют малогумусным. Из 240 миллионов гектаров черноземов в мире (они есть в Европе, Азии, Северной и Южной Америке) на долю СССР до недавнего времени приходилось 168,4 млн. га, причем русские черноземы были уникальны именно тем, что они повсеместно содержали рекордно высокое количество гумуса. Практически все черноземы в СССР распаханы, и с них получают 80% всей пшеницы, сахарной свеклы и подсолнечника.

Чтобы получить представление о том, что творится в СССР с почвами – этими кормильцами людей, – нам придется привести еще несколько цифр, без них не обойтись. По площади сельскохозяйственных угодий СССР – крупнейшая в мире держава (606 миллионов га), в США, к примеру, 580 миллионов га. На долю пашни в СССР приходится 227 млн. га. Важно также проследить за тем, как росла площадь пашни: в царской России в 1913 году было 118 млн. га, в 1940 году (перед войной) в СССР – 150,6 млн. га, затем в годы правления Хрущева было освоено почти 40 млн. га целинных и залежных земель, что привело к росту пахотных земель к 1965 году до 209,1 млн. га, потом ценою больших трудов за следующие два десятилетия удалось отвоевать для пашни еще 8 и 10 млн. га, доведя площадь пашни к 1985 году до 227 млн. га. Но это – уже крайний предел. Больше на территории СССР доступных для земледелия почв взять неоткуда. Теперь остается только одно – умело хозяйствовать, чтобы не потерять пашню, не засолить ее, не занять под постройки и дороги и т. д. и т. п.

Но умело хозяйствовать означает и то, чтобы не истощить почвы, то есть не забирать из почв с урожаем больше питательных веществ, чем можно внести с удобрениями, в том числе органическими (навозом, компостами). Если забирать больше, то почвы, даже самые богатые, неминуемо оскудеют.

Казалось бы, в условиях, когда вся земля в стране принадлежит государству, когда в личном пользовании имеется только 3% пашни, а все остальное отдано колхозам и совхо-

зам, проблем с рациональным отношением к земле быть не может. Однако эта розовая иллюзия на деле ничем не подкрепляется.

Ничейная земля есть ничейная. Ни руководители хозяйств, ни, тем более, рядовые колхозники не имеют личной заинтересованности, они озабочены лишь только тем, как бы рассчитаться осенью с государством, чтобы получить хоть какие-то деньги. Поэтому за все годы после коллективизации из земли выжимали все, что удавалось выжать. А поскольку цена на землю в СССР отсутствует (земля государственная, и продавать ее никому, по советским законам, не дозволено), то чем дальше, тем быстрее скудели некогда тучные земли.

На сегодня потенциальное плодородие почв в СССР, согласно советским же официальным и сильно приукрашивающими действительность данным, вдвое ниже, чем почв США. Повсеместно наблюдается оскудение земель. Как писали в «Правде» члены Академии наук СССР А. Аганбегян (главный советник Горбачева по экономическим вопросам), А. Яншин (вице-президент АН СССР), Г. Голицын, Т. Эннеев и член Академии сельхознаук В. Тихонов, в целом по стране «постоянно... снижается естественное плодородие почв. Особенно упала продуктивность черноземных почв – национального богатства страны». Двумя годами раньше в той же «Правде» А. Яншин и В. Ковда сообщили, что «...за последние 30-40 лет (т. е. за годы, прошедшие после коллективизации. – В. С.) черноземы Русской равнины потеряли треть своего гумуса, их плодородный слой уменьшился на 10-15 сантиметров». А хорошо известно, что питательного вещества в верхнем 15-20-сантиметровом слое черноземов достаточно, чтобы при рациональном уходе получать устойчивые урожаи в течение 300-400 лет!

В результате сложилась удручающая картина. Чтобы не быть голословным, я просто процитирую слова ведущего советского сельскохозяйственного обозревателя Анатолия Иващенко, описавшего состояние черноземов именно в тех местах, откуда был взят эталонный образец, хранящийся в Париже: «Так вот, почв, имеющих 10-13 процентов гумуса, уже не осталось совсем. В большинстве районов этот показатель упал до 7-4 процентов. Резко возросли площади, где почва имеет только 2-4 и 0,5-2 процента гумуса».

Но почва со столь низким содержанием гумуса – уже не чернозем. И то, что таких почв стало повсеместно много, означает потерю, чаще всего безвозвратную, некогда плодороднейших районов. При том, что население СССР с момента коллективизации возросло на 120 миллионов человек, что само по себе привело к падению «надела» пашни на одного человека с 1,34 га в 1934 году до 0,82 га в 1987 году, такое исчезновение плодородных земель означает подрыв не столько сегодняшнего сельского хозяйства страны, сколько завтрашнего. Это же является одной из многих причин низких урожаев в СССР, необходимости закупок зерна за границей, нехватки продуктов питания и корма для животных.

Почему черноземы исчезают? Я уже говорил о необходимости соблюдения баланса выноса питательных веществ из почвы с урожаем и восполнения утраченного с помощью удобрений, прежде всего органических. Но поголовье скота в стране также резко упало (а значит, не стало нужного количества навоза). К тому же, промышленность химических удобрений развита недостаточно, и в районах, где без внесения удобрений немыслимо получать устойчивые урожаи (например, в нечерноземной зоне Европейской части СССР), в почвы возвращают лишь примерно половину тех веществ, которые изымают с урожаем. Положение осложняется еще и тем, что одни минеральные удобрения, без органики, неспособны вернуть силу земле. Если же почва истощена, потеряла много гумуса, то удобрения в ней перестают задерживаться и первыми же дождями легко вымываются, а почва быстро подвергается эрозии.

Проблема эрозии почв – водной и воздушной – остро стоит во всем мире. Сейчас каждую минуту на планете 11 гектаров сельскохозяйственных угодий превращается в пустыню. Эта же проблема эрозии почв остра и в СССР. Как сказано в Большой Советской Энциклопедии, «в СССР по данным государственного учета земель (1975 год) в защите от водной эрозии нуждается около 200 миллионов гектаров... ветровая эрозия угрожает более 100 миллионам гектаров земель». В 1921, 1938, 1948 и 1967 годах партия и правительство принимали специальные постановления о мерах по борьбе с эрозией почв, но до сегодняшнего дня ситуация тревожна.

Эрозия, конечно, угрожает почвам во всем мире. Пыльные бури, часто случавшиеся в прошлом в прериях Канады и

США, до сих пор вспоминаются как катастрофы всемирного значения. Но парадокс заключается в том, что наиболее продуманный комплекс мер по защите почв от эрозии был разработан советским ученым Николаем Тулайковым еще в 20-е годы этого столетия. Однако в 1937 году молодой сотрудник Лысенко Всеволод Столетов обвинил Тулайкова во вредительстве. Тулайкова расстреляли как «врага народа», а Столетов сделал головокружительную карьеру – был замминистром культуры, министром высшего образования, президентом Академии педнаук. Отказ от идей Тулайкова, равно как и от американского опыта, привел к плачевным результатам. С эрозией не боролись, на Украине массивы полей избороздили овраги, а когда по приказу Хрущева за два года распахали целину Казахстана и Алтая, страшные пыльные бури оголили сразу миллион гектаров. В 1969 и 1970 годах на огромных территориях Ставропольского края было снесено ветром до 10 см верхнего слоя черноземов. Выпали эти богатства на территории Европы – вплоть до Франции. В 1984 году пыльная буря в Ставрополье повторилась.

Брежневу и его преемнику Черненко виделся выход из положения в максимальном орошении полей (мелиорации). Но снова та же болезнь – бесхозяйственность и желание побыстрее отчитаться перед начальством, чтобы получить поощрение, – свела на нет почти все усилия. О качестве мелиорации заботились мало. Только в Белоруссии «из-за ошибок в мелиорации 30 процентов пашни оказалось подвержено водной эрозии», в Средней Азии десятки миллионов гектаров, из-за неумеренного полива, превратились в солонцы. Так вложенные в сельское хозяйство сотни миллионов рублей оказались пущенными на ветер.

В СССР, по сравнению с другими странами, огромны потери земель из-за отчуждения плодородных участков под строительство, из-за затопления лучших пойменных земель искусственными водохранилищами в местах строительства плотин гидроэлектростанций, из-за порчи земель горнодобывающей промышленностью. Сейчас общепризнано, что советские тракторы, комбайны, другая техника чрезмерно травмируют почвы и губят их.

Психология необъятности русских земель так цепко овладела поведением людей, что они не задумываются над тем, а

хватит ли на самом деле пашни, чтобы и себя прокормить и потомкам оставить.

Похоже, что сейчас руководители страны начинают осознавать, сколь пагубно такое отношение к земле. Не последнюю роль в этом играет то, что Михаил Горбачев – сам выходец из крестьянской семьи, в юности работал механизатором, что он не только закончил юридический факультет университета, но и сельскохозяйственный институт в Ставрополье, что потом руководил сельским хозяйством страны почти 7 лет. Но самая трудная задача советских лидеров – сломать привычку колхозников и их начальников наплевательски относиться к земле. Без введения мер экономического стимулирования решить эту задачу не удастся. А без изменения такого отношения нечего надеяться возродить былую славу русских черноземов, сколько бы денег ни вбухивать в неэффективное сельское хозяйство, построенное только на коллективных началах. Если же перемен в отношении к земле не произойдет, то еще при нашей жизни русский чернозем сохранится в количестве одного кубического метра в Парижской палате мер и весов, но исчезнет с русских равнин.

ЛЕСА РОССИИ

Завораживающе звучат слова о том, что на территории СССР имеется 770 млн. гектаров леса, что 34,4% территории страны покрыты им. В умах многих людей Россия ассоциируется со сказочным бором, на опушке которого стоит громадный медведь, зорко следящий за всяким, кто отважится войти в его владения.

Но человек с топором давно уже прорубил весь лес просеками, оставил проплешины на месте сказочных дубрав. Сказки больше нет, как нет и некогда бесконечных лесов. Их могло бы хватить на тысячу лет, но для этого надо было хозяйствовать рачительно, с умом и бережливостью. А как всякое достояние, «принадлежащее всему народу», то есть никому не принадлежащее, лес валили без сожаления и опаски, чтобы насытить сегодняшнюю нехватку, чтобы восполнить все чаще возникавшие прорехи в «кафтани» социалистического хозяйства. Какой ценой это делалось – не интересовало горячие головы, взявшиеся разрушить старый мир, чтобы на его

обломках построить что-то такое, о чем никто никогда и не знал.

При Сталине на лесоповалах работали миллионы заключенных, сегодня в леса двинулись могучие тракторы, механические пилы. Лес теперь буквально сводят на нет, оставляя за собой захламленные завалы из гниющих остатков. Как свидетельствует советская пресса, сегодня в Сибири на каждую тысячу заготовленных кубометров в местах рубок бросают до пятисот кубометров ценной мелкотоварной древесины. В основном выбирают стволы двух пород – сосны и кедра, остальное, чтобы не мешало, либо ломают на корню, либо обезображивают.

Все заготовители, согласно инструкциям, обязаны заново засадить оголенные ими участки. Но на это ни в одной из частей страны не хватало времени, сил и желания даже у государственных лесхозов, не говоря уже о так называемых «самозаготовителях», то есть бригадах из колхозов и совхозов, с заводов и фабрик, которым областные организации выдают разрешение на рубку леса для их нужд. «Самозаготовители» ведут себя как настоящие хищники, а в той же Сибири на их долю приходится до четверти всех заготовок леса. Одним из побочных и неизбежных следствий такой практики стало то, что в захламленных местах (на сотнях тысяч и миллионах гектаров ежегодно) размножаются болезни и вредители, разносящиеся затем по здоровым участкам лесов и инфицирующие их.

Лес же растет медленно, а на нужды огромной страны его требовалось с годами все больше, и вот уже то из одного, то из другого лесистого края несутся крики о помощи. Лес исчезает катастрофически быстро.

Из 15 республик, составляющих Союз Советских Социалистических Республик, можно назвать лесистой только Российскую Федеративную республику: на нее из 770 млн. га леса приходится 728 млн. гектаров. На Украине уже почти в 86 раз меньше леса, в Казахстане – в 80 раз меньше, в Белоруссии – в 107 раз меньше, в Туркмении – в 227 раз, в Грузии – в 270 раз, а в остальных республиках и того меньше.

В Европейской части РСФСР основные массивы леса были сосредоточены на севере – особенно в Карелии. Но вот в мае 1987 года в «Правде» была напечатана статья первого секретаря Карельского обкома КПСС В. Степанова, который сообщил, что «на протяжении не одного десятка лет в Ка-

релии вырубали вдвое, а то и втрое больше леса, чем позволял нормальный прирост». На сегодня, продолжал он, «из-за укрепления психологии „временщиков“ и на местах и в центре, считавших, что „на наш век хватит, а там и видно будет“, в карельской тайге древесины осталось максимум лет на 25 – 30!»

Теперь из-за нехватки лесов в Карелии здесь сложилась анекдотическая (или, вернее, катастрофическая) ситуация. В расчете на нескончаемость лесных богатств здесь в свое время понастроили лесопильные фабрики, деревообрабатывающие и бумажные комбинаты. Им и сейчас нужна древесина. И теперь, пишет секретарь, «к нам гонят через всю страну вагоны с целлюлозой из Сибири и даже с Сахалина: не останавливать же гигантские целлюлозно-бумажные предприятия и лесозаводы».

Отдавая приказы о хищническом вырубании леса на территории Европейской части России, начальники всех калибров, видимо, надеялись, что, даже оголив эти земли, Советы не останутся без леса: на худой конец спасет Сибирь, где от Урала до Якутии было сосредоточено более половины запасов древесины. Но и в Сибири лесорубы не дремали. Они и там варварски рубили направо и налево, настойчиво истребляя лучшие леса и оставляя за собой оголенные пространства. Это звучит неправдоподобно, но это факт, что в Сибири сегодня не покрытая лесом площадь в три раза больше, чем в Европейской части СССР.

В прошлые годы и десятилетия, когда обо всех изъятиях хозяйствования советские власти упорно молчали, этот факт оставался в тайне. А без информации о состоянии лесов, наверное, только космонавты могли «со стороны» увидеть, что творится. И лишь в 1986 году в «Правде» впервые прозвучали сведения о реальном положении дел в этой области. Сообщил об этом человек, который хорошо осведомлен, – директор Института леса и древесины имени В. Н. Сукачева Академии наук СССР академик А. Исаев. Он рассказал, что в доступных человеку зонах, куда проведены железные или проложены автомобильные дороги, лес в Сибири уже сильно вырублен. «В целом по Сибири лес ежегодно вырубается примерно на шестистах тысячах гектаров. На такой же площади гибнет лес от ежегодных пожаров», – написал Исаев, указав, что самые лучшие массивы, то есть, в которых росли сосна и кедр, сократились уже наполовину. «Если и впредь лесную

промышленность ориентировать преимущественно на сосновую древесину, — продолжил директор Института леса, — то в освоенных районах Сибири лесные ресурсы будут исчерпаны за 30-40 лет». А освоены практически все районы, удобные для лесозаготовок. Теперь остаются два пути: либо срочно изменять тактику губительного отношения к лесу, либо продвигаться в северные морозные районы, где, кстати, сведя один раз лес, нужно будет ждать несколько сотен лет, пока он снова вырастет, или идти в гористые участки с все той же перспективой.

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Понимают ли надвигающуюся экологическую катастрофу Горбачев и его команда, и делают ли они что-либо реальное, чтобы избежать ее? Дать точный ответ на эти вопросы пока трудно. Но в то же время очевидно, что, призвав к гласности, Горбачев открыл ворота для того, чтобы более или менее правдивая информация хлынула на страницы газет и журналов. Разворачивающаяся картина бедствий природы поражает. Но теперь, в условиях гласности, Горбачев не имеет иного пути, как исправлять положение. Не то что выиграть соревнование с Западом, но и обеспечить в долговременном масштабе нормальную жизнь своему народу будет невозможно, если природные ресурсы огромной страны будут истребляться столь же хищнически, как это было в прошлом.

Заботиться о природе надо еще и потому, что беды с водой, пашней, лесами, воздухом (о загрязнении которого я из-за недостатка места не мог написать в серии этих очерков) несут не один лишь экономический и эстетический вред. Из-за плохой и все ухудшающейся экологической обстановки все ощутимее страдает здоровье всего населения и, что еще опаснее, — наследственность людей. Это означает, что мы оставляем нашему потомству не только обезображенную, а порой и просто уничтоженную природу, но обрекаем на страдания и уродства наших потомков.

Складывается впечатление, что впервые за всю историю советского государства к рулю страны встали люди, способные понять ситуацию и выказывающие решимость бороться со злом. Конечно, два года горбачевского правления слишком

малый срок, чтобы исправить положение, но на трех примерах я постараюсь показать, что лидеры страны демонстрируют готовность поторапливаться с принятием серьезных мер, а не пытаются отделаться одними лишь красивыми словами.

Я начал свой рассказ о природе России с изложения проблемы загрязнения вод. И я почерпну эти примеры из данной сферы.

Я писал о том, как много постановлений было принято и в эру Хрущева, и при Брежнев, ратующих на словах за охрану Байкала. От этих постановлений ничего существенного не изменилось, а улучшения носили лишь косметический характер.

Иным стало отношение при Горбачеве. 28 декабря 1986 года в ЦК партии собрали ученых и производственников и выслушали обе стороны. 20 апреля 1987 года аналогичное совещание состоялось на уровне правительства, в газеты были допущены деловитые и страстные письма писателей. А 16 мая того же года ЦК КПСС принял специальное постановление по Байкалу, где присущий прежним руководителям победно-успокоительный тон был заменен иным – вполне деловым и конструктивным. Были перечислены все беды Байкала, прямо сказано о недейственности прежних постановлений, а далее названы конкретные виновники случившегося. Часть из них (причем не стрелочники – заместители министров) были тут же освобождены от своих постов, часть строго наказана. Сейчас, за каких-то два месяца, для сохранения Байкала сделано больше, чем когда-либо, и появляется надежда, что экспансию любителей легких решений, возможно, удастся остановить.

Аналогичный подход проявлен к проблеме загрязнения Ладожского озера. Проведенное в ЦК партии совещание отличалось по форме: на нем можно было говорить суровую правду без боязни, что тебя прервут и попросят не клеветать на замечательную советскую действительность. Затем 29 мая 1987 года было принято деловитое, конкретное постановление с реальными, а не мифическими целями и сроками.

Конечно, такой стиль непривычен и встречается многими в штыки. Особенно ясно это показала история с третьим примером – проектом поворота северных и сибирских рек на юг с целью обводнения новых гигантских территорий. Идея поворота родилась несколько десятилетий назад и вынашивалась могучими министерствами и институтами, которые никогда

никого, кроме себя, не слышали и слышать не хотели, такими, как институт Гидропроект имени С. Я. Жука (много лет этот институт подчинялся непосредственно НКВД, а затем КГБ, так как львиную часть работ выполняли заключенные). Любых оппонентов люди из этих министерств и институтов раздавливали, как спичечные коробки, ничьи слова в расчет не принимались. В такой манере пошла и работа по переброске рек: многие, даже крупные специалисты, пытались возражать, но гидропроектанты сумели внести соответствующие строки в Программу КПСС, а под эту запись получали сотни миллионов рублей ассигнований на свои цели, и дела зашли слишком далеко, чтобы кто-нибудь был способен набраться духу и отказаться от такого дорогостоящего предприятия. Поэтому как гром среди ясного неба прозвучало Постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек» от 16 августа 1986 года. Горбачев не остановился перед потерей миллиарда уже потраченных рублей и прекратил опасное надругательство над природой. Но и по сей день страсти вокруг этого «проекта века» кипят и выплескиваются на страницы советской прессы. Его авторы, которые десятилетиями могли творить все, что хотят они, а не их оппоненты, никак не могут смириться с мыслью, что теперь на верхах слушают не только самых крикливых и проверенных, но и здравомыслящих и совестливых.

Добьется ли Горбачев окончательной победы или будет, в конце концов, сметен любителями сладко пожить сегодня и плюющих на судьбу своих потомков, покажет только время. Будет ли больная природа России спасена? Сегодня никто сказать определенно об этом не может. Но то, что в СССР надвигается экологическая катастрофа и с водой, и с почвами, и с лесом, и с воздухом, — очевидно. Больше оставаться глухим и слепым к этим бедам нельзя. Времени природой больше не отпущено.

Но, с другой стороны, одним вскрытием недостатков через систему гласности дело охраны природы с места не сдвинуть. Порча природы — это экономический феномен, закономерно возникающий из социалистического отношения к собственности, из отказа от категорий стоимости любой материальной субстанции и пренебрежения личной заинтересованностью. Кажущаяся, на первый взгляд, привлекательной идеология всеобщего рая неизбежно оборачивается своей

противоположностью, и гибель природы наиболее ясно это показала.

Поэтому Горбачеву придется искать выход из полярных тенденций, которые стремятся разорвать его самого, — призывов к гласности и децентрализации управления и явной недостаточности одних лишь разговоров для решения проблем, нуждающихся в коренном отходе от чисто идеологических рецептов.

Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста

Б.Д.Бруцкуса

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием

В.Сорокина и Д.Штурман,

статьей лауреата Нобелевской премии

по экономике **Ф.А.Хайека**

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР.

Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночному продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопартократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Заказы направляйте по адресам:

Victor Sorokine — 5, bd. de la Gare,

**94470 Boissy-St.-Léger, FRANCE, и S.Tictin, Greenspan Str., 12/6,
Misrahk Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.**

Восточноевропейский диалог

Димитр Б о ч е в

ЛЕТОПИСЬ ОДНОГО УБИЙСТВА, или ОТМЩЕНИЕ НЕРАЗГАДАНЫХ ПРОРОЧЕСТВ

Каждая эпоха отликает расстрельные пули и воздвигает эшафоты, всем зримые, чтобы сделать великие слова непостижимыми для маленьких людей.

Иван Цанев

Для любителей статистики:

Георгий Иванов Марков родился в 1929 году в Софии. В Болгарии он издал семь книг прозы (роман, сборник повестей, сборники рассказов). Он автор многих, ставившихся на всех сценах страны, пьес. По его произведениям снимались кинофильмы. 15 июня 1969 года в Государственном театре сатиры в Софии состоялась премьера его социальной, остро-критической пьесы «Я был он». После того как занавес опустился – это был первый и последний спектакль по пьесе, – какой-то разъяренный полковник госбезопасности кричал на весь театр, что это «чешская пьеса». В те времена, когда память о Пражской весне и о ее разгроме армиями Варшавского пакта была жива, как свежая рана, эпитет «чешский» был не просто обвинением, а настоящим приговором. Окончательно поняв, кто ему противостоит и чего можно ожидать после скандальной премьеры, Марков немедленно покинул Болгарию – навсегда. Он обосновался в Лондоне, получил должность штатного сотрудника в болгарском отделении Би-Би-Си, сотрудничал с болгарскими редакциями радио «Свободная Европа» и «Немецкая волна». В сотнях программ с захватывающей публицистической силой и исключительной художественной убедительностью писатель беспощадно громил мир господствующего в Болгарии неофеодализма, вскрывая его лицемерие и фальшь. Неоднократно болгарская сторона угрожала Маркову, требуя прекратить журналистскую и литературную дея-

тельность. Об этом он уведомлял западные службы безопасности. Последние, однако, не приняли всерьез анонимных запугиваний.

7 сентября 1978 года около половины седьмого вечера Марков пешком переходил расположенный неподалеку от Буш-хауза, здания Би-Би-Си, мост Ватерлоо через Темзу. Когда он проходил мимо автобусной остановки на мосту, «случайный» прохожий толкнул его, «случайно» уколол его наконечником зонтика в правое бедро, на ломаном английском с сильным славянским акцентом извинился, остановил первое попавшееся такси и исчез. Вскоре после этого происшествия Марков обнаружил маленькую ранку – обгавленную свежей кровью точку диаметром в 2 миллиметра в верхней части бедра, в том самом месте, куда прохожий уколол его зонтиком. На следующий день вокруг точки появилось желтоватое круглое пятно около полутора сантиметров диаметром. Началась постоянная лихорадка, подскочила температура. Временами Марков терял дар речи. Скорая помощь увезла его в отделение лондонской больницы Сент-Джеймс. Несмотря на все усилия врачей, состояние его катастрофически ухудшалось: распухли лицо, голова. Начал харкать кровью. 11 сентября около 11 часов утра Марков умер.

Несколько ранее, 26 августа 1978 года, в парижском метро подобное нападение было совершено на бывшего сотрудника болгарской госбезопасности, ставшего политическим эмигрантом, – на корреспондента болгарского отделения радио «Свободная Европа» Владимира Костова. По счастливой случайности Костов остался жив. Однако, узнав о симптомах, предшествовавших смерти Маркова, он припомнил, что непосредственно после нападения те же симптомы появились и у него. Он обратился за повторным, основательным медицинским обследованием, в результате которого хирурги вынули из его спины металлический микрошарик, наполненный смертоносным ядом рицин. В этом шарике, размером всего 1,7 мм, имелись два микроскопических, незаметных невооруженным глазом отверстия, закрытых желатиновой субстанцией. При температуре тела эта субстанция тает, содержимое шарика вытекает и, попав в кровь, приводит к ее отравлению, – летальный исход неизбежен. В тело Костова вытекла лишь незначительная доза выстреленного в его спину яда. Случай с Костовым, однако, побудил к новому, тщательному обследо-

ванию тела Маркова, в результате которого врачи извлекли из верхней части его правого бедра точно такой же микрошарик. После того, как было бесспорно установлено, что смерть Маркова – политическое убийство, дело рук болгарских тайных служб, «львы» английского парламента направили министерству иностранных дел Болгарии ноту протеста, полагая, что тем самым они исполнили свой моральный и профессиональный долг.

Георгия Иванова Маркова похоронили 4 октября 1978 года на кладбище деревни Уитчерч Кеноникорум (графство Дорсет Даунс, в юго-западной Англии).

У него остались жена Анабель и дочь Александра. После его гибели на Западе был издан двухтомник его мемуаров «Загадочные репортажи о Болгарии» и сборник «Эссе» на болгарском языке, а в 1983 году лондонское книгоиздательство «Вайденфельд и Николсон» выпустило книгу его репортажей «Истина, которая убивает» по-английски. Можно сказать, что жизни и гибели Георгия Маркова пресса и общественность Свободного мира уделили не больше внимания, чем принято уделять обыкновенному, среднему футбольному матчу...

Писать о мертвых трудно. Не только потому, что смерть близких отнимает что-то и у нас, а еще и потому, что в каждой букве бьется неутрахающая тревога: наступит день, когда и о тебе будут писать так же.

Я не знаю другой цивилизации, которая с такой легкостью, как наша, расстаётся с живыми и в то же время с таким ужасом смотрит на смерть. Вряд ли неприятие смерти можно объяснить победой, торжеством инстинкта самосохранения. Я лично не могу поверить, что тяга к жизни становится сильнее благодаря демонизации смерти. Не противопоставление жизни и смерти, а их неразрывная связь, сознание того, что любое жизненное начало в своем зародыше таит трагизм предстоящей гибели, а каждая смерть вселяет веру в новую жизнь, делает нас сопричастными к тому вечному круговороту жизни между божественным и человеческим, который отличает нас от камней и деревьев.

К добру или к худу, болгарская литература несравненно в большей степени, чем любая иная европейская литература, всегда была явлением общественным. И, как таковая, в своем целостном историческом развитии она являет собой пример

творчества писателей преследуемых и убиваемых, самоубийц и изгнанников. Тот, кого еще не убили, спешил предварить своих убийц – накладывал на себя руки; кого не изгнали из отечества, спешил опередить своих гонителей и преследователей – сам покидал свое отечество. Показательно, что лучшая болгарская литература создавалась в изгнании, в эмиграции. Даже основоположники болгарской письменности святые Кирилл и Мефодий творили, можно сказать, в пожизненном изгнании. А художественное наследие таких писателей, как Ботев и Вазов, Алеко Константинов, Яворов, Дебелянов, Пенчо Славейков, Константин Величков, Гео Милев, Димитр Бояджиев, Пеню Пенев, Чудомир, Атанас Славов, весьма недвусмысленно доказывает, что изгнанничество, соседство смерти является трагической литературной школой. За последние четыре десятилетия эта унаследованная, идущая из глубины веков национальная традиция обогатилась и развилась благодаря методу социалистического реализма, пошла по пути, неожиданному для болгарской дореволюционной интеллигенции, окрыленной идеями ленинизма: если самые даровитые болгарские писатели, будучи не в силах творить в атмосфере мракобесия докапиталистического и капиталистического общества, вынуждены были эмигрировать, чтобы творить, то классово-партийный гуманизм настигает эмигрантов и там, за границей, – преследует и убивает за то, что творят. Тот шаг, на который не решался даже Гитлер и о котором не помышляет Пиночет – убивать, расправляться с писателями на чужой земле, причем только за то, что они писатели, – последовательно осуществляет справедливость, водворенная на моей родине танками Красной Армии. А эта справедливость не начинается террором Сталина и не кончается им: она берет свое начало в лозунге «Вся власть советам!» Конца ее не предвидится даже в светлом коммунистическом будущем.

Когда он был привилегированным членом Союза болгарских писателей, Георгий Марков говорил: «Нам платят, чтобы мы не писали». Его трагическая гибель добавила: «И убивают, потому что пишем». Как мне кажется, палачи примирились бы и с эмиграцией Маркова, и с его протестами. Не будь творчества Маркова, они бы просто облепили его образ истрепанными, вышедшими из употребления ярлыками, вроде «изменник родины», «враг народа», провозгласили бы его платным агентом гонолульской разведки. Однако, по сути, его подлинным

убийцей стал его же собственный талант. Его непростительным грехом, его мучителем и палачом явилось то, что он скорее и яснее всех других постиг решающую истину: художественное слово – самое сильное, самое могущественное и самое естественное противодействие всякой диктатуре и всякому насилию. Его апостольская самоотверженность отравляла жизнь, будоражила покой софийских сталинистиков. Как сова в басне болгарского сатирика Стояна Михайловского не может простить светлячку его свет, так и партийная элита, с которой Георгий Марков постоянно срывал маску, пошла на месть за разоблачающий свет его слова.

Георгий Марков стал для Болгарии тем же, кем, по словам Достоевского, был для России Пушкин: явлением пророческим. С той, разумеется, разницей, что это пророчество выходит за пределы границ моей родины и является грозным предостережением для всего мира. Знаменательно, что свободное литературное творчество вынуждено выбирать между «родным» террором и негостеприимностью Свободного мира; знаменательно и то лакейское усердие, с каким государственные мужи этого мира приняли Маркова как непрошенного и нежеланного гостя и в то же время расстилали красные ковры под ноги его палачей; знаменательна и слепота этого больного от пресыщенности общества, которое свято верит в то, что права человека можно разделить географическими и политическими границами, оставляя в неприкосновенности собственные интересы и строя собственную свободу на бесправии других. Для западных стратегов и восторженных поборников и штурманов детанта мирное сосуществование в действительности означает лишь одно – примирение со злом. Они и знать не хотят и ведать не ведают, что сделка свободы с несвободой порождает п о л у с в о б о д у. Они даже не подозревают, что яд, который поразил сердце Маркова, давно проник в их собственную теплохладную кровь, что акция против Маркова – это акция и против них самих.

Как теперь стало достоверно известно, Георгия Маркова убили не столько просто за сотрудничество с Би-Би-Си и «Немецкой волной», сколько за конкретные, переданные радио «Свободная Европа» репортажи о Болгарии и особенно за те из них, в которых он, основываясь на личных впечатлениях, вскрывает облик Тодора Живкова, главы болгарских коммунистов, человека, благополучно пережившего и чистокров-

ный сталинизм, и обманчивую десталинизацию, и настоящий неосталинизм, а ныне ринувшегося в лицемерную перестройку. Вот почему я не могу отделаться от мысли, что дата убийства Георгия Маркова не случайно совпала с днем рождения диктатора – 7 сентября. Это совпадение приобретает символический смысл, поскольку акция против Маркова – дело единой эффективно действующей системы, всецело подчиненной регламентируемому обществу.

Еще менее случайными мне представляются откровения министра внутренних дел Димитра Стоянова, с которыми он выступил по болгарскому радио и телевидению в первые же дни после покушения: «Наши враги нигде не укроются от нашей руки. Мы не знаем границ. Контрреволюция должна знать, что для нее нигде нет надежного убежища». Хочу уведомить приверженцев нового курса, что Димитр Стоянов и *сегодня* является министром внутренних дел Болгарии. А это уже не басни из арсенала идеологической пропаганды – это живая угроза как политическим эмигрантам, так и Свободному миру. Вопреки всему этому, Запад продолжает дружелюбно расшаркиваться перед государственными деятелями, чьи руки обгажены кровью и кто готов в любое мгновение превратить Свободный мир в арену терроризма и расправ.

Чтобы убить на родине, в 1974 году из Дании выманили политического эмигранта Бориса Илиева Арсова. Комментируя антикоммунистическую деятельность Арсова за четыре года до нападения на Маркова, газета «Отечествен фронт» писала черным по белому: «Своевременное вмешательство органов государственной безопасности полагает конец этой деятельности... Арсов остается целеустремленным врагом – жалким в своих усилиях бороться с народной властью. Этого мы не допустили... и не допустим. Потому что рука справедливости всегда длиннее ног предательства». По тому же поводу и в то же самое время, гордо отчитываясь о том, как Арсов был обезврежен, газета «Народна младеж» предупреждала: «Та же участь ожидает каждого, кто предал забвению ценности понятий родина и народ и поставил себе цели, давно выброшенные историей на политическую свалку». После такой наступательной кампании, после провозглашения такого откровенного цинизма и жестокости, вряд ли кто-нибудь на Западе может прикрыться извинениями, что будто бы он не знал, не предполагал, не допускал мысли о чем-либо подобном. В наше

время информационного взрыва лишь тот не знает, кто не хочет знать, кто предпочитает уют блаженной слепоты риску прозрения. Так что в основе безучастия и равнодушия парламентарных обществ лежит отнюдь не неосведомленность и не христианское смирение – непротивление злу, но великий самообман, будто бы таким образом Запад выживет, если не нравственно, то хотя бы физически. Пусть соотечественники похищают своих соотечественников и расправляются с ними у себя дома – только бы нас не трогали, только бы не портили наши пикники и уик-энды своими злодеяниями! Таков психологический феномен мелкого и среднего буржуа с его терпимостью к человеконенавистническим коммунистическим и прокоммунистическим доктринам. Не без основания Ионеско утверждал, что буржуазии по природе присущ некоторый первородный инстинкт самоуничтожения. В этой связи приведу еще одну примечательную деталь: в день покушения на Маркова в болгарском посольстве в Вене был устроен прием по случаю выхода в свет на немецком языке сборника избранных трудов первого секретаря ЦК БКП и председателя Госсовета НРБ Тодора Живкова. Книга называлась «На службе мира, сотрудничества и прогресса». А хвалебное предисловие к ней написал не какой-либо функционер австрийской компартии, а собственноручно тогдашний президент Австрийской республики д-р Рудольф Кирхшлегер. Книгу выпустило влиятельное австрийское издательство с символическим названием «Европа». Замечу еще, что Вена – столица не только Австрии, но и болгарского шпионажа против Свободного мира. А если учесть и то обстоятельство, что до того, как занять свой пост, тогдашний посол в Вене Стоян Георгиев в течение ряда лет под именем Стояна Димитрова был шефом Управления ГБ по Западной Европе, то легко представить, какой напиток наполнял бокалы, которые поднимали на приеме, провозглашая здравицу в честь автора книги «На службе мира, сотрудничества и прогресса»! А в тот день – в день приема – и на следующий день, когда Георгий Марков боролся со смертью, австрийское телевидение передало обращение Тодора Живкова к австрийскому народу по случаю его предстоящего посещения Австрии. Оказалось, что даже палачу не составило труда, прибегнув к помощи бульварного, изрядно потрепанного бюрократического языка, убедить граждан Свободного мира в том, что классово-партийный гуманизм есть подлинный

гуманизм. За последние десять лет Тодор Живков посетил и Австрию, и ряд других демократических стран. На всех маршрутах его приветливо встречали, по его пятам следовали толпы журналистов: и либералы, и консерваторы, и коммунисты, и полукоммунисты, и неоккоммунисты, – самоотверженные и самозабвенные представители западной прессы, которые в собственном доме беспощадно бичуют пороки, устраивают расследования, будоражат общественное мнение на целых континентах, снимают президентов, перетряхивают правительства. Но никто из них не спросил о судьбе Георгия Маркова, никто не осмелился среди праздничных коктейлей хотя бы напомнить о его гибели. Между тем, судьба Маркова была отдана на откуп моральным соучастникам его убийства. 30 ноября на страницах главного органа Союза болгарских писателей «Литературен фронт» (литература у нас – прежде всего фронт!) читаем следующие строки:

ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕТОДА

Орлин Орлинов

Когда-то Иуда
только головой кивнул,
что означало:
«Вот Он!
Тот и есть!...»
Потом начальник стражи
сказал ему:
«Иуда, зайди в кассу,
чтобы получить
мошну
с тридцатью сребренниками».
Теперь техническая революция
меняет все.
Тем же остался
только Иуда.
И метод.
И способ оплаты.

Сегодня
в распоряжении Иуды

ему подвластные радиоволны
и неограниченная свобода,
по собственному вкусу, –
за честь и славу –
не какого-то там Иисуса,
а мать свою
разбазаривать,
предавать и облаивать.

Потом начальник стражи
сказал ему:
«Иуда,
зайди в кассу,
чтобы получить
свои
тридцать
фунтов стерлингов».

Только валюта новая.
Другого
под солнцем
ничего нового.

Нет никакого сомнения: это – о Георгии Маркове, о его работе на Би-Би-Си. Когда нужно оправдать преступления начальников, метод социалистического реализма готов включить в свою палитру и евангельские краски. Да и автор процитированных виршей – далеко не случайная личность: его плечи осеняют полковничьи погоны, а его членство в Союзе болгарских писателей гармонично дополняется членством в ЦК БКП. В старые добрые времена Орлинов возвеличивал, как и следовало, Сталина, а после – Никиту Сергеевича. Исполнил свой долг перед Брежневым, создав его «легендарный образ» (так, между прочим, и назывался опус Орлинова). Из одного высказывания Горбачева он смастерил целое стихотворение. Конечно, и о Солженицыне писал Орлинов по партийному поручению. Да не так, как о цинике Шолохове, – «Великий писатель-гуманист», а под заголовком «Мир нашел своего Каина». Его «Оду СССР» похвалил в личном послании Тодор Живков. А прославлять Орлинову приходилось и доблестные вооруженные силы, и блюстителей социалистического порядка из МВД. И этот придворный речеписец и краснобай,

променявший собственную честь на партийное бесчестие, присваивает себе право осуждать не только гражданскую позицию, но и судить о самых сокровенных чувствах писателя!.. Что же касается «фунтов стерлингов», могу уверить хлебника Союза болгарских писателей, по уши утонувшего в государственной кормушке, что после смерти Маркова на его банковском счету осталась ничтожнейшая сумма.

Лакеи и мыслят по-лакейски, и меряют все на свой, лакейский лад. В этом нет ничего удивительного или неожиданного. Другое дело, когда жертвы и враги пресловутой партийности в литературе начинают говорить на языке лакеев.

Вскоре после убийства Маркова из Софии в Лондон приехала одна женщина – литературный критик. Во время своего вполне официального визита она, с риском для себя, отступила от официальных встреч – неофициально встретилась с болгарским политическим эмигрантом крупного масштаба: видный дипломат-карьерист, он последовательно представлял в Париже и болгарских монархистов, и болгарских коммунистов, а двадцать лет спустя посетил Народную Республику по личному приглашению члена Политбюро ЦК БКП. Первоклассный художественный критик и эссеист, он открыл для болгарских слушателей Георгия Маркова: в прекрасной рецензии, переданной по Би-Би-Си, он назвал сборник новелл «Женщины Варшавы» событием национальной литературы, добавив при этом, что Марков – писатель не только для Болгарии, но и для всей Европы и мира: для Рима, Парижа и Лондона. Во второй половине 60-х годов вся интеллектуальная Болгария говорила об этом отзыве с чувством восторженной благодарности. И вот прибывшая в Лондон болгарка, встретившись с эссеистом и рецензентом, первым делом спросила его о судьбе Георгия Маркова, которого хорошо знала. Читатель «Континента» лучше других понимает, чего мог стоить такой вопрос человеку, имеющему болгарский паспорт в кармане. Автор блестящей рецензии, будучи подданным Ее Величества, не рисковал ничем, разве что благорасположенностью палачей Георгия Маркова. Ответ же его был таков: «Его погубили темные силы эмиграции». Если даже политическая эмиграция заговорила на языке собственных гонителей, то где уж тут простому человеку разобраться, какому богу молиться.

Заклечу одним личным воспоминанием.

В первую годовщину убийства Маркова я послал в «Зюддойче цайтунг» – как платное объявление – некролог следующего содержания:

ЦЕНЗУРА ПУТЕМ УБИЙСТВА

Первая годовщина убийства болгарского писателя-эмигранта, одного из самых блестящих мыслителей Болгарии

Георгия МАРКОВА

Тебя больше нет, но твои мысли остаются, как остается навечно твое место в болгарской литературе и в сердцах болгар.

11 сентября 1979 года

Твои друзья

Как известно, подобного рода публикации на страницах «Зюддойче цайтунг» не дешевы: редакции они приносят колоссальные барыши. Однако, изменив алчности капиталистической природы, газета лишила себя права прибыли и отказалась опубликовать некролог. Тогда я потребовал объяснений от главного редактора, д-ра Хайгерта. Доктор, оказывается, был задет тем, что я назвал смерть Маркова убийством*. И это – главный редактор газеты, которую никак нельзя упрекнуть в симпатиях к коммунизму или даже просто левым взглядам! И это тогда, когда расследования Скотланд-ярда и британской службы по борьбе с терроризмом были завершены, а их результаты оповещены по всему Свободному миру! На телевизионных экранах и на первых страницах прессы появилось изображение найденного в бедре Маркова микрошарика, в жаргон криминологов прочно вошел зловещий термин «болгарский зонтик», под которым невозможно укрыться ни от дождя, ни от солнца. А вот главный редактор газеты, имеющей многомиллионную читательскую аудиторию, не сумел отличить естественную смерть от политического убийства. Тогда я был новичком в эмиграции и наивно верил, что вещественные доказательства в состоянии противоборствовать упомянутому буржуазному инстинкту самоуничтожения. Поэтому я ответил доктору, что своим нежеланием разобратся в фактах он напоминает экзальтированных последователей фюрера, которые и по сей день верят, будто Дахау и Бухенвальд были санаториями для нуждающихся. Я спросил

* Переписка с д-ром Хайгертом прилагается в конце статьи.

газетного босса, не настораживает ли его это сходство. Ответа на это второе письмо я так и не дождался.

Сервантес утверждал, что все беды проистекают от того, что зло всегда преследует свои цели настойчиво, более последовательно, чем добро. За четыре столетия мир ни на йоту не сдвинулся с места от приведенного наблюдения. А сегодня, на пороге третьего тысячелетия, оно справедливо более, чем когда-либо: непротivление злу превратилось в официальную идеологию Свободного мира. Зло никогда еще не было настолько злым, настолько торжествующим, как в наши дни.

«Ты – хороший врач, но я хороший полицейский», – предупреждает в пьесе Маркова «Архангел Михаил» Полицейский Врача, прежде чем его застрелить. Эта пьеса получила первую премию на Международном театральном фестивале в Эдинбурге. Поединок между добром и злом завершается полной победой последнего: в сфере общественной морали, в литературном диалоге и – в конце концов – на мосту Ватерлоо...

Естественно, что известность приходит к писателю благодаря его творчеству. Еще более естественно, что писатель может остаться неизвестным, несмотря на свои произведения. Неестественно, когда о писателе начинают говорить лишь в связи с его убийством, а литература народа становится известной и привлекает к себе повышенный, обостренный интерес не столько потому, что она – литература, а потому, что она гонима, потому что ее преследуют и травят.

Наше любознательное человечество научилось всему: вторгаться в генетический код и управлять им, безболезненно умерщвлять плод в утробе матери, – не научилось оно одному: ч е л о в е ч н о с т и. Не извлекло оно уроков ни из распятия Христа, ни из предательства Иуды. Не пошел ему впрок урок ни Кронштадта, ни Освенцима, ни Ялты, ни моста Ватерлоо. А цивилизация, не способная научиться чему-либо у страдания и смерти, обречена страданием и смертью заплатить за собственную слепоту.

Один французский публицист, нашедший в себе мудрость, силы и мужество навсегда порвать со своими марксистскими иллюзиями, предупреждал, что проявляемое западными обществами непонимание диссидентского движения в восточно-европейских странах является, по существу, непониманием и недооценкой собственных свобод...

«Живые закрывают очи мертвым, мертвые открывают очи живым», – гласит древняя болгарская мудрость. Современный мир далек от этой выстраданной мудрости: мертвые уходят с безнадежно отверстыми глазами, тогда как глаза живых – безнадежно закрыты. А так хочется верить, что благие намерения не пропадают даром и что смерть Георгия Маркова необходима эпохе, как противостояние распятого Христа лежащему во зле миру.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Зюддойче цайтунг»

Главному редактору д-ру Хайгерту (лично)

Глубокоуважаемый д-р Хайгерт!

В связи с первой годовщиной со дня смерти моего друга, болгарского писателя и публициста в эмиграции Георгия Маркова, о котором примерно месяц тому назад Ваша газета распространяла ложные сведения (я уже писал об этом ответственному редактору г-ну Иоганну Фрайденбергу), я хотел дать в номер Вашей газеты от 11.09.1979 платное (за мой счет) объявление со следующим текстом:

[далее следует текст, приведенный выше, в статье].

Каждое слово, каждая буква этого текста – правда. Многие влиятельные телевизионные программы, авторы статей в газетах, а также следователи антитеррористической бригады и Скотланд-ярда пришли к выводу, что убийцами болгарского писателя, работавшего в Би-Би-Си, могли быть только сотрудники болгарской тайной полиции. Несмотря на эти неоспоримые факты, ответственный редактор отдела объявлений отказался печатать этот текст, утверждая, что он чересчур политический, и предлагая мне составить текст более нейтральный. Не знаю, каков был бы ответ, если бы убийца был членом фашистской тайной полиции, но уверен, что лишь нехватка нравственности позволяет смотреть на политическое убийство нейтральным взглядом. Тот, кто не разрешает сказать несколько сердечных слов об убитом, помогает убийцам остаться анонимными и защищает их от честного открытого обвинения. Так как я регулярно читаю Вашу газету, меня удивил этот отказ. Я все-таки надеюсь, что это исключение в Вашей практике, но был бы очень рад получить от Вас краткое объяснение.

В ожидании ответа с искренним приветом

Мюнхен, 21 сентября 1979

Димитр Бочев

Господину Димитру Бочеву

Глубокоуважаемый г-н Бочев!

Вы действительно обратились не по адресу. Поскольку мы в главной редакции не хотим, чтобы отдел объявлений вмешивался в наши дела, существует внутреннее правило, что и мы не имеем права вмешиваться в решения ответственного редактора отдела объявлений. О моем личном мнении я не хочу умалчивать. Вы называете смерть г-на Маркова несомненным убийством. Вы обосновываете Ваше предположение тем, что к этому выводу пришли английские круги. Возможно. Но кто это знает? Кроме того, я лично сомневаюсь, что читатели нашей газеты расшифровали бы это объявление: оно звучит очень загадочно. Однако, как я уже упомянул выше, я не вмешиваюсь в дела отдела объявлений.

С дружеским приветом

д-р Х. Хайгерт

8 октября 1979

БОЧЕВ Димитр – родился в 1944 году в г. Силистра, Болгария. Учился на историко-философском факультете Софийского университета. За критику коммунистической системы и идеологии был исключен из университета, подвергался арестам и высылкам. В 1972 г. бежал на Запад. С тех пор живет в ФРГ. Работал внештатным сотрудником радио «Немецкая волна» в Кёльне. С 1975 г. – редактор в болгарской секции радио «Свободная Европа» в Мюнхене, где ведет культурно-публицистическую программу «Контакты». Выступает со стихами и публицистическими статьями в болгарских эмигрантских периодических изданиях.

Запад – Восток

Клод С и м о н

ПРИГЛАШЕНИЕ

Перевод с французского Н. Горбаневской

ОТ РЕДАКЦИИ: Клод Симон – крупнейший из живущих французский писатель-авангардист, лауреат Нобелевской премии. Он был участником первой встречи на так называемом Иссык-Кульском форуме. В эссе, которое мы публикуем ниже, он делится с читателями своими впечатлениями об этом событии. Поразительно, как в течение двухнедельной поездки по СССР этот далекий от всякой политики, утонченный эстет сумел разглядеть сквозь дорогостоящую бутафорию советского гостеприимства подлинную сущность хозяев и их далеко не альтруистические цели. Многим нашим, умудренным, казалось бы, горьким опытом политическим эмигрантам признать бы у этого французского прозаика хоть немного ума и прозорливости!

Единственный постоянный фактор истории – география.

Бисмарк

Обычно (то есть с тех пор, как десять дней назад они приехали в эту страну) их возили, каждого со своим переводчиком, в отдельных машинах, в этих огромных черных автомобилях с задним стеклом, завешенным сборчатыми занавесками, но на этот раз их посадили в большой автобус, который, следуя за милицейской машиной не на предельной скорости, но, тем не менее, не забывая пролетать перекрестки на красный свет, в конце концов остановился перед зданием самого заурядного вида, и пятнадцати пассажирам предложили сойти. Один за другим они пересекли порог, прошли через вестибюль, поднялись по лестнице с двумя пролетами, проследовали по коридору и вышли на простор зала, где их ждал генеральный секретарь.

Может быть, один или несколько охранников в форме дежурили снаружи, как всегда бывает при входе в здания офи-

циальных учреждений, но они этого не заметили, так же, как не замечаешь швейцаров или грумов в гостиницах (одни и те же коричневые формы, обшитые красным или синим, одни и те же фуражки, один и тот же празднично-праздничный вид), выходя из такси и торопясь на срочную встречу. В вестибюле и на лестнице, указывая им дорогу или глядя, как они проходят, присутствовали люди, выглядевшие чиновниками или служащими, в темно-серых костюмах, скорее молодые, вида делового, не бросающиеся в глаза, такие, каких повсюду встречаешь в подобных местах: министерствах, резиденциях глав государств или зданиях крупных организаций.

Пятнадцать приглашенных представляли собой разношерстную группу, возраста в среднем под шестьдесят, разных национальностей и профессий, некоторые (особенно самый молодой, средиземноморец) изысканно элегантные, другие (один из них при ходьбе опирался на палку) по внешности (лицом и одеждой) безликие, чопорные, слегка усталые, но в то же время удовлетворенные, словно какие-нибудь участники международных встреч и конференций, которых можно увидеть на фотографиях в газетах, эта группа (как бы в качестве оправдания своего, так сказать, существования или просто по статье декоративных, экзотических элементов) насчитывала трех персонажей, отличавшихся от других не только цветом кожи, но еще и одеянием, самый яркий, с головой нубийского гладиатора, словно отлитой из бронзы, с прямым носом, с тонкими, хотя несколько одутловатыми, чертами лица, со сверкающими зубами, одетый в китель и узкие голубые брюки и обмотанный широким шарфом из белого ситца, с грудью, украшенной, как у генералов, широкой полосой орденских ленточек, двое других (два брата), похожие на проповедников евангелических сект или, скорей, на членов негритянского дуэта, равно умеющих как петь, так и играть на тромбоне или отбивать чечетку под прожекторами мюзик-холлов, были одеты в темное с ног до головы, от узких эстрадных полуботинок до тонких свитеров с высокими воротниками, над которыми их эбеновые головы казались выставленными, как отрубленные, слегка откинувшись назад, словно поддерживаемые гипсовым подбородником или одним из протезов, называемых у нас «минервами», но раскачиваясь с той живостью или, точнее, той внезапностью, какая свойственна птицам, и в этот момент повернутые налево, а в то время как, идя

цепочкой вместе с сотоварищами, сами они, один за другим, резко поворачивали направо, как только переступали порог двери, расположенной в углу зала средних размеров, вроде зала заседаний административного совета, в длину больше, чем в ширину, посередине занятого столом с тем же соотношением сторон, на котором напротив каждого стула стояли стаканы и бутылки минеральной воды, третьим шел величественный нубийский гладиатор, все так же завернувшись в свою безупречно белую тогу, элегантный средиземноморский дипломат возглавлял шествие, обходя стол и постепенно достигая его оконечности, где их ожидал стол, слегка отступя назад, персонаж, который позвал их сюда.

Церемонии знакомства не было. Может быть, секретарь (или писатель, направивший им приглашения?), стоя обок хозяина, каждый раз шептал ему на ухо имя приглашенного, которому тот пожимал руку. А может быть, и нет. Может быть, это его не интересовало (то есть личность и имя каждого в отдельности: ему наверняка было достаточно того, что они здесь, что, как ему сказали, имена этих людей пользуются известностью в их странах), может быть, он заранее наскоро проглядел список (список, в котором, кроме негритянского дуэта и сногшибательного нубийского гладиатора, фигурировали также актер, который сыграл в кино роль Нерона, и второй муж первой красавицы света) или просто затребовал от своих подчиненных краткий доклад (он как раз вернулся со свидания с другим главой государства, который тоже мог одним-единственным словом уничтожить добрую половину земного шара: еще один актер, человек, который вознесся не в силу особых способностей или знаний, а потому что в ковбойской шляпе скакал на лошади и во весь рот улыбался в фильмах третьей категории), так что в течение некоторого времени было слышно только шарканье подошв по полу, тогда как по указаниям служителей пятнадцать мужчин, один раз обойдя стол, обходили его второй раз в обратном направлении, вошедшие первыми поворачивали вокруг его другой оконечности, второй раз покрывая дистанцию между дверью и тем, с кем они только что поздоровались, становились в ряд, каждый замерши перед своим стулом, ожидая, пока последние из них, в свою очередь, займут место по другую сторону стола, потом, по движению хозяина и в подражание ему, подтянули к себе стулья; усаживаясь, приглашенное шурушание стульев с

подбитыми резиной ножками только-только затихало, когда человек, который может уничтожить половину земного шара, уже произносил мягким, приветливым, почти игривым голосом: «Добро пожаловать!»

Долгое время спустя после того, как отзвучали последние раскаты меди, угас последний рокот литавр и закрылся занавес, пятиярусный зал с бело-золотыми балконами, расположенными подковой, с ложами и сиденьями, обитыми алым бархатом, с гигантской люстрой, продолжал греметь грохотом аплодисментов, словно град, стучащий по крыше, все затопляя, перекрывая отдельные восторженные возгласы, раздающиеся там и сям, неуверенно затихая, возобновляясь, заново взбухая, наполняя просторный корабль чудовищным треском, чуточку тревожным, словно грохот диких водопадов, откуда тысячами обрушиваются тонны воды, почти угрожающим, и сквозь него умножившиеся восторженные возгласы казались криками отчаяния, тревоги, почти ужаса, каждый раз, как занавес снова открывался и в тусклых лучах прожекторов к середине сцены продвигался крохотный силуэт, подобный ирреальному видению, которое как будто не заимствовало своего сияния от направленных на него слепящих лучей, а светилось само по себе: оно как будто состояло не из плоти, мышц и кожи, но из фосфоресцирующей материи, и неясные, расплывчатые, распыляющиеся контуры обрисовывали не столько тело в переливающихся складках шелка, сколько последовательность жестов, наклоняется, сгибает колено, грациозно подбирает один из букетов, которые, как необычайные снаряды, взлетали с разных сторон, казалось, под действием скрытых в галдящем полумраке пружин и разлетались по полу в слепящем свете'рампы вокруг звезды балета с закинутым, поднятым к софитам лицом, с вытянутыми вперед, ладонями вверх, руками, потом она вновь кланялась, опять исчезала, тяжелый, кроваво-красный занавес снова закрывался, его тяжелые с бахромой полы сталкивались, вскипали волнами, откатывались назад, вновь соединялись, все еще покачиваясь, потом замирали, аплодисменты и выкрики теперь были заглушены, однако до пятнадцати приглашенных они все еще доносились, отдаленные, рассыпающиеся по зернышку, умирающие и затем возрождающиеся, вновь набухающие, требовательные, – в то время как приглашенных вели сквозь лаби-

ринт колонн, белого мрамора, лестниц и галерей, где, казалось, бродили безутешные призраки покойных великих княгинь и камергеров, и в конце концов ввели в дверь, по ту сторону которой открывалось пространство без ясных границ и очертаний: за исключением просторных пыльных подмостков и опущенного занавеса (тоже пыльного и сероватого с этой стороны), слепящий свет нескольких висячих лампочек больше ничего не освещал и терялся в бесформенном сумраке, слабо населенном картонной листвой, рамами, рисованными задниками, слегка волнующимися от порывов сквозняка, время от времени раздувавшего и громадный занавес, сквозь который опять, снова ближе, но словно с того света, доносился гул последних вызовов, последних аплодисментов, упрямые хлопки в ладоши теперь отбивались ритмически и все-таки разрежались, так сказать, рассыпались, распылялись, получая все меньше и меньше пищи, и в конце концов прекращались, уступая место (хотя они (пятнадцать приглашенных) уже слышали это, как только вошли в дверь, ведущую за кулисы) спокойной какофонии ударов молотка и сталкивающих или перетаскиваемых вещей, какая царит при сносе зданий либо, скорей, на местах какого-нибудь бедствия, стихийного или не стихийного, и в центре его, тоже сероватая, словно тоже покрытая слоем (или сделанная из, материально восставшая из и готовая обратно возвратиться) этой пыли, которая, словно дождь саж, одинаково оседала на холстах декораций, на марлевых облаках, на рисованном лунном свете, на рабочих сцены, на досках подмостков, стояла старенькая дама, обняв букет увядших цветов, – почти карлица, хрупкая в своих воздушных одеждах пыльного цвета, обессиленная, набросив на плечи вязанный крючком платок, какими покрываются сторожихи или богаделки.

Никогда бы он не подумал, что она такая старуха. Даже после того, как ему о ней рассказывали. Даже когда он глядел на нее, светящуюся в поземке света, сквозь маленький театральный бинокль, один из тех, что были для них приготовлены (вместе с тарелками печенья и неизбежными бутылками минеральной воды, которые в этой обстановке приобретали какой-то комический, жалко вызывающий вид) на столике роскошной гостиной позади их ложи – почетной ложи в центре бельэтажа, с широкими позолоченными креслами, обтянутыми тем же красным бархатом, что и стенки, с теми же креслами

(они были сделаны, видимо, в середине прошлого века и заново покрыты не настоящей позолотой, а дешевой «золотой» краской), где раньше наверняка сидели императоры и увешанные бриллиантами императрицы, где усаживался теперь, когда он сюда являлся, один из двух самых могущественных в мире людей, где до него сидели маразматические старцы, а до маразматических старцев – человек с бандитскими усами, с бандитской отеческой улыбкой, с философией и моралью профессионального убийцы, человек, который из самолюбия, жестокости, желания развлечься, страха или просто по тупости велел арестовать, пытать, осудить, отправить на каторгу и смертную казнь по приговору или без одного миллиона людей: мужчин, женщин, детей и стариков, – он тоже сидел здесь на премьерах и бенефисах, и за его возгласами одобрения, его грубыми шутками, движениями его бровей со страхом следили или, точнее, выслеживали их те самые люди, которые окружали его вблизи, сидя рядом, дрожащие, перепуганные, в соседних позолоченных креслах, в то время как с помощью того же бинокля из перламутра или слоновой кости с медными ободками он смотрел, как на этой же сцене разворачивается нечто, почти совершенно подобное тому, что они (пятнадцать приглашенных) только что видели, то есть нечто такое, что в уме бедного семинариста (каковым он был, прежде чем сделаться бандитом) безусловно представляло неизреченный верх красоты, грации, гармонии и что почти сорок лет спустя после его смерти его наследники все время продолжали, все время и по сей день, словно под действием какого-то шекспировского ужаса или предрассудка (и на то существовали законы, указы, подробные директивы, опирающиеся на тщательно разработанный философский жаргон, устанавливая точнейший регламент всему: и как дуть в корнет-а-пистон, и как держать кисть), ставить целью, ставить смыслом существования танцовщикам, музыкантам и художникам-декораторам.

И, может быть, та же – то есть та, которая теперь стала старенькой дамой, такой старенькой, что тогда, будучи еще рядовой балериной, а может быть, уже восходящей звездой, она должна была становиться на тех же пыльных досках в те же устарелые, условные позы, склонять голову, улыбаться, совершать пируэты, сжимая и расслабляя свои стальные мышцы под бурные аплодисменты бандита со стальным именем, грациозным жестом округлять свои, тогда юные руки, в

то время как теперь, подвешенная под софитами на невидимом стальном кабеле, с подгибающимися ногами, скрытыми картонным облаком, которое поднималось и опускалось на системе блоков, она всего лишь волнообразно покачивала руками, отошальными, напудренными и поблекшими, подражая крыльям раненой чайки, слегка наклонялась вперед, склоняла голову то к одному, то к другому плечу под жалобные звуки флейт из оркестра, потом, вновь спустившись со своего неба, поддержанная или прямо поднятая на руки своим крепышом-партнером, изогнувшись дугой и высоко отставив ногу, обессиленная и трогательная, она полусовершала те воздушные прыжки, которые когда-то ее прославили, за которые она во всех столицах мира получила из рук глав государств не меньше орденов, медалей, крестов, розеток и ленточек, чем какой-нибудь победоносный маршал, и наконец исчезала под грохот восторженных криков и гром литавр, подчеркивавших выстрел, от которого тело ее партнера пулей вылетало на авансцену, не переставая крутиться вокруг собственной оси, пока наконец не застывало, скрестив руки и откинутой головой касаясь лампочек рампы, публика уже стояла, выкрики и аплодисменты сливались в общий гул, нубийский гладиатор в своем парадном кителе небесного цвета тоже вскочил, откинув за плечо ситцевую тогу, бурно хлопая в ладоши, гул и грохот стоял неимоверный, возгласы «бис» и «браво» продолжали нестись из партера, с балкона, с ярусов, и в них было что-то необычайное, тревожное, как бывает в криках, вырывающихся у человека или животных от непомерного наслаждения, страдания, гнева или ужаса.

А потом больше ничего. Только громадное пространство неопределенных очертаний, пыльные, серые декорации, уже отданные во власть рабочих сцены, стучащих своими молотками, и эхо от этого стука терялось в бесформенном, холодном сумраке. словно еще до того, как прекратились аплодисменты, до того, как танцовщики кончили раскланиваться, раньше, чем угасли прожектора, а занавес опустился над феерией (феерия, громыхающий балет, который на афишах цвета пыльной настойки носил то же, кириллицей написанное название, что и пьеса, написанная лет сто назад милым, близоруким человеком, прогуливавшим свою меланхолию, худобу, бородку, свое пенсне и больные легкие под пальмами и зонтиками вод и курортов из конца в конец тоже большой Европы; он не

успевал переделывать каждую реплику, каждую паузу, не оставляя на листках ролей, которые раздавал актерам, ничего, кроме указаний на шепот, на неслышные речи; Европа, старый континент философов, музыкантов и живописцев туманных рассветов, весь в морщинах, обветшалый, управляемый монархами с бородками или бакенбардами, господами в шапокляках, которому предстояло быть сотрясенным чем-то столь громохочущим, куда более ужасным, чем звон меди и рокот литавр...), разрушители немедленно, по приказу принялись поспешно уничтожать малейшие следы декораций, будто полагалось ничего не оставить от фальшивых деревьев, фальшивых кустов, садовых скамеек и стульев, романтического лунного света, облаков, чтобы она (старенькая дама, бывшая звезда, легконогая нимфа, бывшая знаменитость эпохи семинариста, она, ставшая ныне по отношению к танцу тем, что безголосая певица – к пению) могла исполнить вторую часть своей роли (своей судьбы?) – ту, в которой она могла продержаться без иной поддержки, кроме поддержки своей костюмерши, почти такой же старенькой, стоявшей рядом, словно наперсница из трагедии (трагедия, трагизм – вот чего тщетно пытались достичь удары в большой барабан и оглушительные медные инструменты), то есть так и держаться здесь, пугающей и бесплотной, посреди безбрежной пустой сцены, границы которой пропадали в темноте: как покинутая королева, некая языческая богиня, удерживаясь на ногах последним усилием, по ту сторону усталости, все еще пытаюсь обрести свое дыхание; ее грудь, взгорбленная лесенка грудной кости, которую обнажала выемка ее корсажа, учащенно вздымалась и опадала, на ее лице застыло выражение потерянности, словно здесь еще продолжалась агония, которую она перед тем изображала, смятая маска и взгляд, как у затравленного зверька, обрамленный черными кругами сценического грима, размазанного в каплях пота, и она еще находила в себе силы улыбаться, в то время как ее окружали пятнадцать приглашенных, которым она по очереди пожимала руку, слушая (или не слушая) комплименты, благодаря их тем же механическим растягиванием губ, усталых, обведенных бороздами, подобными шрамам на коже, испорченной гримом, словно из картона, словно жизнь давно отсюда улетучилась, глаза же сияли тем блеском, который придают только слезы – или, может быть, отсветы самой ближней из слепящих электрических лампо-

чек, медленно покачиваемых сквозняком, так что поочередно то удлинялись, то снова сокращались тени на маленькой выцветшей маске, ненамного большей, чем лицо одной из тех детских мумий, пепельное, со скулами, еще оживленными остатками кармина.

Долгое время он видел только луну, не совсем круглую, слегка сплюсненную слева, молочно- или, скорее, серебряно-белую, вроде фонаря, который, казалось, перемещается с той же скоростью, что и самолет, словно приваренный к самолету, иногда чуть-чуть поднимаясь или опускаясь, потом вновь занимая прежнее место, или, точнее, как если бы фонарь и самолет были неподвижны, подвешены на месте в беззвездной ночи, в то время как в нескольких тысячах метров под ними медленно дрейфовали невидимые в темноте, невообразимые просторы земли, которыми были связаны два континента, два мира, не лицом к лицу по обе стороны какого-нибудь моря, какого-нибудь волнующегося океана, но склеенные друг с другом на манер этих двухголовых тварей, этих сиамских близнецов, которых выставляют напоказ на ярмарках, сросшихся спинами, осужденных никогда друг друга не видеть, при этом дыша или переваривая пищу каким-то общим, неделимым, гипертрофированным, разросшимся органом (а на обратном пути, днем, им довелось увидеть это, нечто противоположное течению, движению: на протяжении долгих часов нечто, однообразно охристое, однообразно плоское, поверх чего застыли параллельные четки круглых, недвижных облачков, удвоенных своими недвижными тенями, кое-где попадались озера или, наверно, болота, уже затянутые, хоть стоял еще октябрь, пленкой льда, и ни одного города, ни одного поселка, ни одной фермы, ни одной дороги или хотя бы тропинки, только с запада на восток проведенная черта железной дороги, тянувшаяся сколько хватало взгляда, совершенно прямая, без единого холма, чтоб его обогнуть, без единой долины, чтобы следовать за ее извивами, прочерченная по по шнуру, идущая ниоткуда и не ведущая никуда: сухая кора, мертвый, пустой, бесплодный простор, окончательно пустой, окончательно бесплодный и окончательно недвижимый).

А в конце (уже прошло три часа полета – самолет был специально предоставлен пятнадцати приглашенным, их пятнадцати переводчицам и пяти-шести сопровождающим, о кото-

рых не очень-то было известно, находятся ли они здесь, чтобы заботиться о гостях, следить за ними или же следить друг за другом, самолет, отправления которого они ждали около двух часов (после того, как уже прождали час (что в сумме давало три: словно ожидание (ожидание таинственных приказаний, отменяемых противоположными приказами, не менее таинственными и, в свою очередь, отменявшимися) являлось, так сказать, существенной и неотторжимой частью установленной программы) посреди холла гостиницы с имперскими колоннами, с истертыми коврами на полу и такими же истертыми немногочисленными креслами, автобуса, который должен был отвезти их) в роскошной гостиной пустого ночного аэропорта (эта стандартная роскошь, дешевая, бросающаяся в глаза, такая же, как ее во всем мире проектируют строители аэропортов, только здесь в ней было что-то наивно помпезное: мрамор, псевдовосточные ковры, такие, как в цветных проспектах больших универмагов, люстры, стеклянные столики и бронзовые пепельницы), теперь, однако, сидя в глубоких креслах, по-прежнему под слежкой (или опекой) своих конвойных, собравшихся стоя вокруг того, кто, по-видимому, был у них главным, и погруженных в свое постоянное таинственное перешептывание, прерывая разговор, умолкая каждый раз, как один из двух чечеточников вставал, пересекал весь просторный холл своей танцующей походкой, раскачиваясь на ходу, грациозно балансируя запястьем, обвязанным шелковым платком, и одновременно облизывая нижнюю губу синим языком, ненадолго исчезал, потом вновь появлялся, возвращался и садился на диван, где его ждал брат, два их резких голоса снова возникали, начальник сопровождающих вновь обретал хладнокровие, двадцать пар глаз отворачивались, правда, та или другая из молодых переводчиц еще продолжала бросать недоверчивые взгляды в направлении дивана, откуда время от времени доносились необъяснимые, бурные взрывы хохота, два экономиста и средиземноморский дипломат, придвинувшие свои кресла друг к другу, тоже поднимали головы, чтобы взглянуть на чечеточников, один из них, пользуясь этим, незаметно посматривал на часы, потом на группу сопровождающих, все такую же плотную и возвращавшуюся к прерванному разговору, к едва слышному, терпеливому, тоскливому шелестению голосов, делающему паузы при каждом взрыве хохота, помпезный нубийский гладиатор, по-преж-

нему задрапированный в свою тогу, сидел одиноко, с имперски бронзовым невозмутимым лицом, сомкнув бронзовые губы на чубуке трубки и медленно затягиваясь, ночь была все более глубокой, длинные белые фюзеляжи самолетов по ту сторону стеклянной стены оставались неподвижными, никаких приготовлений к полету заметно не было, пока наконец у одной из дверей не возникло нечто вроде движения, и тогда группа сопровождающих рассыпалась, каждый направился к своему из приглашенных, чтобы вести его в самолет)... — а в конце, то ли разорвались облака, прятавшие землю, то ли самолет наконец преодолел протяженность этих черных, без следа жизни одиночеств, но справа показался слабый, постепенно разрастающийся свет, не предсказанный теми изолированными аванпостами, теми рассыпанными искрами, которые обычно окружают города, мало-помалу умножаясь, соединяясь, пока не сольются в одно, нет, это был один монолит, то есть ясно очерченное, закрытое, так сказать, замкнутое на себя пятно, и сам свет не размыт, не окружен ореолом текучего воздуха, но отсечен с той категорической точностью очертаний в засушливых краях, будто инертный, без тех мерцаний и бурлений, без той огненной плавки, на которую похожи города, видимые ночью сверху, но устойчивый, застывший, строгий, посреди или, пожалуй, на окраине темноты (и как оно называлось? в кармашках самолетных кресел не было, как это всюду принято, карт, по которым можно следить отмеченный красным маршрут полета, — только туристические проспекты с изображениями девушек в национальных костюмах на хлопковых полях, цветущих парков, плавков стали и театров из железобетона; должно быть, одно из названий шелков, ковров и куполов — а то и промышленного комбината), медленно плывущий в ночи, одинокий, у подножья — каких? — потрясающих гор, на перекрестке — каких? — потрясающих и невидимых пустынь, салон самолета наполнен носовым звучанием голосов (голоса прибыли из Гарлема, Мадрида или Калькутты, но все говорят на одном и том же языке, на жаргоне, равно используемом белокурами крашеными кинозвездами, грумами в гостиницах и торговцами всем, что только в мире продается и покупается, от автомобилей до брюк в обтяжку, включая алкогольные и безалкогольные газированные напитки), повышающихся, чтобы прорезать мощный свист воздуха по бокам самолета, прорезать толщи черного, ледяного воздуха, потрясающие,

нагроможденные над загадочной лужицей золота, которая продолжала плыть в море мрака, мало-помалу соскальзывая вправо, уменьшаясь, и вот уже снова ничего, темнота, носовой стрекот голосов (легендарный гладиатор в своем легендарном генеральском костюме, собирающийся теперь пожевать ломтики копченого угря или языка, положенные ему на поднос, одновременно объясняя своему соседу (заодно объяснив, что учился в Оксфорде), что он художник, то есть артист, то есть (он оттолкнул поднос, наклонился, порылся в своей элегантной дорожной сумке, извлек оттуда коробочку диапозитивов) он написал портреты всех вождей своей страны, сменявших друг друга, он поднимал к свету изображения мужчин с бронзовыми или эбеновыми лицами, одетых в тот же самый экзотический костюм, стоящих на фоне рассветного или грозового неба, по которому пробегали розовые, пурпурные, огненные извилистые полосы (он не сказал, в Оксфорде ли его обучили заодно такому роду живописи, хотя если учесть стиль (напоминающий портреты в полный рост монархов и принцев-консORTов в парадной форме или в костюме для игры в поло), то это кажется весьма вероятным), те же небеса, те же подпаленные облака (или стяги?) с одинаковым успехом служили фоном для крестьян, склоняющихся над древним плугом, для кузнецов или пастухов), появился второй остров света, тоже справа, такой же монолитный, сияющий тем же устойчивым блеском и, в свою очередь, отплывающий (он (живописец в генеральском костюме), казалось, написал все, что можно было перенести на холст в его стране, он даже рисовал (он показал их тоже на диапозитивах, многословно комментируя каждое изображение на своем идеальном английском, неистощимый, улыбающийся, показывающий ослепительные зубы) почтовые марки – фактуры, объяснил он, неизбежно более стилизованной, где разноцветные те же ткачи, те же гончары и те же пастухи гармонически сочетались в рамках маленьких зеленых, желтых или лиловых прямоугольников с серпом и молотом, тоже стилизованными), потом несколько островков света всплыли, как архипелаг, казалось, теперь медленно возносясь навстречу самолету, потом опускаясь, как на качелях, исчезая, возникая заново, ближе и ближе, гул моторов, изменившееся трение воздуха снаружи, потом огни быстро побежали на той же высоте, что и самолет, очень быстро, убегая, самолет теперь катился, сотрясаемый легкими толчками, еще

замедляя, поворачивая на 180°, наконец замер, и, когда открыли дверцу, внезапный ночной воздух, чистый, свежий – не холодный, нет, свежий, – лампы, освещавшие здание аэропорта, позволяли увидеть на посадочной полосе путаницу темных силуэтов, пятнадцать приглашенных один за другим спустились по трапу, сонные, разбитые, в том полубессознательном состоянии, как у ночных гуляк ранним утром, каждый машинально протягивал руку, ее мощно потрясал в темноте некто, тяжеловесных очертаний и с тяжеловесной головой, он повторял каждому одни и те же тяжеловесные слова приветствия и дружбы, немедленно переводившиеся, и затем голос переводчика автоматически продолжал исполнять свой долг в каждой из машин, где они теперь сидели, с тяжелыми, жгучими веками, отяжелевшими конечностями, не слушая, но слыша вереницу слов, в которых даже не пытались найти смысла, выговариваемых с той смесью упорства, равнодушия и упрямой убежденности, какую можно найти у детей, приученных декламировать стихи, у торговцев подержанными автомобилями или сиделок, приставленных к безнадежным больным, журчанье слабого голоса создавало звуковой фон, чтобы заполнить ожидание (дверцы машин одна за другой давно уже громко захлопнулись, но место водителя оставалось незанятым, цепочка машин все еще неподвижно стояла на посадочной полосе возле самолета с уже погашенными огнями, как если бы путешествие полагалось с обеих сторон, перед отлетом и после прибытия, обвести своего рода широкими полями, таймаутом, и еще под конец (небо на востоке начинало бледнеть) снаружи раздавались восклицания, приказы, в то время как тени в военных фуражках ныряли в головную машину, шофер (по виду резник баранов или укротитель диких лошадей, без галстука, в бесформенных брюках и бесформенном пиджаке) уселся, в свою очередь хлопнул дверцей и включил зажигание), слабый, бесцветный голосок взял тоном выше, чтобы перекричать мотор, а рассвет занимался вовсю, темнота малопомалу, как бы нехотя, отступала, как илистые воды, оставляя позади себя однородную серую грязь, ключья темноты еще задерживались, из них выныривали очертания тополей, высаженных вдоль прямой дороги, по которой катила колонна лимузинов, свет, еще неуверенный в этот час, когда ничто не успело окраситься в цвета, освещал пастухов в степи, верхом на низеньких лошадках, какие-то палисадники по обе стороны

дороги, домики с белеными стенами, с серыми крышами, пейзаж оживал, мало-помалу населяясь (или, пожалуй, уже ожил: желтые огни в окошках, силуэты, бредущие по обочине и уже слипшиеся в длинные очереди на остановках тяжелых автобусов, волочащих брюхо по шоссе), домиков и палисадников становилось все больше, горизонт прорезало нечто хаотическое, изумительное, сначала жемчужно-серое, неясное, подобное скоплению облаков, потом вдруг над тополями, над пастухами верхом на лошадках, над домиками, еще погруженными в полутьму, горизонт был тронут первым лучом, резко заискрился остриями, сторонами, гранями, как алмазная россыпь, отражаясь от снега ледяными, чудовищными, неподвижными огнями; колонна больших легковых машин с милицейским автомобилем во главе теперь проезжала по городу (город, вынырнувший из степи, языком которой сначала был китайский, потом его перевели в первый раз на латинскую письменность, во второй – на кириллицу, где, не считая двух десятков диалектов (диалекты потомков верблюжьих погонщиков, монгольских всадников, горцев, спустившихся с невероятных высот, татарских, афганских, киргизских, туркменских, узбекских караванщиков, давних рабов, новых пришельцев – есть даже, сказал переводчик, немецкая колония...), теперь официально говорили на двух языках и на обоих писали кириллицей), который шестьдесят лет назад был просто поселком (а может быть, даже всего лишь постоянным двором, остановкой на краю бесконечных степей перед переходом через пугающие горы) и в котором теперь насчитывалось около миллиона жителей всех рас, желтокожих и не желтокожих, раскосых и не раскосых (или слегка раскосых, или чуточку слишком скуластых), в этот ранний час можно было увидеть, как они спешат торопливыми вереницами по сторонам громадных проспектов, усаженных деревьями у подножья ажурных бетонных фасадов, как они бредут не глядя вдоль вездесущих плакатов из красного кумача с непонятными приказами, развешенных на скверах и площадях, как втискиваются они в уже битком набитые автобусы (теперь можно было различить, какого они цвета: желтые, помятые, пыльные, выплевывающие позади себя при отправлении клубы черного дыма), останавливаемые милицией на перекрестках, чтобы дать проехать кортежу приглашенных, шины взвизгивали на поворотах, мчась на полном

ходу мимо монументальных сооружений с портиками, с колоннами, с фронтонами, возведенными здесь, в самом сердце чудовищного континента степей и гор, вокруг эспланад, форумов, агор, скверов, все это вышло в таком виде за три тысячи километров отсюда из чертежей какого-нибудь дипломированного архитектора, ориенталиста, мегаломана и филантропа, во славу пламенного медного всадника, статуя которого возносилась на главной площади и который дал этому городу свое имя, похожее на фурчанье трепещущего флага.

Потом, как внезапно выросли из земли, так и кончились эти помпезные архитектурные сооружения, снова оставив место выбеленным известкой домикам, окруженным огородами, и вскоре машины замедлили ход и наконец совсем остановились. И вслед за этим (то есть так, как всегда чувства регистрируют окружающее после бессонной ночи: всё по отдельности, изолированно, в ватной нереальности, в расплывчатом неправдоподобии): на фоне прохладного, жемчужно-серого утра, на крыльце чего-то, что напоминало выставочный павильон (опять что-то бетонное, но облицованное мрамором), – некто толстоватый, одетый в жемчужно-серый костюм, в скромном полосатом, жемчужно-сером галстуке, улыбаясь во весь рот, церемонно кланяясь на азиатский манер, с круглым, плоским, гладким, желтым лицом и раскосыми глазами, тоже говоря на непонятном языке, широким жестом указывая на ступеньки крыльца (и теперь совсем рядом, сияя под первыми солнечными лучами, гигантский слиток снегов и льдов), потом на мраморную лестницу, потом открывая дверь не комнаты, но целой квартиры, устланной теми же восточными коврами из универмагов, уставленной мебелью тоже из универмагов – красное дерево, бронза и кожа, – словно сюда перевезли целый склад, включая торшеры, гофрированные абажуры и столики на одной ножке, из какого-то универмага, специализирующегося в китайских циновках, бронзе и инкрустированных деревянных поделках, шофер (бараний резник) ставит чемоданы путешественника, после чего путешественник наконец остается один, растерянно обводя взглядом стандартную декорацию, букеты цветов, монументальную пирамиду фруктов на одном из столов, одну за другой отворяя двери двух спален, двух ванных, недоверчивый, подобный лунатику. Там была терраса со столом, плетеными

креслами и красно-зеленым лоскутным ковриком. С той стороны занавеса из осенне-желтых тополей, слабо шелестевших листьями, доносился рокот невидимой горной речки. Воздух был сух и спокоен. По другую сторону речки две маленьких фигурки медленно шли по дороге, параллельной ее руслу и поднимавшейся на первые уступы гор, чудовищно вздыбленная земля, чудовищная крыша мира, у подножья которой оставливалась степь, чудовищные нагромождения снегов и льдов слоями чередуются друг с другом, перерезаемы выжженными плоскогорьями, доходя до непригодного для дыхания воздуха, до вершин первого хребта, уже изумительных, без единого деревца, без единого кустика, ярко-рыжих, иссушенных, голых, поразительно тихих, пустынных.

Вдоль стен, параллельных столу, с той стороны, с которой пятнадцать приглашенных обходили его при входе, находились кабины, отделенные друг от друга деревянными перегородками, и в каждой сидел переводчик, синхронно переводивший на тот или иной язык речь генерального секретаря, которой его гости могли внимать при помощи наушников, поначалу, честно говоря (по крайней мере, некоторые из них), обращая меньше внимания на речь как таковую, чем на того, кто ее произносил, с любопытством созерцая лицо, которое с недавнего времени миллионы телевизоров и тысячи фотографий уже сделали привычно-знакомым всему миру: еще молодое, круглое, с тонкими чертами, с умным взглядом (по мере того, как он продолжал говорить с той смесью очарования, твердости, чистосердечия и двуличия, свойственной всякому государственному деятелю, лицо и голос – хотя всё это были голоса переводчиков – в конце концов сливались в одно), со своей лысиной, скромным темно-синим пиджаком и хорошо подобранным галстуком он выглядел последним отпрыском династии гангстеров, который получил воспитание в швейцарском колледже (с той разницей, что он не воспитывался в Швейцарии, но сам себя воспитал, своими собственными силами, в самой гуще джунглей, единственным законом которых были хитрость и насилие – что включало серьезную предрасположенность к обращению как с тем, так и с другим) и, вернувшись на родину после учебы в лозаннском институте, где миллиардеры и гангстеры давали образование своим детишкам, взялся за переориентировку семейного бизнеса в деловые

отрасли с почтенной репутацией, то есть не такие шаткие, не такие наивно грубые и более рентабельные, чем убийства на выходе из баров или массовая отправка на каторгу, – нечто, так сказать, более разработанное и способное котироваться на международных биржах наравне, например, с медленной силикозной асфиксией чилийских горняков или бесшумным уничтожением азиаток на текстильных фабриках, его инстинкт в соединении с наблюдательностью подсказывал ему, что в чем он прежде всего нуждается, хотя бы для вида, так это в определенной респектабельности, которая в первую очередь требует некоторого количества шагов и подходов в негативном направлении или в направлении отказа (например, не требовать воздвижения своих статуй на всех перекрестках, не вынуждать к сочинению поэм в свою честь), в позитивном же (так же, как он, наверно, где-то читал, что ни один техасский миллиардер, каково бы ни было его состояние, не будет принят в элитарный клуб своего города, если предварительно не подарит ему какой-нибудь музей – или хотя бы несколько коллекций) – проявлять, так сказать, бескорыстный интерес к вещам и людям, не представляющим интереса и не приносящим корысти, то есть не обладающим непосредственной властью, притом, наверняка не имея времени прочесть столько книг, чтобы самому составить мнение о такого рода делах (да к тому же вряд ли об этом и заботясь), неизбежно довериться референтам, у которых, в свою очередь, на этот счет были крайне туманные представления, и поэтому они полагались на обычные критерии людей их типа, одинаковые во всех странах, делая выбор почти случайно, почти вслепую, опираясь на (в качестве критериев) слабохарактерность и славу, такую, например, какая порождена тем, что ты чернокожий, или исполнил в кино роль Нерона, или получил завидную международную премию, что и объясняло разношерстность группы из пятнадцати приглашенных, к которым он теперь обращался с той любезностью, той подчеркнутой вежливостью и тем безграничным презрением, которое обычно испытывает всякий человек действия по отношению к тем, кто обоснованно или необоснованно взял себе за профессию мыслить, он, тот, кто одним словом мог развязать апокалипсис, захватить чужую страну, назначать или свергать глав государств, тот, кто тихом, внимательно, осторожно, дожидаясь своего часа, терпеливо продвигался со ступеньки на ступеньку этой иерархии

или, точнее, этого полного опасностей тайного общества, наглухо замкнутого, где малейший промах, малейшая ошибка в расчетах неотвратимо влекли за собой смерть, если не физическую (с некоторого времени в результате своего рода – если можно так выразиться – джентльменского соглашения главари банды отказались от этого способа взаимной ликвидации), то, по крайней мере, смерть всякой надежды, используя свой ум на то, чтобы лавировать между полицейскими донесениями и тончайшими балансами влияний, одобряя нелепые или жестокие решения, смиряясь с нелепым ритуалом протокольного первенства, выжидающий, предусмотрительный, не переставая наблюдать всё вокруг, размышляя о том, как самому дойти до власти, но также, что важнее всего, если он хочет у власти удержаться, о том, как перевести миллионы людей из наследственного сословия тяглового скота в сословие производительных особей и притом обойтись без абсолютной необходимости (он ведь тоже ездил за границу и внимательно наблюдал, как там идут дела) избивать их ради этого или расстреливать, и получалось, что ему не только их (и, наверно, себя первого) надо суметь убедить, но еще и внешний мир, который неуверенно к нему приглядывался, в том, что он ничем не отличается от обычного человека (насколько можно назвать обычными людьми автомобильных королей, королей котлетного фарша или свиной тушенки – но ровно настолько же можно надеяться, что мир нуждается в чем-то, кроме автомобилей, котлет и тушенки), то есть что его пиджак не выпирает никаким подозрительным горбом на том месте, где носят пистолет, и что на посту, который он занял, человек, более или менее похожий на человека, может наследовать веренице бандитов, прямиком вышедших – хочется сказать, единообразно облаченными в мягкие шляпы и негнувшиеся габардиновые пальто – из мрачных глубин Истории, с той разницей, что головы жутких хищных зверей, в былые времена изображавшиеся на гербах и щитах (головы кабанов, лисиц, шакалов, волков, гиппопотамов или крыс) у них были втиснуты между краешком неизбежной фетровой шляпы (или неизбежной каракулевой шапки), надвинутой на глаза, и накрахмаленным воротничком, их глаза, тоже одинаково, по форме уставившиеся в пространство, отсутствующие, пустые, мертвые, примерно столь же выразительные, как пуговики или кнопки, – те же глаза, те же отсутствующие, ничего не выра-

жающие взгляды, как в тот момент, когда, вскоре после смерти бандита-семинариста, они (люди с головами крыс, гиппопотамов или шакалов) приоткрыли зал заседаний, где они собрались, и без единого слова, всего лишь кивком головы, указали остолбеневшим охранникам распростертое на полу тело того, кого они только что убили, — нечто (эпизод — или как это назвать? драма, шекспировская сцена, убийство, казнь? — побоище со свинчаткой в рукавице?..), вытекающее даже не из косноязычия Истории, из ее заикания, но из ее нечленораздельных стонов, — нечто, не дикое или варварское, но совершенно животное, то есть вызванное не расчетом или амбициями, а простым, примитивным инстинктом самосохранения, — и даже не оружием, не кинжалами, даже не дубинками (потому-то они и выбрали это место: потому что никто — даже и тот, перед кем они все дрожали от ужаса, начальник над убийцами на службе у семинариста, — не имел права проникнуть сюда вооруженным или в сопровождении своих людей), а значит, голыми руками, — и как они всё это провели, этого никогда не узнать: один из них, может быть, поджидал за дверью и сразу бросился на него, сгреб его в охапку — или стукнул по голове стулом — или тут же заткнул рот кляпом из носового платка, оглушил половиком (в одном из вариантов рассказывается, что тело унесли завернутым в ковер), другие бандиты со звериными головами в тот же момент кинулись на него, давя его своим весом, целой гроздью, нанося удары вслепую, душа все, что можно было удушить, ломая все, что могло быть сломано в изо всех сил отбивавшемся теле, выкручивая руки и ноги, расплющивая лицо, горло ударами подошв, — и всё это в полном молчании: только хрип, икота, придушенные стоны, — и в конце концов, когда он перестал отбиваться, они поднялись, запыхавшиеся, с еще сотрясаемыми дрожью руками, оправляя одежду, ища на полу свои очки, подтягивая узлы галстуков, ставя по местам мебель, отряхиваясь, совещаясь тихими голосами, в последний раз удостоверяться, что он действительно мертв, и, может быть, в последний раз пиная его ногой, и в конце концов один из них, решившись, шел к двери, распахивал ее и только указывал охранникам труп того, кто несколько минут назад вошел сюда жизнерадостно, может быть, с шуточкой на губах (из того рода шуток, что леденили ужасом тех, над кем он подшучивал: тонкие, ехидные, устрашающие губы, ехидные, умные и тоже устрашающие глаза за элегантным интелли-

гентским пенсне – правильное, аристократическое лицо, одинаково пригодное для великого князя и для завсекцией в универмаге), и с этого момента они продолжали действовать вонне по-волчьи, по-шакальи и по-гиппопотамьи, сокрушая все, что слабо пыталось поднять голову, но в своем кругу осторожные, храня паническое воспоминание о тридцати годах неутихавшего террора и неутихавшей опасности и удовлетворяясь тем, что, предварительно наградив каким-нибудь почетным званием, изгоняли то одного, то другого (сначала гиппопотамы, потом одну-двух лисиц, потом того, у кого была голова пекинской собачки) в глубь непроходимых пустынь, изо всех сил стараясь ничем не нарушить это хрупкое равновесие между грубой силой и философским винегретом, который позволял им принимать военные парады, аплодировать грациозным балетам и подставлять фоторепортерам с трапов самолетов, которые доставляли их на международные конференции, те же лица, всегда замкнутые, недовольные и упрямые, втиснутые между вечными мягкими шляпами и вечными габардиновыми пальто.

И теперь (прошло еще немногим больше года с тех пор, как предыдущий генеральный секретарь был предан земле, с тех пор, как транслировались по всем телевизионным станциям мира (этой страны и соседних, вассальных либо в той или иной степени подчиненных, – целиком, с начала до конца) кадры нескончаемой церемонии, с тех пор, как миллионы мужчин и женщин, восхищенных или любопытствующих (или попросту равнодушных, быстро утомившихся и повернувших ручку), имели возможность видеть последний парад, гроб, волокущийся вдоль нескончаемого маршрута под серым небом по улицам столицы, – открытый гроб, который позволял углядеть посреди навала цветов дряблое лицо, увенчанное седыми волосами, прядь которых иногда шевелил ветер, погребальную колесницу окружали шесть охранников (по три с каждой стороны) или, точнее, шесть великанов, шесть отборных офицеров, способных не слабея на протяжении километров выбрасывать на каждом шагу высоко перед собой напряженные, прямые, обутые в сапоги ноги, и сами-то прямые, как автоматы, под медленный ритм сто раз начинающегося заново романтического похоронного марша, – прошло еще немногим больше года (но казалось, что это было уже так давно) с тех пор, как вдова склонилась (или, пожалуй, ей

помогли склониться, поддерживали: она и сама была старуха) к лицу с закрытыми глазами, чтобы поцеловать его в последний раз, перекрестить перед тем, как закроют крышку, однообразные, нескончаемые, марширующие мимо гроба шеренги солдат с примкнутыми штыками, их параллельные лица, параллельно повернутые направо, а с другой стороны площади (площадь, бескрайняя, вымощенная брусчаткой пустыня, слегка выпуклая, голая, без единого фонтана или статуи, без каких-либо иных украшений, кроме как на одной ее оконечности – каменного возвышения, где подвергали пытке осужденных, да церкви с пестрыми луковками, витыми, чалмообразными или гранеными, как алмазы, мостовая, которую топтали крестные ходы длиннобородых священников, одетых в золото, машущих кадилами, поющих псалмы густыми голосами, дойдя до которой развеялись славолубивые мечты завоевателя, окруженного маршалами в пышных перьях, орлами и армией, говорившей на всех языках Европы...) выстроенный в ряд почетный караул, безоружные, выглядящие юно, как школьники в выходных костюмах, трижды издав прощальный выкрик, заглушенный музыкой, которая не переставала играть, так что были лишь видны сотни беззвучно, как у рыб, раскрывавшихся и захлопывавшихся ртов, каждый раз испускавших (надвигалась зима, и уже было холодно) слабые облачка пара, бюст нового генерального секретаря теперь отрезался парашютом наверху куба из красного мрамора в том месте, где до него стояло столько стариков, обрамляемый бюстами самых высших чинов, и среди них, прямо по его левую руку, глядя на него, человек в меховой шапке, с задумчивым, потрепанным лицом, с видом усталого старого волка (пожалуй, и не такой уж старый – просто потрепанный; и не слишком озабоченный – просто задумчивый), а новый генеральный секретарь, с непокрытой головой, со своей лысиной, с поразительно юными, почти кукольными чертами лица, изучаемого и оцениваемого миллионами мужчин, женщин, дипломатов, журналистов, акушеров гипотез)... и теперь, сидя в конце этого стола, который напоминал стол заурядного административного совета компании на паях или без паев, международного или не международного банка, с поверхностью, навощенной до зеркального блеска, со стаканами и бутылками минеральной воды, в

зале с голыми стенами, без единого портрета, будь то его предшественников или его собственный, он...

В течение всего времени, которое они провели у подножья исполинской горы, они непрестанно слышали горную реку. Она была здесь, невидимая, скрытая в ущелье, где росли тополя, недостижимая, по ту сторону высоченной решетки, которая окружала парк с роскошными дачами, и по ее шуму, неустанному, яростному шипению, можно было ее вообразить, пенистую, с бурлящей водой, бесконечно скатывающуюся, пробившуюся где-то из какого-то фантастического ледника и наконец вырывающуюся на равнину (равнина, иссушенная степь, где ей предстоит исчезнуть) после того, как она преодолела тесные горловины, перекатилась с порога на порог, все еще яростная, отфыркиваясь, потрясая своей водяной, исчерна-серебряной гривой, без конца переплетая свои текучие косы, кипя так, словно от старой, чудовищной горы безостановочно доносился в виде глухого мычания голос какого-то чудища, какого-то издевательского оракула, равнодушного, хранящего некую тайну без тайны.

Мало-помалу они в конце концов привыкли как друг к другу, так и к своему положению, то есть не следили больше обалделым взглядом за раскачивающейся походкой старшего из чернокожих пасторов и не больше удивлялись его шелестящим шелковым шейным платкам и синему языку, чем черной икре у себя на тарелках с самого утреннего завтрака, более или менее желтокожим служителям в жемчужно-серой форме с ослепительно белыми манишками, в галстуках бабочкой и стоптанных ботинках, кидавшимся менять их приборы, наливать чаю или предлагать варенья (или, наоборот, когда самолет доставил их обратно из глубин Азии и они вновь оказались в выцветшей роскоши гостницы, – сонным официантам, тоже выцветшим, исчезавшим на целый час, – но они и к этому привыкли: ждать – ждать отъездов, собраний, церемоний), не удивлялись больше и поразительной словоохотливости хозяев, длине их речей, взывающих (насколько можно было уловить их смысл сквозь неуверенный шепот переводчиц) то к мудрости старых пастухов, то к легендам о горных духах, то к священной ауре озера, окруженного скалами, именем которого была возвышенно названа их встреча (однажды их свозили туда на самолете – маленьком самолетике с двумя пропелле-

рами, салон которого был похож на гостиную: гостиная для бизнесменов или миллиардеров, с пушистым ковром, с сиденьями, обтянутыми суровым полотном, с занавесочками в складку, тоже из сурового полотна, по бокам иллюминаторов, сквозь которые видно было, как величественно скользят внизу, медленно поворачиваясь вокруг собственной оси и по очереди показывая свои головокружительные лики, ужасающие вершины, ужасающие ледяные откосы, искрящиеся воплощения одиночества, в то время как внутри комфортабельной гостиной раскатывались – совершенно нереальные – громкие взрывы смеха при каждой шутке кино-Нерона (русский по происхождению, натурализованный англичанин, проживающий в Швейцарии: не переставая говорить, так что ни голос, ни красивое, слегка жирное лицо римского императора не выдавали ни малейшего перехода, он выпил стакан водки – не рюмку, а стакан, один из тех, что поднесла им стюардесса, – одним духом и поставил пустой стакан на поднос раньше, чем она успела повернуться хотя бы еще к одному из приглашенных, фраза, начатый рассказ (он только что вернулся из поездки по приглашению в Китай, комически подражал тамошним горловым голосам и ошибкам в английском языке) продолжались в том же регистре, словно он всего лишь перевел дыхание или проглотил слюну, а не сто пятьдесят граммов сорокаградусной, язвительный, неронический и столь же величественно британский – на что способен только русский, став англичанином, – как его волнистая серебряная шевелюра, его рубашка, шитая на заказ, его запонки и костюм, скроенный из ткани, которую можно найти лишь в Лондоне у портного с Сэвилл-роуд).

Они (пятнадцать приглашенных) проводили свои собрания (точнее, их собирали, сажали, а потом они ждали) в глубоких креслах, расположенных полукругом, на вершине которого восседал крепко сложенный мужчина с плотным лицом горца, с жесткими, стриженными ежиком волосами, который встретил их ночью в аэропорту. В первый день он говорил долго, тоном серьезным, торжественным и уместным к случаю, наморщив брови, выдерживая паузу в конце каждого предложения, чтобы дать время переводчицам, переворачивая листы с текстом своей речи, в которой мешались воспоминания юности, пословицы стариков-горцев, ссылки на египетские пирамиды, на романы Достоевского, на чудеса Венеции, на Шекс-

пира, а также его пожелания мира миру на близящейся заре двухтысячного года. Потом он замолк, откинулся в кресле, скрестил вытянутые ноги, оперев локоть на ручку кресла и подперев рукой голову, и с видом почти обиженным, оскорбленным слушал аплодисменты, которые раздались раньше, чем умолкли голоса переводчиц, заканчивавших переводить его последнюю фразу, повысивших тон, чтобы перекричать аплодисменты, резкие, упорные, пока все не прекратилось и рокот горной реки, эхом отражавшийся от хребтов по обе стороны долины, казалось, вновь накатил, наполняя тишину своим терпеливым и вечным журчанием.

И они (пятнадцать приглашенных) привыкли и к этому. То есть привыкли не слушать жалобные и упорно стремящиеся к цели голоса переводчиц, сидящих позади их глубоких кресел и, склонившись к спинкам, нашептывающих им в уши вереницы слов, лишенных смысла, запинаясь, извиняясь, вновь продолжая, в то время как они глядели в открытые окна на то, как дрожат под солнцем листья изо дня в день оголяющихся тополей, бледно-зеленые, потом желтые, золотые, отрываясь, медленно кружась и падая в спокойном воздухе, или как внезапно налетевший ветерок уносит их иногда наискось, сотнями, словно снежные хлопья. Иногда тот или другой наклонялся к соседу через широкие подлокотники, тихим голосом заводил разговор, две головы сближались, — или делал записи — или делал вид, а сам писал письмо, подписывал открытки, — потом снова утопал в кресле, молча, в сотый разводя глазами по узору лжеперсидских ковров.

В течение целого часа однажды вечером (уже стемнело, но, поскольку в комнате было жарко, один из них попросил отворить окно, и их ушей вновь достиг величественный и равнодушный серебристый рокот реки) они слушали, как один из хозяев захлебываящимся, торопливым, полупридушенным голосом (Нерон, одетый портными с Сэвилл-роуд, уверял, что они так много говорят, чтобы оправдать вложенные деньги, чтобы, поделив затраты на возможно большее число слов, снизить цену каждого из них до приемлемой для бухгалтерии) уговаривал пятнадцать приглашенных написать свои имена на хрустальных кубках, из которых потом будет воздвигнута пирамида, подняться с факелом на горные вершины и построить дворец, где соединятся все народы земного шара. Они выслушали художника, одетого по-генеральски (по правде гово-

ря, кроме как для особых случаев – приемов или фотосъемок, – он сменял свой поразительный костюм на фланелевые брюки и элегантный клетчатый пиджак, купленный, несомненно, там, где его одновременно обучили говорить по-английски и писать картины по-английски), тоже наделенного неутомимой способностью говорить, лиричного, вращающего глазами на бронзовом лице, многословного, легко нанизывающего фразу за фразой, с его чистым оксфордским выговором и слегка оплывшей маской гладиатора, инфантильного и неистощимого, в то время как человек с головой горца то и дело менял позу в своем председательском кресле, по очереди подпирал тяжелую голову то левым кулаком, то правым, потом откидывал назад, прислоняясь затылком к спинке кресла, возводя очи к потолку, опять вытянув и скрестив ноги, сложив руки на высоте низа живота, потом, словно вдруг проснувшись, уселся по струнке, повернулся налево, сделал знак рукой с поднятым указательным пальцем (как щелкают пальцами, чтобы привлечь внимание официанта в кафе или прислуги), прибежал начальник переводчиков, председатель (сидя теперь совсем сбоку, левую руку перекинув через спинку кресла, левым боком прижавшись к спинке, подвернув под себя одну ногу, повернувшись спиной к гладиатору, который продолжал речь) вполголоса переговаривался со своим собеседником, тот (начальник переводчиков – кругленький, жизнерадостный, благожелательный, с полным, как у метрдотеля или комиссара полиции, лицом) выпрямился, затем по кругу тихонечко, на носочках, сзади обошел кресла, пока не дошел до кресла средиземноморского дипломата, склонился к его уху, дипломат слушал и кивал головой, встал, обошел по кругу свое собственное кресло, потом, следуя за начальником переводчиков и ступая, как он, на носочки, в обратном направлении пройдя по тому же кругу до председательского кресла, занял по его приглашению место на одном из отставленных в сторонку стульев, придвинув его; председатель, низко склонившийся начальник переводчиков и дипломат – все трое переговаривались вполголоса (и в какой-то момент гладиатор, казалось, что-то заметил, заколебался, бросая взоры в направлении этих троих, почти был готов остановиться, его голос замедлился, сник, тогда дипломат, мотнув подбородком, привлек к нему внимание председателя, председатель обернулся к гладиатору, бурно кивая головой и маша рукой в знак одобрения

и ободрения, и снова принялся за свои перешептывания), теперь уже с листком бумаги в руках начальник переводчиков переводил ему текст, который и дипломат тоже вынул из кармана, тяжелая голова горца с полуприкрытыми глазами медленно покачивалась вверх и вниз, потом он вдруг поднял руку, прервал начальника переводчиков, протянул ему, постукивая по ней согнутым указательным пальцем, бумагу, которую держал, и сделал знак, чтобы тот перевел текст дипломату, тут вдруг раздались аплодисменты, гладиатор принялся собирать свои бумажки, движениями головы изъясняя благодарность, смущенно улыбаясь, со взглядом, как у фигур, которые мы видим на картинах религиозного содержания, в экстазе возводящих очи горé, обнаживших белки, председатель живо повернулся в кресле, тоже аплодируя, дипломат, чтобы аплодировать, запихнул бумагу, которую держал, между колен, блицы фотографов вспыхивали один за другим, председатель посмотрел на запястье, который час, и подождал, пока всё успокоится, чтобы предложить небольшой перерыв перед очередным оратором.

Их фотографировали и на открытом воздухе, слегка ослепленных, мигающих от солнца, перед зданием, название которого, переведенное с китайского, золотыми буквами было выписано на его фронто́не. Их фотографировали с лопатой и лейкой в руках, изготовившихся притвориться, что они сажают по символическому дереву с табличкой у подножья, сообщающей их имена, на газоне, простиравшемся перед городской библиотекой (что касается города, то это не была агломерация, медленно сформировавшаяся с течением времени, последовательным почкованием, начавшись с перекрестка дорог, рынка, цитадели, места товарообмена или молитвы, с узкими улочками в центре, базаром, развалинами крепостных стен, — нет, это было нечто, будто одним махом вынырнувшее из небытия либо из некоего прошлого — караван-сарай, мечеть, крепость или хижины, — превращенного в небытие ударами бульдозеров, дабы воздвигнуть на его месте то, что архитекторы, выпускники архитектурных факультетов, и градостроители, выпускники градостроительных факультетов, называют сегодня городом, таким, какие вырастают (выпускаются с конвейера) примерно по штуке в сутки на всей поверхности земного шара, и этот, не более и не менее безобразный, не более и не менее абсурдный, чем Лагос, Мехико или

города департамента Валь-де-Марн, тем лишь отличался, что в его случае компьютер, по-видимому, был запрограммирован на выдачу колоссального и помпезного: нечто уже мертвое прежде рождения, скоростным способом изготовленное из полуфабрикатов (бетон, колонны, мраморная облицовка и деревья в том числе) какой-то специально для этого задуманной гигантской машиной, каким-то электронным мозгом, автоматически расставляющим (как на этих маленьких светящихся экранах, где резкими скачками, резкими фрагментами, зажигающимися и последовательно соорганизующимися, составляют суммарные картинки) жилые кварталы, нежилые кварталы, в которых, тем не менее, живут, административные кварталы, кварталы для разных учреждений, кварталы для туристов, и всё это вокруг театра оперы и балета, библиотеки (наполнить содержимым), концертного зала, музея (наполнить содержимым), Дворца Съездов или Народного Дома, ансамбль, дополненный с фланга, в зависимости от местной топографии, стадионом или аэропортом – тем, на который они прибыли, откуда они смогли увидеть, когда их туда привезли днем, как взлетают, словно шершни, боевые вертолеты, выкрашенные серой и темно-зеленой краской).

Иногда их возили туда (в город) по случаю церемоний того же рода, что посадка деревьев, или всяческих приглашений, и они снова имели возможность узреть колоссальные, полупустые проспекты, на перекрестках которых регулировщики в защитных мундирах останавливали при их проезде редкие машины и битком набитые автобусы, тянувшие по мостовой свое брюхо и свой шлейф черного дыма, неотвязные лозунги на красном кумаче с непонятными восклицательными знаками, растянутые в парках и на перекрестках, диковинную оргию порождений бетонно-мраморного зодчества, воздвигнутых на окраине степей, загадочных, выстроенных, казалось, лишь затем, чтобы фигурировать на цветных фотографиях в туристических буклетах рядом с фотографиями сбора хлопка, изделий местного ремесла и сварщиков со своими сварочными аппаратами.

Дачи, в которых их поселили, были расположены в парке площадью в сотню гектаров, в пяти километрах от города, усаженном фруктовыми деревьями и тополями, со всех сторон окруженном непреодолимой решеткой, из которого можно было выйти только через ворота с проходной, перед которой

первая машина кортежа останавливалась, ожидая, пока охранник, тоже одетый в защитный цвет (сержант или, может быть, ефрейтор, с пистолетом в кобуре на боку), который на ходу застегивал гимнастерку, проверит бумаги, протянутые ему шофером, или сделает вид, что проверяет, словно ритуал, обязательная формальность (так же, как и длительные дебаты, в которые он каждый раз вступал с начальником переводчиков – словно всё это: бумаги, дебаты, ожидание – было необходимо, – может быть, для того лишь, чтобы оправдать свою должность, причаститься к некоему обычаю, к тайне; в широко открытое окно вахтенной будки, можно было видеть совершенно голую стену, выкрашенную в тот желтый цвет, который обожают прапорщики и полковники всех казарм в мире, и электрическую лампочку, болтающуюся на конце провода; один охранник, остававшийся на вахте, заметил, что пассажир первой машины глядит внутрь, и выключил свет), ритуал – следовательно, церемониал: лицо сержанта безо всякого выражения, взгляд безо всякого выражения (не инквизиторский, не бдительный, даже не заинтересованный – безо всякого выражения), в то время как кортеж машин, сосчитанных и пересчитанных, наконец трогался и в то время как он (сержант) глядел теперь, как они везут полученных по разнарядке пассажиров, подобных гостям на какой-нибудь свадьбе, включая вершителей таинства брака, двух чернокожих пасторов, сидящих в совершенно одинаковых позах на заднем сиденье своей машины, торжественных, нерушимо спокойных, до подбородка затянутых в строгие черные свитера с высоким воротом, откинув назад темные, эбеновые лица, подобных двум послам, двум епископам какой-нибудь конгрегации или какой-нибудь африканской епархии, которые едут в наемном лимузине с наемным шофером на какой-нибудь экуменический совет; они (пятнадцать приглашенных) были приняты городским советом, то есть двумя десятками широколицых, желтолицых и круглолицых физиономий с раскосыми глазами, сдавленных своими галстуками, торчащих над жесткими костюмами, во главе с мэром города (европеец, еще молодой, стройный, с не бросающейся в глаза элегантностью, с непроизносимым и расхожим именем, способным (как имя) обрести своего владельца с равным успехом на посту городского головы в среднеазиатском городе с миллионным населением, советника президента Соединенных Штатов Америки

или депутата Национального Собрания от департамента с реакционным большинством), и они должны были еще выслушивать речи, выходить из рядов, каждый по звуку своего имени, чтобы их обвязали через плечо красной бархатной лентой, на которой золотыми русскими буквами на двух языках сообщалось, что они почетные граждане; все время предшествующие стаей фотографов, пятящихся назад и сверкающих бликами, они должны были также посетить библиотеку, перед которой притворялись, что сажают молодые деревца, подняться по торжественным лестницам, рассестись за столами, на которых были расставлены чаши с фруктами и пирожками, пить чай чашку за чашкой, пожимать руки, улыбаться. Мэр устроил банкет, и во время речей они обменивались, сравнивая их, фарфоровыми тарелками, на которых были изображены нежно обнимающиеся пары женщин, на античный манер одетые в бледно-лиловое или бледно-зеленое, вокруг которых порхали амуры, снабженные прозрачными, как у стрекоз, крыльями, пуская стрелы из позолоченных луков (приборы, бокалы и фарфоровый сервиз с соблазнительными объятиями наверняка были конфискованы по указу у какого-нибудь князя или графа, сибарита былых времен, воспроизведены индустриально, также по указу, на какой-нибудь огромной фабрике – или в одном из цехов того единого гигантского комбината, который выпускал с конвейера городá, запроектированные компьютером, включая колоннады, фрески, статуи, столовые сервизы, кофейные чашки и сахарницы, развозимые потом целыми товарными составами по всем республикам Союза вплоть до самых захолустных, в глубину пустынь, в глубину лесов, где почва никогда не оттаивает, к подножью легендарных гор, и расставляемые обливающимися потом официантами (в банкетном зале было жарко, и тоже пришлось открыть окно – но в городе не был слышен рокот горной реки) перед застольем членов горсовета, отдаленных цивилизованных (или прирученных) потомков чингисханов с плоскими, желтыми лицами, осененными застывшей улыбкой, невозмутимыми, непроницаемыми, такими же невозмутимыми, как картонные маски, поверх их галстуков и их строгих костюмов, тоже сшитых из материи, напоминающей картон).

И в течение всего этого времени (кроме как во время банкетов, где они (переводчицы) ели на краешке стола, так что

они (приглашенные) не обязаны были притворяться, что слушают их, и им оставалось только ждать, глядя в тарелки, пока чередовались бесконечные речи, приветственные, благодарственные, выражавшие пожелание мира между народами; а однажды (это произошло позже, когда они вернулись в столицу и их повезли осматривать монастырь за городом, – и тот же кортеж черных автомобилей, мчащихся на полной скорости, и те же регулировщики в защитных мундирах, останавливавшие движение на перекрестках – на этот раз шоссейных дорог; леса, рощи, уже заканчивавшие сбрасывать листву, нагие под осенним солнцем (солнце, уже низко над горизонтом, не торопясь в этом нейтральном промежутке, когда, прежде чем на месяцы покрыться снегом, сжаться в железной хватке льда, серебристые стволы берез, казалось, старались воспользоваться последней передышкой и в последний раз просиять в свете дня на ковре из палых листьев), так вот, один раз (и еще банкет, и еще речи или, точнее, бесконечный диалог, где только двое отвечали друг другу (спорили друг с другом) на своем непонятном языке, то шелковом, то стонущем, то ярком: их недавний хозяин (человек с массивной головой горца) и чернобородый монах (архиерей, епископ, *старец*?), оба наделенные этой сказочной, прямо-таки оргиастической словоохотливостью, оба терпеливо друг друга слушая, ожидая, отвечая на поток слов потоком слов, американец (он был не только вторым мужем первой красавицы света, но еще и писал популярные пьесы на популярные сюжеты, как, например, самоубийство – некоторые утверждали: хладнокровное убийство секретными службами – живой куклы с чудными плечами, с грудью, словно два плода, с младенчески хриплым голосом) порылся в карманах, вытащил записную книжку, вырвал листок, быстро зачиркал карандашом, потом невозмутимо, так что ни один мускул не шевельнулся на его сухом, костистом лице, продвинул листок по скатерти, толкнув локтем своего соседа (сосед, вырванный из дремоты, разминая на стуле сведенное судорогой тело, опутив взгляд, прочел на маленьком бумажном прямоугольнике слова: «They contempt us» («Они нас презирают»)... итак, в течение всего этого времени (пока они посещали библиотеки, сажали деревья, из вежливости надкусывали фрукты, поставленные перед ними, пили бесконечные чашки чая, принимали знаки отличия), в течение всего этого времени их преследовали, за ними охотились жа-

лобные, измученные и стойкие голоса переводчиц, которые одним и тем же тоном переводили загадочные речи, декламировали распорядок дня на завтра, трогательные своей навязчивостью, благими намерениями, убежденностью и той примитивной манерой речи, какую используют, обращаясь к кретинам и четырехлетним детям или приручая животное, пока наконец вечером, вернувшись в свои базарно-роскошные апартаменты, наконец-то одни, они могли сесть, тоже обессилив, и так сидеть некоторое время, потом поднимались, отворяли окна на величавую ночь, выходили на террасу и оставались там, вдыхая недвижный воздух, слушая безмятежный ропот бурной реки, шорох последних листьев на невидимых в темноте тополях: легкая дрожь, шепоток, тишина.

...а теперь он (генеральный секретарь – или, точнее, переводчики, сидевшие в кабинах вдоль стены, параллельной длинному столу, – теперь это были не женщины с усталыми, спотыкающимися, жалкими голосами, но мужчины, и каждый из приглашенных мог слышать в наушниках на своем языке их уверенные речи, дублировавшие самое по себе уверенную речь генерального секретаря, говорившего не глядя ни на кого из них в отдельности (ни на одного из пятнадцати приглашенных, сидевших – семь по одну, восемь по другую сторону стола, вся роскошь которого состояла в бутылках с минеральной водой, пятнадцать приглашенных, о которых его референты ему сказали (или кто-то сказал его референтам), что каждый из них в своей стране важный человек (или уже «наш человек» – или слабохарактерен – или податлив на лесть), и только это его (генерального секретаря), и интересовало, хотя он и считал нужным (его референты сочли нужным) потерять (заставить его потерять) два часа своего времени (он, имевший не так уж много лишнего времени, мог не только уничтожить добрую половину земного шара, но еще и отдать приказ ефрейтору выключить свет в вахтенной будке, где ничего нельзя было увидеть, кроме крашеной желтой стены, и послать вертолеты обстреливать из пулеметов горцев, вооруженных кремневыми ружьями) в обществе людей, которые только и умели, что сочинять книги, играть в кино, писать портреты в английском стиле или издавать экономические трактаты (и, вероятно, его собственный опыт в области экономики заставлял его относиться к этим последним как к еще более ничтожным, чем

остальные, – если забыть об их влиянии, конечно, не на законы рынков, а вытекающем из их авторитета); однако у него не было выбора, надо было обходиться теми, кто оказался под рукой, вплоть до пасторов-методистов и гладиатора, наверняка взвешивая их на глазок во время речи, то есть прикидывая, оценивая то бесплотное, неуловимое и вредоносное нечто, всегда источаемое аудиторией, будь она сведена, как в этот раз, до пятнадцати персон или доведена до масштаба толп, опираясь при этом не на то, чему он научился (чему он мог бы научиться) в лозаннском колледже, куда его нога не ступала, но на то знание, которым в этих делах он сумел обзавестись в ходе одной жизни (одной карьеры), тоже неуловимое, то есть в том случае, который занимал его в данный момент, на знание (интуицию) того более или менее благожелательного отношения, которое уже могли питать к нему пятнадцать приглашенных, в течение недели подготовленные при помощи черной икры, лососины и копченого языка (не считая епископа и звезды балета) к привилегии сидеть за столом, с конца которого к ним доброжелательно обращался один из двух самых могущественных в мире людей, к привилегии, чести, ради которой клиент Сэвилл-роуд не поколебался, пренебрегши усталостью (из-за которой он, правда, пропустил епископа и престарелую балерину), одним махом пролететь из глубин Центральной Азии до своего приемного отечества или, точнее, до той страны (гостеприимная Швейцарская конфедерация), где по причине личных удобств он жительствовавал и где у него было срочное дело, потом, опять одним махом, вернуться (всё за двое суток и точно к нужному моменту), чтобы сесть с остальными четырнадцатью приглашенными за стол, уставленный минеральной водой; итак, генеральный секретарь лицом к лицу теперь, занявшись их переобучением, с причудливым набором профессий и рас, составленным его референтами (там был и индеец, однако в темном европейском костюме, – что касается желтой расы, то среднеазиатский Толстой, который последовал за своими гостями в столицу, служил если не представителем ее, то, по крайней мере, посредником...), и (поскольку четыре дня назад он уже выложил свой грозный арсенал на покерный стол, с другой стороны которого ковбой с ослепительными зубами прочно сидел на не менее грозном арсенале – и каждый, разумеется, ловко прятал лучшую карту в профессионально-шулерском рукаве – не

говоря уже о двух револьверах, небрежно направленных под столом в живот партнера), не вооруженный теперь ничем, кроме своего личного обаяния, усиленного престижем генерального секретаря; и он, несомненно, уловил это (то есть эту смесь обласканного тщеславия, почтения или даже восхищения, любопытства или даже доверия, выжидания или даже одобрения), так же, как он, должно быть, улавливал на последовательных этапах своей карьеры противоречивые сопряжения амбиций и лени, трусости и храбрости, предательства и верности, глупости и мошенничества, на которых он играл, поочередно делая ставку то на одно, то на другое, и, достигнув теперь этого положения, которое – под прикрытием общеобязательного словаря и положенных цитат в поддержку – позволяло ему фактически впадать в настоящее отступничество, выговаривая своим благожелательным, ровным голосом фразы, любая из которых тридцать лет назад стоила бы ему, по приговору суда или без оно, немедленной пули в затылок, а еще два года назад – отправки сгинать живьем в какой-нибудь ледяной пустыне или, в лучшем случае, в сумасшедшем доме, вид у него сейчас был такой, как бывает у человека, который, успешно пустив в ход локти и протиснувшись в первый ряд толпы, вдруг увидел нечто, тут же заставившее его затормозить, упереться обеими ногами, раскинуть руки, в позе человека, прижавшегося спиной к выпучившейся, пошедшей трещинами стене, пытающегося если не остановить, то хотя бы замедлить, сдержать, отклонить неимоверный натиск массы в движении (если только можно назвать движением усилие остаться неподвижным посреди всеобщего движения), которое продолжалось лишь по инерции, кое-кто в передних рядах ему, быть может, подражал, в то время как напивавшие сзади, аморфные и сонные, продолжали сосредотачиваться, давиться, сгущаться, так что не только револьвер отставного ковбоя с пулей, посланной в ствол, был направлен ему в живот, но еще и другой, тоже с пулей, посланной в ствол, упирался ему в спину, что он, кстати, и сказал, хотя, разумеется, не такими словами, своим пятнадцати гостям, но пользуясь (все с той же двусмысленной смесью искренности и лицемерия, свойственной государственным деятелям) тем же общепринятым словарем, освобожденным, однако, от той напыщенности, которая, казалось, для его соотечественников...

И на протяжении двух долгих часов в трапезной монастыря – или, по крайней мере, в зале, где был поставлен стол для обеда, которым угощал епископ, – или, по крайней мере, обеда, на который согласился епископ – или был вынужден согласиться, что обедом угостят в монастыре и что он его возглавит (епископ и монастырь вместе со священным горным озером, прославленной звездой балета и сокровищами царской династии входили в число развлечений, отобранных для пятнадцати приглашенных, как если бы (кроме озера – даже если скрытая целительная сила, которую ему приписывали древние легенды, позволяла и его рассматривать как наследие прошлого...) хозяева считали, что ничего лучше не придумают для их развлечения – или наставления, – чем черпать в своих запасах старья (фольклор, престарелая балерина, старинные алмазы величиной с орех – вдобавок, кто-то (американец?) сказал потихоньку, что они фальшивые, а настоящие все были проданы шестьдесят лет назад на рынках Лондона и Амстердама, чтобы купить зерно для голодающих: единственное ювелирное изделие, которому можно было приписать некоторую подлинность (в подвале, за бронированными дверями, под стражей, вооруженной кортиками, где их заставили оставаться больше часа и созерцать сквозь тоже бронированные стекла короны, тяжелые ожерелья и диадемы с радужно-ледянистыми переливами), состояло в карте Союза не меньше полутора метров в длину, полностью выполненной из подогнанных друг к другу алмазов, огромная, массивная территория с рваными краями, огромный монолит степей, ледяных или жгучих пустынь и великанских гор, с захватом своих последних колоний распростершийся на половину Европы, а с прежними – почти на половину Азии, который вгрызся бы и в американский континент, если бы скупой император не продал эту часть (точно так, как продают каменистое поле, луг без травы или бесплодную пустошь наивному соседу, который в этом случае был – или собирался стать – доходным горнорудным концерном, котирующимся на Уолл-стрите), сияющий, как ледяной припай, как тот лед, что зимой спаяется, плотно набьется в его бухты, его трещины, зажмет, как в тиски, его мысы и острова, словно фантастическая протяженность земли, покрытой склеенными алмазами, вся целиком находится в подчинении у (лишенная движения, затянута, скованная им) чудовищного феномена оледенения, сохраняющего нетрону-

тыми – а то и годными в пищу – тела гигантских мамонтов, гигантских видов животных или людей (как семинарист), исчезнувших и сохраненных мерзлотой ради будущего просвещения палеонтологов, школьников и любопытных)... итак, зал (нет, не монашеская трапезная – комната со стенами, обшитыми сосной до высоты человека, а выше голыми, выкрашенными нейтральной эмалевой краской, украшенными лишь иконой с золотым фоном, цветной репродукцией «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и лезущей в глаза картины маслом, изображающей Христа, заросшего белокуроыми волосами, отводящего одной рукой ворот ядовито-голубой туники, чтобы перстом указать на ядовито-розовой рубахе золотое пылающее сердце), источающий тот неопределимый запах плесени и прогорклой плоти, обреченной на девственность, который, кажется, на всех широтах застаивается в тех местах, где объединено какое угодно человеческое сообщество, живущее в воздержании и молитве, пропитывая даже стены (мужчины, одетые в платья, как женщины, их длинные черные юбки, источающие из складок тоже нечто одновременно мрачное, трупное и несколько карнавальное, как маскарадные костюмы, исполненное гордыни, высокомерия и нарочитости внешнее проявление этой мертвецкой, свойственное пророкам, слугам Божьим и евнухам, – то же самое и подавальщицы: не юные послушницы, как можно было ожидать, но пять-шесть тоже бесполох, безвозрастных существ, тучных и мужеподобных, похожих на тюки, ходящих туда-сюда с лицами из топленого сала, пряча за тихим шелестом накрахмаленных фартуков бедра из топленого сала, вульвы из топленого сала, обреченные на вечную, набожную и терпкую девственность), и вот еще что: над негромким побрякиваньем вилок и ножей два голоса (с одной стороны епископа – *старца?* – человека еще не старого, самое большее лет пятидесяти, толстощекого, с черной раздвоенной бородой, с густыми черными волосами, связанными в пучок, а с другой – Толстого, прилетевшего из Средней Азии), чередующиеся, отвечающие друг другу, оба спокойные, но оба равно отмеченные тем же страстным, сдержанным пылом; это был и не диалог, цепь сравнительно длинных или сравнительно кратких реплик, но дискуссия или даже диспут на их языке, подобном меду, смешанному с цветными карандашами, в котором каждый терпеливо ожидал, пока другой кончит, чтобы заговорить (или, скорее, в свою очередь

произнести речь), слуга Божий со взглядом, бросавшим молнии из-под густых и черных юпитеровских бровей, строгий, невозмутимый, едва поворачивавший голову к своему собеседнику, когда тот брал слово, и затем продолжавший говорить, уставясь в пустоту по ту сторону своей тарелки, – и тогда: собственно говоря, не младенческий крик или заикание Истории, но ее косноязычие, нечто подобное тому, что можно видеть на старинных миниатюрах с полями, украшенными орнаментом из переплетенной листвы: два возвышения с двумя рядами епископов лицом к лицу, одетых в митры, собравшихся в какой-нибудь базилике Малой Азии или Германии, чтобы обсудить ту или иную схизму, тот или иной догмат или низложение Папы; и не тот мир, который они (пятнадцать приглашенных на пятнадцати стульях, забытые, никому не нужные, с мучительно затекшими членами) оставили снаружи, выйдя из пятнадцати автомобилей, которые на полной скорости везли их, как сундуки, сквозь березовые рощи, заканчивавшие сбрасывать листву, пока не показалась крепостная стена, над которой, словно кипящее золото, сияли десятки луковиц и колоколен, вырезанных на подернутом дымкой небе, – продолжая слушать епископа и его собеседника, далее ведущих эту, так сказать, литургическую переключку, этот двухголосный речитатив – опять-таки как церемониал, как ритуал, тоже лишенный смысла, но скрупулезно соблюдаемый, – американец вновь наклонился, взял листок бумаги, на котором несколько раньше написал: «They contempt us», перевернул его и быстро нацарапал на обороте: «Just think is an informal meeting» – и снова подтолкнул к тарелке соседа, со словом «informal», подчеркнутым дважды, причем нижняя черта проведена раздраженным, неистовым карандашом, на конце порвавшим тонкий листок, и одновременно говоря уголком рта, произнося: «Yes: informal. As you can see», не поворачивая головы, невозмутимый, шевеля затекшим телом, по-иному усаживаясь на стуле, перекладывая ногу на ногу, потом снова неподвижный, с деревянным лицом безо всякого выражения, обхватив правый локоть левой ладонью, а правой, свойственным ему жестом, пощипывая кончик носа, – «Yeah? – сказал он позже. – Yeah!..» (пятнадцать приглашенных теперь шли, разминая затекшие ноги, по плитам площадей между храмами – некоторые (самые старые) были попросту побелены, стены и порталы других украшены изобилием карнизов, капителей,

колонн, по которым вились лепные листья, выкрашенные розовым, миндально-зеленым, охрой) – «М-м-мда, вы не видели этот фильм? Это фильм, который они сняли сами (не монахи, но один человек из их официального кино – что не помешало запретить его, но потом они в конце концов разрешили его показывать). Дело происходит не знаю когда – по-моему, когда они начали строить первые церкви, – и те же самые бородачи, те же певчие, каких мы слышали сегодня утром на богослужении, куда нас водили, и типы, которые галопом приносились из глубины не знаю уж каких степей, косоглазые, с висячими черными усами, и галопом врывались в церкви, кнутами хлестали всех этих людей, стоящих на коленях, или топтали их копытами, рушили иконы, пьянствовали, забрав вместо кубков дароносицы, привязывали одного из этих бородачей за ноги к конскому хвосту и – поехали!.. После чего, когда те отправлялись восвояси, другие (я хочу сказать, бородачи) отстраивали свои церкви с еще большим количеством позолоты (потому что умели выжимать золото с мужицким потом, знаете ли), писали другие иконы, отливали новые колокола и снова принимались петь...»

...генеральный секретарь, продолжая объяснять двум чернокожим евангелистам, генерал-художнику, кино-Нерону, президенту клуба экономистов, американцу из Голливуда, элегантному дипломату и другим приглашенным, что он не может смягчить нажим револьвера, приставленного к его спине, прежде чем в известной степени не смягчит угрозу того, что был нацелен ему в живот отставным ковбоем, спрятанного под сукном стола переговоров, – либо наоборот, никакой разницы, в конце концов получалось одно и то же... – либо, может быть, ему было важно только выиграть время, сдержать инертный и слепой толчок, против которого он изо всех сил упирался спиной и раскинутыми руками – либо только не переставать говорить в течение времени, потребного на замену под столом своего собственного револьвера на револьвер большего калибра, пока он силится защитить эту слепую массу от чего-то, что он вдруг увидел, настолько жуткого, чтобы заставить его затормозить всеми четырьмя копытами – но ведь он не лошадь, значит, только двумя ногами, уперев их, как два контрфорса, скользя в пыли подошвами своих элегантных, безупречно начищенных ботинок, аморфное множество, дви-

жимое единственно силой инерции, угрожает в любой момент его перехлестнуть, затопить, промчаться над ним и растопить, даже не заметив, влекомое лишь своей тяжестью, без спешки или злого умысла, медленно, но неуклонно...

Шел снег. Это было, когда самолет привез их с берегов священного озера. Снег шел всю ночь, ложась на первые уступы гор, на деревья в садах, еще покрытые листвой, и их ветви сгибались до земли под тяжестью снега, который также лег шапками на большие выпуклые позолоченные буквы китайского имени, написанного кириллицей на фронте здания, где они собирались, – первый снег, пошедший будто случайно, и еще горячее осеннее солнце растопило его в одно утро, оставив там и сям, в затененных уголках, лишь несколько белых припорошенностей, а на цементной площадке – несколько луж.

Снег не шел (хоть это и было двумя тысячами метров выше) на берегах озера – само озеро было подстать пейзажу, чудовищным горам, чудовищной степи и чудовищному климату (одна из переводчиц сообщила, что на равнине температура летом достигает сорока градусов, а зимой падает до минус сорока...), огромное (озеро), как четыре или пять Женевских, подобное небольшому внутреннему морю, где порой разыгрывались внезапные бури от свирепых ветров, дувших с горных вершин, после чего оно становилось неправдоподобно спокойным, простирая свои безупречно голубые воды, блиставшие на солнце, окруженное со всех сторон ледяными горами. Там был закрытый пляж с деревянной горкой, кабинками для переодевания, трамплином для прыжков и мелким песком, вход на пляж был открыт лишь хозяевам... (но чего? как это назвать? – снова парк, окруженный неодолимыми решетками, по которому были рассыпаны дачи, чуть-чуть менее просторные, но такие же роскошные, как те, что они покинули, тоже обставленные мебелью из цветных проспектов универмагов (красное дерево, восточные ковры, корзины с фруктами в целлофане, сверкающие ванны), сгруппированные вокруг конференц-зала (так что они смогли еще раз выслушать генерал-художника: по-видимому, английский язык, которому его обучили, позволял ему не только писать по-английски картины, но еще и неистощимо говорить на любую тему), где они снова встретили неизбежных переводчиц, более умученных, чем когда-либо (их привезли не на самолете, а в автобусе, по ужасным

горным дорогам), – «А теперь где это мы, по-вашему, находимся? – произнес язвительный клиент Сэвилл-роуд, ходя взад-вперед по парку вместе с двумя другими приглашенными. – Спокойно, а? – он сделал вид, будто недоверчиво оглядывается вокруг: – Наверняка что-нибудь такое, что называется дом отдыха, верно? Что-нибудь... – он вдруг ухватился за руку соседа, сильно сжав ее, вцепившись, словно охваченный паникой: – Эй! Гляньте, какая парочка!..» (две женщины – или прямо две великанши – с ног до головы одетые в белое, в белых шапочках, как у хирургов или медсестер, в белых чулках и белых туфлях, стояли в конце аллеи и глядели на них); «Эй! Вид у них прямо богатырский! Что бы это... Эй! Осторожно! Прием естественный вид! Никаких резких движений!.. В этой стране никогда не знаешь... Они, знаете ли, крайне заботливо относятся к сумасшедшим...», – он продолжал свое шутовство (ему не хватало только тоги, лиры, охваченного пожаром Рима да венка из золотых листьев на волнистой серебряной шевелюре, спадавшей локонами на затылок, как у члена Палаты Лордов или чемпиона гребных гонок), две уборщицы, увидев, что на них смотрят, тут же исчезли (точно так, как сфрейтор погасил свет на вѣхте), словно перепуганные, захваченные на месте преступления, за шпалерой, с ведрами и половыми тряпками; парк в осеннем тепле, на удивление больше сохранивший листву, чем тот, который они покинули двумя тысячами метров ниже, всего лишь позолотевший, приводящий на мысль какое-нибудь опустелое казино на тех курортах, где не в сезон тайно встречаются, скрытые от чужих взглядов, полномочные представители воюющих стран или крупные государственные деятели – или попросту их семьи на каникулах, и их дети могли скатываться с горки, прятаться в кабинках и прыгать в воду с верха трамплина под защитой крепкой решетчатой изгороди; там была также (те же беленые домики, те же серо-голубые крыши, крытые шифером или толем, те же палисадники, где цвели последние гелиотропы) деревня, которую пересек автобус на пути с маленького аэродрома, один из приглашенных спросил, может ли он сделать снимки в этой деревне, переводчица ответила: «Ну, разумеется!..», потом: «Я спрошу...», потом: «Подождите, я вас повезу, я попрошу машину...», исчезая, возвращаясь нескоро, говоря: «Сию минуту, едем!», потом снова исчезая, пропадая еще дольше, наконец возвращаясь и говоря: «Как жаль! Сейчас

обеденное время. Все уже за столом! А я-то вас искала...» – или: «К сожалению, нас ждут на праздник. Вы увидите. Это очень красиво. Это вам понравится. Вы сможете сделать снимки!...»; праздник: двести-триста мужских лиц, гладких или изборожденных морщинами, круглых и плоских, с раскосыми глазами, от загара цветом ближе к меди (или выдубленной коже), чем к желтому, таких, как у тех неутомимых горцев, у шерпов, которых можно видеть на фотографиях гималайских экспедиций, способных нести на спине, обвязав лоб лентой, выучные тюки по головокружительным тропам, здесь они увенчивались шапочками того же типа, что тирольские, но из белого войлока с черными полями, поворачиваясь все вместе, чтобы посмотреть, как над ними устраиваются на почетной трибуне пятнадцать приглашенных с охапками цветов в руках, отвечая аплодисментами на аплодисменты, возносившиеся к ним из толпы зрителей в шапочках, усаживаясь, кладя куда придется громоздкие букеты и открывая программку, которая обещала показ лошадей, борьбу, бега; небо медленно затягивалось: слой облаков, словно вуаль, выше самой высокой горы, туманный, плоский, неподвижный.

...благожелательный голос генерального секретаря на мгновение окрасился легкой, язвительной иронией, а его улыбка – хитростью, чтобы сказать пятнадцати приглашенным, что, насколько ему доложили, они много говорили в течение истекшей недели, но мало работали; два пастора-методиста (правду сказать, выяснилось, что один из них – актер, гарлемская звезда) прыснули, расхохотались тем странным, неудержимым, раскатистым, резким смехом, похожим на ржание, генеральный секретарь, продолжая говорить, поглядел на них, улыбка его расплылась, то ли он разделял веселье двух проповедников, то ли его забавлял их громкий хохот, потом отвернулся, продолжал говорить, смех двух методистов смолк.

Через открытую дверь в центре иконостаса можно видеть со спины, как служат три священника, в просторных золоченых ризах, с размашистыми и медленными движениями, порой оставаясь неподвижными (сосредоточенными, поглощенными какой-то самой главной молитвой, какой-то медитацией?), потом снова величественно двигаясь, и сам иконостас

сиял золотом, широкий луч солнца, падавший из окна справа, высекал из тени снопы искр, поп, одетый в черное, стоявший справа перед своим пюпитром, то снимал, то снова надевал, как полагалось по ходу литургии, на длинноволосую голову высокий круглый головной убор, тоже черный, пятнадцать приглашенных, стоя в первом ряду в толпе верующих — стариков и детей, — то становившихся на колени, то падавших ниц, лбом к плитам пола на манер мусульман, а слева, в чем-то вроде загона на возвышении, глубокие низкие голоса хора молодых монахов, любопытный ребенок, приподнявший голову, старуха рядом с ним, сердито прихлопнувшая ее обратно, так, что лоб стукнулся о плиты, само название монастыря, как черно-золотая молния, зигзагом разрывающая тьму, — Загорск.

Изящные, быстрые лошади с грациозной посадкой головы, той, некогда дикой породы, о которых Толстой рассказывает, что лихие офицеры Главного штаба, молодые князья и графы, перебивали их друг у друга за баснословные цены (теперь высокий облачный потолок сгущался, предвещал сумерки — одна лишь шафранная, внизу чуть подернутая розовым полоска отделяла неподвижный, плоский навес, напряженный, как растянутый тент, от цепи оснеженных, синееющих вершин), каждую из грациозных, тонконогих лошадей с лебедиными шеями выводил на недоуздке рысивший сбоку конюх, останавливал ее неподвижно, в профиль, как на английских гравюрах, в центре квадратного охряного холста, расстеленного на земле перед трибуной, по которой пробежал шепоток знатоков, некоторые кони, нервные, рвались в пустоту, вставляли на дыбы, поднимая конюха с земли подвешенным на недоуздке, восхищенный рокот публики нарастал, — потом на той же охряной холстине борцы в широких шароварах, до пояса обнажив мускулистые, тоже меднокожие торсы, хотя спускался холодок, пополам перегнувшись в поясе и касаясь головами, цель борьбы, по-видимому, состояла в том, чтобы повалить противника на землю, перекувыркнув его ловким движением рук и туловища, имея при этом право только ухватить его за пояс. Пояса розовые или бледно-зеленые. Другие правила, наверняка сложные, — борьба, постоянно прерываемая судьей, тоже согнутым пополам, внимательным, до-тошным.

...генеральный секретарь, чтобы указать, что встреча кончается, слегка повысив голос, в который он силился вложить убедительность (а может быть, и без особых усилий – может быть, в конце концов он и сам был убежден...), потом склонив голову, наклонившись вперед, чтобы отодвинуть стул, пятнадцать приглашенных – поднимаясь в то же самое время под скрип отодвигаемых стульев, генеральный секретарь, теперь стоя, совершив, чтобы поблагодарить своих гостей за внимание, жест двумя руками с вертикальными и параллельными друг другу ладонями, словно он сжимал между ними две стороны какой-то коробки, руки слегка поднимались и опускались, лицо было радушно, потом он повернулся в профиль, чтобы обменяться несколькими словами с элегантным дипломатом и среднеазиатским Толстым под легкий шумок голосов, переводчики выходили из кабин, подходили тоже обменяться несколькими словами с приглашенными, отодвигались, чтобы пропустить генерального секретаря, шедшего вдоль стола со стороны кабин, потом замершего, как это делают хозяева дома у двери: все было кончено, каждый из приглашенных, проходя, пожимал его протянутую руку, выслушивал несколько слов на этом языке, напоминавшем птичье оперение, одновременно диком, ласкающем и разноцветном, потом выходил.

сумерки сгущались, свет дня, все сильнее слабеющий, полоска, отделявшая потолок облаков от цепи льдов, сохраняла шафранный цвет, камзолы жокеев, не шелковые кричащих цветов, а, должно быть, сатиновые, пастельные – светло-желтые, палево-розовые, цвета резеды, черные, лиловато-голубые, и весь пейзаж пастельный, но сдержанно (можно сказать, как рисунки пастелью на коричневом картоне, сквозящем из-под рубцов разных цветов, выстраивающем их гамму в вариацию суровых тонов с редкими резкими пятнами), лоснящиеся крупы лошадей, масти которых тоже варьировались от более или менее темного красного дерева до более или менее светлого, одно только озеро (слиток, огребенный гигантскими горами, теперь глубоко синего цвета, глухого, почти черного), словно металлическая табличка, сияющее, словно освещенное снизу, как если бы оно возвращало весь за день накопленный свет, полынный со следами розового, лошади срывались с места, как только звонил колокол, безо всякой

тактики, подстегиваемые хлыстами жокеев, и вот уже разница в двадцать корпусов между первой и второй на конце первой прямой и пятьдесят на конце противоположной, бледно-желтый камзол впереди, пятнышко, мчащееся там горизонтально на фоне сумерек, второй, в вишневом камзоле, уже намного отставший, остальные плетясь в хвосте, темнота теперь почти опустилась, озеро как серебро с лимоном, едва подернутое бледной лазурью...

цветы, охапки гвоздик, гладиолусов, которые преподносили им девушки, дети, обвязанные красными галстуками, плосколицые и желтолицые, с черными, гладкими, блестящими волосами, и от которых они (приглашенные) старались отделаться, целые корзины перед их посадкой в самолет, который должен был отвезти их в столицу, расставленные как попало на ковре, перевернутые, со сломанными стеблями, уже вянущие, разбросанные по проходу между сиденьями, растоптанные при переходах от кресла к креслу с листками бумаги в руке, когда наклонялись, чтобы сравнить, наспех поправить, вычеркнутые или добавленные слова, декламационные фразы, лишённые смысла, вычеркнутые абзацы, лишённые смысла, заменяемые другими, столь же лишёнными смысла, трупы раздавленных цветов усыпали ковер, слепые озера и пруды там и сям, затянутые бельмами, уже замерзшие в бурых пространствах, пересеченные пунктиром круглых облаков, тянущихся параллельными четками и сопровождаемых своими тенями, степь, тоже пустая

посеребренная статуя лысого человечка с бородкой, властного, в потрепанном костюме, сверкающая на солнце, крохотная на фоне блистающих гор, фотографируемая на скорую руку из окна автобуса, подсказывающего на ухабистой дороге, анахроничная, расплывчатая, на сквере посреди белых домиков с серыми крышами, тоже расплывчатых, горизонтально отбегающих назад

пятнадцать приглашенных, стоя на своих перевернутых отражениях в зеркале наборного паркета из ценных сортов дерева, колоссальный Георгиевский зал, оргия мрамора и золота, оранжево-черные банкетки между отшлифованными колоннами, под окнами, над которыми возвышались таблич-

ки, где золотыми буквами были выгравированы имена князей-генералов, графов-генералов, великих князей-генералов, победителей татар, шведов, турок, поляков, литовцев, украинцев, французов, монголов, пруссаков; кавалеров Георгиевского креста: Потемкин, Суворов, Багратион, Ермолов, Кутузов, Беннигсен, Тормасов...

такая старая, призрачная, развалина в центре пустой, пыльной сцены, и сама словно распадающаяся в пыль и прах, сероватая, стоящая на отведенном ей здесь месте, измученная, с угольными разводами вокруг глаз, принимая комплименты со сконфуженной, утомленной улыбкой, благодаря, продолжая держать один из букетов с уже увядшими цветами

Дойдя до мавзолея, они остановились, щелкнули каблуками и, выполнив поворот налево, стали к нему лицом, разводящий между двумя часовыми и немного позади, пять человек (двое из заступающего караула, двое стоя по обе стороны входа, ожидая смены, и разводящий), абсолютно неподвижных до тех пор, пока, хотя не было отдано никакого приказа, двое солдат заступающего на пост караула не начали подниматься по ступенькам автоматическим шагом, замерли, потом каждый выполнил поворот налево или направо, так чтобы оказаться лицом к лицу с каждым из двух по-прежнему застывших часовых, которые, как только куранты Спасской башни кончили отбивать четыре удара, быстро перекинули приклад винтовки в левую руку, на высоте бедра, тоже выполнили поворот налево или направо, оказавшись теперь спиной к мавзолею, и двинулись вниз по ступенькам тем же шагом роботов, в то время как их сменщики продвинулись на два шага, повернулись друг к другу спиной, одновременно выполнили поворот кругом, оказавшись теперь лицом друг к другу по обе стороны входа, опустили вниз винтовки, приклады которых в одно и то же мгновение стукнулись о мраморные плиты и звук двух ударов смешался в одно, и замерли.

Два человека из снятого караула теперь окружали разводящего, все трое проделали один и тот же поворот налево, хотя опять не было отдано никакого приказа, правый часовой прямо и очень высоко подбросил ногу вперед, проходя между разводящим и мавзолеем, доходя до второго часового, который точно так же выбросил ногу вперед, разводящий пошел

с ними в ногу, три человека теперь были спаяны в одно, подко-
ванные сапоги отбивали шаг по мраморным плитам, правые
руки раскачивались в такт, ладони в белых перчатках откиды-
вались далеко назад, потом возвращались на уровень винто-
вочных прикладов, потом снова назад, винтовки вертикально
уравновешены в левой руке, грудь предельно распрямлена,
штыки сверкали на солнце, в то время как они шагали вдоль
высокой стены из красного кирпича с флорентийскими амбра-
зурами очертаний голубиных крыльев, проходили перед
пустыми трибунами, карликовыми елями, посаженными по
три в ряд вдоль стены, где под ровной шеренгой мраморных
досок параллельно почивают набальзамированные мумии быв-
ших бунтовщиков с профессорскими лбами, в небрежно за-
вязанных галстуках, глаза их закрыты за стеклами пенсне,
лица их наконец безмятежны, умиротворены, губы навсегда
сомкнуты.

СИМОН Клод, лауреат Нобелевской премии по литературе 1985
года, родился в 1913 году в Тананариве. Дебютировал как прозаик в
1945 году. Его книга «Ветер» (1957) вместе с произведениями Алена
Роб-Грийе и Натали Саррот положила начало французской школе
«нового романа». За ней последовали «Трава» (1958), «Дорога во
Фландрию» (1960), «Дворец» (1962), «Волосы Береники» (1966), «Ис-
тория» (1967), «Битва при Фарсале» (1969), «Тела-проводники» (1971),
«Триптих» (1973), «Урок вещей» (1975), «Георгики» (1981). После
«Приглашения» (1987) выпустил два романа: «Гулливер» и «Весна свя-
щенная» (оба – 1988). Переведен на многие иностранные языки. В
переводе на русский до сих пор (в СССР) вышла «Дорога во Фланд-
рию».

ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПАРУЙРА АЙРИКЯНА

Как на Западе, так и в СССР сторонники горбачевских маневров умышленно или подсознательно закрывают глаза на все, что способно обнаружить химеричность их упований. Давно ли со всех сторон несло, что вопрос о Нагорном Карабахе – критерий искренности и серьезности политики «перестройки» и «гласности» и если он не будет удовлетворительно решен в марте сего года, то..? Давно ли трубили на весь мир о том, что вот-вот из Уголовного Кодекса будут изъяты пресловутые 70 и 190¹ статьи? И что же? Таковые не только не ликвидированы, но и вечная насущная потребность в них советского режима вновь бесцеремонно продемонстрирована недавним арестом Паруйра Айриkyана.

Арест этот – не критерий искренности перестроечных намерений Горбачева и иже с ним (насчет подлинной цели этих намерений ни у одного трезвого человека сомнений быть не может), но – критерий искренности неноменклатурных сторонников его линии, искренности поддерживающей его интеллигенции, которая вдруг сочла для себя возможным подыгрывать начальственным замыслам. Не самое ли время им – коль скоро они и впрямь не лукавят – подвести некие итоги и вместо слащавых славословий горбачевской политике всерьез озаботиться судьбой Айриkyана, человека, с юных лет боровшегося за подлинную гласность, человека, уже отдавшего 17 лет своей жизни лагерям, тюрьмам и ссылке?

Вся «перестроечная» суэта, даже будь она искренней, не стоит и одного тюремного дня Айриkyана. Сегодня захлопнулись двери тюремной камеры за Айриkyаном – значит, завтра могут распахнуться широкие ворота концлагерей для многих и многих.

Факты и свидетельства

Иван К о р я г и н

КАКИМИ НАС ДЕЛАЮТ ЗА «СЕРЫМ ЗАБОРОМ»

Стараюсь регулярно читать советские газеты, которые рассказывают о перестройке в Советском Союзе.

Статью А. Маркович «Серый забор» в газете «Советская Россия» от 14 августа 1987 года не могу оставить без внимания, потому что, будучи малолетним, сам находился в таком же лагере. Хочется помочь читателю правильно ответить на вопрос, поставленный автором статьи: «Так что же вы за люди – воспитанники колонии, как сюда попали, какими отсюда выйдете?» На вопрос «кто такие?» ответить легко. В нашей колонии для малолетних преступников (г. Старобельск, Ворошиловградской обл., ул. Кирова № 65) за колючей проволокой было 400 человек. 30-35% из них было осуждено за преступления, связанные с употреблением и сбытом наркотиков, 40-45% – за грабеж и воровство, остальные – за хулиганство, изнасилование, распространение венерических болезней, бродяжничество, аферизм и пр. Были даже убийцы. Каждый из нас учился в советской школе, где его воспитывали советские педагоги, и воспитали так, что ни в одном из нас уже нельзя было встретить не только любви, но даже терпимости ко всему советскому, не говоря уж о пестовавших нас педагогах. Страшно сказать, но во многих моих сверстниках не осталось даже любви к собственным родителям.

В своем вопросительном предложении автор пропустил очень важный вопрос: «Как вас здесь воспитывают?» Капитан Сукало и ему подобные в нашей колонии отвечают на него, как настоящие поборники гуманизма: «В люди таких выводим, делаем из них сознательных членов общества». Я постараюсь ответить, как делают.

За полтора года, проведенных в заключении, меня избивали в лагере для малолетних, на этапах, в тюрьмах бесчисленное количество раз. Били и по сей день бьют малолеток за то,

что, зайдя в кабинет, не снял вовремя шапку, за то, что ночью не смог вытерпеть и пошел в туалет, за то, что позже всех встал из-за стола в столовой. Никогда не знаешь, в какой момент надзиратель-зверь осудит тебя на 5-6 «подлян» (на внутрилагерном языке «подляна» означает один удар резиновым шлангом, наполненным песком или чем-либо другим, ножкой от стула, сапогом, снятым с ноги). Когда очень уж не понравится твоя физиономия, взгляд, разговор, видом ты для них не вышел, заводят на «процедуру» на вахту, где пинают ногами, пока не надоест, и с назиданием: «В следующий раз посадим тебе почки». «Воспитатели» считают избивание абсолютно необходимой профилактической мерой: «За что бьем, не знаем, знали бы – вообще убили». И вот тут-то обязательно добавляют: «Здесь вам не курорт. Вас за колючую проволоку никто не приглашал». Я абсолютно уверен, что подполковник А. М. Седов, упоминаемый в статье с этой фразой на устах, не одного из подростков «воспитывал» прежде в колонии таким образом. Не зря же он называет разговоры демагогией. Каково это звучит для начальника политотдела?! Понятно, почему он говорит: «Мы – государство в государстве», – и ратует за независимость своей службы от городских властей. Я с ужасом представляю себе, что будет, если «перестройку» в системе ВТК осуществят по рецептам этого «гуманиста». Коллега А. М. Седова, начальник оперчасти из ВТК г. Старобельска Захлестин зимой 1985 г. так изложил свое воспитательное кредо: «Из этих воспитанников мелкоуголовного характера, если им дать волю и перестать бить, получатся лютые враги социализма и коммунистического строя. Я не могу этого допустить». Он не раз бил меня лично и держал под своей непосредственной опекой. За полгода, проведенных в ВТК, 90 суток я провел в карцере, куда снег залетает в щели окон и стен. «Гуманисты-воспитатели» при этом издевательски хохочут, наблюдая, как подросток мусолит пайку ржаного хлеба и пытается спастись от холода, кутаясь в хлопчатобумажную курточку, которая одна только и прикрывает его исхудавшее тело. Надзиратели называют себя добрыми, если не забирают у тебя в карцере даже ботинки. Они берегут нашу жизнь, боясь, что на шнурах от них кто-то из нас повесится. Напрасно забирают – все-таки вешаются. И в карцере, и в зоне.

Насморк и бронхит – самые невинные вещи, с которыми наказанный может выйти из карцера, но это – по понятиям,

применимым для обычных людей. В ВТК эти понятия иные. «Температура есть?» – спрашивает врач. «Есть», – отвечает ЗК-подросток. «Померяй-ка». Через три минуты: «Посмотрим. Видишь – 37,8? Как будет 38 – приходи». По закону, если температура ниже 38, никто не освободит тебя от работы, но врач, безусловно, не откажет тебе, если ты попросишь у него, взять что-нибудь на выбор из анальгина, аспирина или еще чего-нибудь «от головы», «от желудка» или какого-либо другого органа. Так они называют лекарства.

Автор статьи «Серый забор» спрашивает: «Откуда, при столь строгом, на первый взгляд, соблюдении гигиены, в ВТК берутся заразные болезни?» Я ему объясню. Все это потому, что это соблюдение строго именно на первый взгляд. При своем посещении ВТК он увидел «потемкинскую деревню», где «в парниках круглый год зреют огурцы и помидоры», а не настоящие условия быта малолетних преступников. Провел бы он ночь в нашем бараке, так увидел бы, как по спящему, уставшему от 8–12-часового рабочего дня подростку ползают черные тюремные тараканы, мог бы увидеть изгрызенные мышами скудные продуктовые запасы заключенных, единственный унитаз на 400 человек в бараке. Он бы увидел, как ковыряются в отбросах голодные ребята у пищеблока и как едят замерзшие, покрытые льдом и превратившиеся в один «пирог» объедки макарон, каши, хлеба, очистки, рыбные кости, потому что за столом они не имеют возможности хоть как-то насытиться – их гонят на работу, едва налив в миску баланды. И вообще голодными остаются те, кто по очереди получают последними.

А теперь о развитии вкуса к сознательному труду, о воспитании «созидателя». Капитана Сукало ужасно «огорчает» однообразие труда подростков у конвейера. Полно вам, капитан, нашли о чем печалиться! Каждый из нас согласился бы, чтобы это было нашей самой большой трудностью. Вам ли не знать, что подростки в колонии иногда по целому месяцу работают без выходных, часто по 12 часов в день, что они от напильников срывают в кровь руки, оставляют пальцы под прессами и в строгальных станках, уходят слепыми из литейных цехов, отравляются растворителями в красильных цехах, работая без респираторов, гибнут от электротравм. О мелких травмах в ВТК говорить даже не считается приличным. Кто там заботится о технике безопасности? Там

только давай, давай норму, план, как правильно замечено в статье.

За невыполнение норм малолетних в ВТК бьют все, начиная от раскормленных мерзавцев-бригадиров и завхозов до начальника отряда. Бросают также в карцера, но, несмотря на все эти меры «по привитию трудовых навыков к созидательному труду», я по своему опыту знаю, что невозможно слесарю обточить за смену 300-500 алюминиевых деталей-заготовок напильником, который забивается через час. Новый выдают только раз в месяц. Такой труд – издевательство над здравым смыслом и оскорбление достоинства в человеке. Вот мы уже неделю работаем по 12 часов, ждем выходного «как конца срока», и тут нам объявляют, уже в который раз, что выходного не будет снова. Такой труд полюбить нельзя. Чтобы завоевать себе выходной, когда можно посмотреть кино или передачу по телевизору, мы должны соглашаться работать по 12 часов, если не сделан план. Тогда уже и с занятий в школе или в училище тебя снимут. Кстати, о занятиях. На всю жизнь мне это запомнится. Голодные ребята, после работы, облипли единственную батарею (температура в комнате – 16-18 градусов) и наперебой рассказывают, как и что готовят к обеду их матери. Мастер валяется пьяный в каптерке, он сегодня добрый и разрешил нам греться у батареи с условием, что мы не будем шуметь, привлекая тем самым начальство. Провинившихся он выгонял во двор без теплой одежды носить цемент или кирпич. Станет он еще вспоминать о том, что малолеткам по закону нельзя поднимать более 16 кг.

Однажды, после очередного карцера, я отказался работать в холодном помещении, сказав, что я не животное. Сначала хотели возвратит в карцер, но потом «помиловали» – мастер отправил работать на улицу. Без одежды, как я уже писал. Был конец февраля, у меня возник острый бронхит, температурный «рубеж» мой организм превзошел, но вместо санчасти меня погнали этапом. Трое суток на этапе нас не кормили, потом в харьковской пересыльной тюрьме принесли несколько буханок мокрого, покрытого плесенью хлеба со словами: «Жрите это. Вас что, всю ночь ожидать с горячим обедом? Ваш этап не ждали». Мы, все 24 человека, из малолетних зон, чтобы получить положенное нам питание, нанесли себе резанные повреждения на теле, некоторые вскрыли вены. Сначала нас начали избивать. На меня, температура-

щего больного, и некоторых других надели смирительные рубашки. Потом оказали медпомощь: зашили раны, дали таблетки, накормили и... нас, зачинщиков, посадили в карцер. Там я провел три дня в лихорадке, потом – этап, и с температурой выше 40 меня уже положили в больницу на целую неделю. Из больницы сразу отправили на работу. Через неделю снова температура 40. В больницу уже не положили, дали освобождение на два дня. Потом пил таблетки и работал.

Множество подобных историй корреспонденту «Советской России» мог бы рассказать любой заключенный ВТК. И после всего, что с нами там делают, полковник Седов смеет надеяться, что кого-то заинтересует патриотическая тематика, с которой туда заявятся воины-интернационалисты, или что кто-то из нас по освобождении станет горевать о том, что его не возьмут в комсомол или не призовут в Советскую Армию. Никто из нас, бывших узников детского ада, никогда и ничего не забудет и не простит тем, кто воспитывал нас истязаниями и унижением человеческого достоинства. Они навсегда воспитали в нас ненависть и презрение к себе и системе, их породившей.

Это – ответ на вопрос корреспондента, «какими мы будем».

КОРЯГИН Иван Анатольевич – родился в Свердловске в 1968 году. Окончил неполную среднюю школу в Харькове. В семнадцатилетнем возрасте по сфабрикованному уголовному обвинению был заключен в колонию для малолетних. По достижении совершеннолетия переведен во взрослый лагерь на Украине. В 1987 году освобожден в связи с выездом семьи в Швейцарию.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Польшу вновь захлестнула волна забастовок. К чисто экономическим требованиям вскоре прибавились и политические. И первое из них: легализация «Солидарности» и всех других организаций, защищающих права трудящихся.

Власти, по своей старой, проверенной опытом традиции ответили на эти выступления репрессиями: разгоном собраний и демонстраций, арестами профсоюзных и общественных лидеров.

Но, как видно, прошли времена, когда одних этих средств было достаточно для того, чтобы укротить забастовочную стихию. Репрессии не только не прекратили начавшегося движения, но придали ему еще больший, беспрецедентный за последнее время размах: стачечная волна нарастает с каждым днем.

Было бы нереалистичным полагать, что у польского правительства имеются хоть какие-то возможности полностью удовлетворить выдвигаемые бастующими требования. Страна находится в состоянии жесточайшего экономического кризиса, который с течением времени только углубляется. Но именно в этих условиях властям и следовало бы проявить добрую волю, пойдя на конструктивный диалог с оппозицией в поисках взаимоприемлемого выхода из создавшегося положения.

К чести польской оппозиции, она готова к такому диалогу, засвидетельствовав этим высокий уровень своей политической зрелости и государственной ответственности.

Мы убеждены, что только этот путь может и должен привести польское общество к подлинному гражданскому и экономическому обновлению.

Время не ждет!

3 мая 1988

Религия в нашей жизни

К тысячелетию Крещения Руси

Анатолий К р а с н о в - Л е в и т и н

ФАКТЫ И ОБВИНЕНИЯ

История суда знает несколько типов судебных ораторов. Условно их можно назвать: адвокаты и прокуроры – типа Плевако и типа Урусова. Плевако – пламенный оратор, обличитель, Савонарола. Глубоко искренний и темпераментный. Урусов – тип ученого, исследователя. Кропотливого и внимательного. С методичностью биолога, математика он исследует факты и подводит суд к ясным и четким логическим выводам.

Что касается отца Владимира Русака, он в какой-то степени соединяет эти два типа. Скрупулезный анализ, собрание многих фактов. Но автор книги «Свидетельство обвинения», повествования о преследованиях Русской Православной Церкви советской властью, – не только исследователь, он прежде всего диакон, служитель Церкви Христовой – борец за правду. И порой он покидает кафедру ученого – перед нами обличитель, темпераментный и страстный. Его книга приобретает характер яркого памфлета.

На первой странице издатель рекомендует нашему вниманию книгу отца Владимира и обещает в ближайшее время выпустить остальные два тома этого исследования. Мы с благодарностью принимаем этот драгоценный подарок.

Однако мы не можем утаить и теневых сторон. Прежде всего, книга пестрит опечатками и неточностями, что отнюдь не свидетельствует о внимательном отношении редакции к труду нового исповедника веры, заключенного за правду в лагерь. Приведем наиболее одиозный пример. На странице 347 напечатан портрет покойного митрополита Тихона со следующей подписью: «198. Трифон (Туркестанов), митрополит Дмитровский, викарий Московской епархии. Пропал без вести».

В этих трех предложениях по меньшей мере три ошибки. Во-первых, Владыка, будучи митрополитом, никогда не носил титула «Дмитровский» и не был викарием Московской епархии. Таковым он был до 1917 года, когда пребывал в сане епископа. С 1917 года он был на покое, служа в храме Петра и Павла в Лефортове в сане архиепископа, а в последующие годы – в сане митрополита.

Затем, он никогда не арестовывался. И, наконец, он вовсе не «пропал без вести», а умер в августе 1934 года в Москве. На его торжественном отпевании присутствовало несколько тысяч москвичей. А его могила на Введенском (бывшем Немецком) кладбище – с высеченным на памятнике афоризмом: «Любите храм Божий. Храм Божий – это небо на земле» – известен всем верующим москвичам и до сих пор посещается многими почитателями Владыки.

Неверна также подпись к фотографии епископа Стефана Беха (№ 191, стр. 343), который умер на покое в 1933 году, в городе Устюге, и был отпет архиепископом Алексием Хутынско-Новгородским, управлявшим Новгородской епархией, впоследствии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси (см. «Журнал Московской Патриархии» за 1933 г.).

Можно отметить еще ряд недочетов в работе отца Владимира. Среди фотографий преосвященных, умерших в заточении, отсутствуют фотографии виднейших иерархов, таких, как архиепископ Звенигородский – Филипп Гумилевский, арестованный в 1931 году и так и не вернувшийся на волю. Архиепископ Орловский – Иннокентий Благовещенский, арестованный в 1937 году и расстрелянный. Архиепископ Новгородский Венедикт (Плотников), арестованный и расстрелянный в 1937 году.

С другой стороны, среди фотографий владык, наряду с мучениками и исповедниками, мы с изумлением обнаружили портрет столь сомнительной личности, как Василий Ратмиров, епископ Минский и Белорусский. Он действительно, как написано под его портретом, «пропал без вести», однако эта «пропажа» не имеет ничего общего ни с мученичеством, ни с исповедничеством. В прошлом обновленческий священник, он был рукоположен в тридцатые годы в сан епископа в женатом состоянии такими же, как и он, обновленческими женатыми архиереями. В 1942 году, пользуясь военной неразберихой, он сумел обмануть Патриархию и был принят в «сущем сане» –

архиепископом. Впоследствии, видимо, не без помощи «органов» (КГБ), он получил назначение на белорусскую кафедру. Здесь он прославился своей грубостью и жестокостью по отношению к подчиненному ему духовенству.

Между тем, сведения о его обмане Патриархии стали очень явными и грозили скандалом. Поэтому он был вызван в Москву для духовного следствия и архиерейского суда. Однако по дороге он скрылся и в Москву не явился. Его пребывание осталось неизвестным. Остаются неизвестными до сих пор ни время, ни место, ни обстоятельства его кончины. Совершенно невероятно, чтобы он был жив в настоящее время, так как ему было бы теперь около 100 лет.

Это показывает, что фотографии собирались автором случайно, без учета действительной роли епископов в истории Русской Церкви.

В своем вступлении автор правильно констатирует, что история Русской Церкви еще ждет своего исследователя. Глубоким сердечным чувством проникнуты эти слова: «Церкви плохо. Церковь унижена, заглушаема, презираема. Мы не за то, чтоб ее поставили в положение роскоши... Мы против полной и подлой лжи, когда положение Церкви преподносится всему миру в ничего общего не имеющем с действительностью виде».

И дальше: «Архиепископ Волоколамский Питирим как-то по поводу всех работ, в какой-то мере разоблачавших ложь советской информации о положении Церкви в Советском Союзе, сказал: „Не люблю я эту критику. Критика имеет ценность тогда, когда несет в себе нечто конструктивное, положительное“. Перефразируя эти слова, мы можем сказать: „Не любим мы этих князей Церкви, которые отпускают длинные бороды, говорят лживые слова, в которые сами не верят. Епископы и священники имеют ценность только тогда, когда говорят нечто правдивое, нравственно поднимающее. А если они лишь пересказывают передовые статьи советских газет, то любить их некому и не за что“». Никто их и не любит.

Отец Владимир начинает с главы «Революционеры», необыкновенно наивной. Она свидетельствует о лучших намерениях автора. Но и только. Этим, кажется, и исчерпываются ее достоинства.

Книга по-настоящему начинается лишь с третьей главы – «Церковь и государство». В этой главе автор, разуме-

ется, ополчается против понятия «революция». И в этом контексте имеет место полемика с пишущим эти строки.

Старый член подпольной группы партии социалистов-революционеров, функционировавшей в Питере в 1933 – 1936 годах, – каким является автор статьи, – разумеется, вряд ли может быть в этом отношении единомышленником консервативного богослова. Не желая затруднять читателя разбором этих мест, отсылаю его к одной из моих последних книг, «Звезда Маир» (Paris, «Поиски», 1983 г.) и к другим моим книгам.

Во всяком случае, нельзя не согласиться с отцом Владимиром в одном. Уже в самые первые дни после октябрьской революции с необыкновенной силой проявился антидемократический характер новой власти. Желание навязать народу чуждую ему идеологию, навязать насильственным путем, не считаясь с чувствами, убеждениями, настроениями. И здесь нельзя не признать правильными следующие строки: «Народ явно протестовал. Многие хотели оставить в силе прежние традиции совершения молебнов на рынках и базарных площадях. Многие желали видеть иконы в публичных местах, как, например, в столовых, буфетах, магазинах и т. д. Но, верный принятому „истинно демократическому закону и порядку“, V отдел НКЮ категорически запретил такое явление. Не принимались во внимание никакие просьбы»*.

* *
*

Настоящее «Свидетельство обвинения» начинается с главы «Издержки эконоуменов». Автор разбирает «Декрет об отделении Церкви от государства» в его практическом приложении. Здесь он разбирает лекцию некоего доктора юри-

* Это не совсем верно. Еще в 20-е годы, во времена нэпа, во многих частных магазинах в Гостином Дворе – в Питере – можно было видеть иконы. В доме, в котором жила моя семья, ранее принадлежавшем знаменитому купцу Елисееву (Васильевский остров, Тучкова набережная, Биржевой переулок 1/2) висела икона вплоть до 1928 года. Но, разумеется, это не характерно: в провинции имело место грубое срывание икон и крестов.

дических наук Б. С. Крылова, который прочел серию лекций об отделении Церкви от государства в Духовной академии в Загорске.

«Из его лекций можно было вывести только одно: советское законодательство о религиозных культах представляет собой какой-то жуткий монстр, юридическое уродище, напичканное противоречиями и „ляпами“. И еще одно: антирелигиозники ничуть не стесняются своего оскорбительного отношения к Церкви и верующим».

Отец Владимир Русак приводит целый ряд отрывков из крыловских лекций, сделанных по магнитофонной записи, которые иллюстрируют «уровень» современной антирелигиозной пропаганды и «уровень» юридической науки в СССР.

Первые впечатления: какой все-таки регресс! Это после Луначарского, Бухарина, Крыленко, Пушканина, Стучки, даже Вышинского (изверга, но все-таки неглупого и образованного человека) – такие юридические «перлы». «Профессор» осчастливил своих слушателей подбором штампов, взятых из всевозможных антирелигиозных брошюр. Ответы на вопросы студентов новоявленного ученого несколько напоминают ответы «рыжего» в цирке. Например:

1) Я что-то не видел изможденных лиц у церковнослужителей.

2) Ну, не знаю... не всё же человеку знать.

(Товарищ профессор, надо сказать, весьма широко пользуется правом «не знать» – чем не борец за права человека и гражданина!)

Далее – в ответ на вопрос: может ли священнослужитель совмещать приходское служение с обучением в государственном учебном заведении? Ответ: «Вообще говоря, это не противопоказано человеку. Но вы подумайте о другом: может ли человек, исповедующий христианскую религию, решать, так сказать, перед своей совестью, скажем, сдавать экзамен по атеистическому предмету? Конечно, нет». Здесь мы обращаемся к словам великого русского критика В. Г. Белинского: «Вот они, инквизиторы, мракобесы. Высказались, наконец: мысль по веревочке водить». Слова Виссариона Григорьевича приводит А. И. Герцен в воспоминаниях «Былое и Думы». По существу, это означает лишение 100 миллионов советских граждан права на образование.

Следующий вопрос: «Почему ограничена религиозная пропаганда?» Ответ: «А потому, что большинство являются атеистами, и они приняли соответствующий закон». Здесь опять обращаемся к Белинскому, к его беседе с «профессором» (верно, таким же умником, как Крылов). «А в еще более цивилизованных странах существуют гильотина и палач, которые казнят тех, кто находит это прекрасным».

Великая Французская революция и еще три революции в XIX веке во Франции, революция 1905 года и Февральская революция в России боролись за то, чтобы люди имели свободу слова, верований и пропаганды. Тысячи благородных людей погибли за это в «тюрьмах и шахтах сырых». Неужели для того, чтобы некий «профессор» запрещал свободу проповеди, ссылаясь на какое-то «большинство». Все мы знаем, как фабрикуются это «большинство».

Надо ли отвечать на профессорские бредни по существу? Ответим вкратце. Сдача экзамена определяет знание предмета, а отнюдь не согласие со всеми доктринами, которые излагает студент. Иначе непонятно, каким образом Чернышевский и Добролюбов могли окончить Духовную семинарию, Плеханов – кадетский корпус, Ленин – классическую гимназию и университет (кстати, по Закону Божию в гимназии и по богословию – в университете – он имел отметку «5»).

Примерно на такой точке зрения стояли подлинные ученые и в советское время. Поэтому пишущий эти строки, который никогда не скрывал своей приверженности к идеалистической философии (в частности, к философии В. С. Соловьева), мог в 1940 году окончить с отличием Ленинградский Педагогический Институт им. А. И. Герцена (по факультету языка и литературы) и аспирантуру в Научно-исследовательском институте театра и музыки в Ленинграде. Если же мы станем на противоположную точку зрения, то это будет означать конец русской науки. Институты будут выпускать не ученых и мыслящих людей, а полуграмотных холопов.

Как говорит Русак, Крылов находится в дружеских отношениях с митрополитом Ювеналием, и по его рекомендации он был приглашен Советом по делам религии читать свою лекцию. «Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты таков».

Далее начинается мартиролог. Владимир Степанов-Русак со спокойствием исследователя перечисляет жертвы револю-

ции в первые дни. Священник Чефранов из Севастополя, убитый и сброшенный в море. Протоиерей отец Иоанн Кочуров из Царского Села, священник из города Вытегры, иеромонах Серафим из Белгородской мужской пустыни. Убитые. Убитые. Убитые... Таково начало революции. И всё это на фоне диких и бессмысленных зверств, глумлений и пыток.

«Забыты и поправы заповеди Христовы о любви к ближнему. Ежедневно доходят до нас известия об ужасах и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой долг перед родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. И всё это совершается не только под покровом ночной темноты, но въявь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и с беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, – совершается в наши дни во всех почти городах и весях отчизны: и в столицах, и на далеких окраинах (в Москве, Петрограде, Иркутске, Севастополе и др.)...» (Воззвание Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Января 19-го дня, 1918 г. Цитируем по книге Протоиерея Александра Введенского «Церковь и Государство», стр. 115. Москва, 1923 г.).

Со всеми фактами в изложенном Патриархом воззвании, а также с характеристикой зверски убитого Коновалова нельзя не согласиться. Между тем, отец Владимир приводит и другие многочисленные факты зверского преследования духовенства.

«В Александро-Невской Лавре 19-го января 1918 года красногвардейцами был убит священник Петр Скипетров. Кончина отца Петра – это лишь одно из печальнейших событий, происшедших в эти дни в столичной Лавре. На Смоленском кладбище лежат сорок священников, закопанных живьем» (?!). Все эти факты, кроме последнего, малоизвестного, подтверждены авторитетными свидетельствами. Конечно, делает честь Владимиру Русаку, что он напомнил о мученической кончине киевского Митрополита Владимира (Богоявленского) и трагической смерти протоиерея города Елабуги, отца Павла Александровича Дернова, убитого 15 февраля 1918 года, совместно с тремя взрослыми сыновьями, о зверском убийстве 87-летнего старика – отца Алексия Андроникова в Костроме и о многих других зверствах.

На странице 82-й рассказывается об аресте епископа камчатского Нестора (впоследствии Митрополита Новосибирского, умершего 4 ноября 1962 года в Москве, в сане Митрополита Николаевского). Пишущий эти строки слышал подробности о его аресте из уст Владыки, поэтому я могу добавить к рассказу отца Владимира некоторые подробности. Однажды комендант сказал Владыке: «Возьмите телефонную трубку». Владыка берет трубку и слышит голос Святейшего Патриарха Тихона. Патриарх говорит: «Выслушайте то, что я вам скажу, и ничего мне не отвечайте. Повесьте трубку. Через несколько дней вы будете свободны. Мы вас не забываем». Через несколько дней, действительно, Владыка был освобожден. Явившись тотчас после освобождения в зал заседания Собора (в Лиховом переулке), Владыка был встречен с необыкновенным воодушевлением. Отцы Собора, поднявшись со своих мест, запели тропарь Казанской Божьей Матери: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышнего».

Этот факт свидетельствует о том, что верующие не забывают ни своих святителей, ни священников, находящихся в заключении. Поэтому слова о безрезультатности ходатайств об освобождении епископа Нестора, сопровождаемые ссылкой на «Церковные Ведомости», не соответствуют действительности. Вообще, как показывают факты, тюремные ворота часто распахивались, когда в дело вмешивались народные массы. Так было после ареста архиепископа Орловского, Владыки Серафима. При попытке ареста архиепископа Кирилла, во время ареста московского мужественного пастыря, отца Авенира Полозова.

В связи с этим можно привести выдержку из воззвания причета и приходского совета Казанской церкви в Москве (что на Калужской площади): «Православные христиане! Прихожане храма Казанского! Да будет на вас благословение Божие за ту святую ревность, с какой вы недавно отстаивали достоинство церковное и защищали вашего любимого пастыря, отца Авенира, готового положить душу свою за Церковь Православную... Власти нужно повиноваться лишь тогда, когда она не требует ничего противного учению Церкви Православной. Если же она потребует этого, то тогда православным христианам нужно исполнять завет апостольский: „Богу нужно повиноваться больше, чем людям, и не исполнять незакон-

ных требований. Хотя бы за это грозили тюрьма или самая смерть“».

Печатая эти, отнюдь не устаревшие слова сейчас, мы не можем не выразить благодарность отцу Владимиру за то, что он их нам напомнил. Он приводит в то же время очень яркую иллюстрацию этих слов. «Из города Старицы Тверской губернии сообщили, что смотритель духовного училища, отец Некрасов, городской голова и прочие лица были в городской управе арестованы в такое темное и грязное помещение, где ни сесть, ни лечь было нельзя. Весь город вышел на их защиту. Все жители Старицы шли к большевикам, как один человек, или умереть, или освободить арестованных. И действительно, на третий день арестованные были освобождены. При объяснении творилось что-то неопишное и чуть не было пущено в ход оружие...».

Одновременно мы должны сказать, что сам автор остался верен на деле этому священному завету. Находясь в заключении, он отказался купить себе свободу признанием своей виновности, как это у него требовали опричники.

Много ценного исторического материала содержит глава «Просто насилие». Здесь очень подробно описывается нападение на Александро-Невскую Лавру и другие обители Земли Российской. В этой связи отец Русак упоминает о тяжелом ранении и мученической смерти священника Скорбященской церкви города Петрограда отца Петра Скипетрова и о тяжелом ранении известного книгопродавца Усова. В этой связи мы находим у отца Владимира очень вещиные слова: «Отношение большевиков к Александро-Невской Лавре и ее насельникам взволновало жителей Петрограда. *Борьба с Церковью, уничтожение самой религии, в теории казалось делом нетрудным.* Толпы людей, казалось, можно было убедить в том, что религия существует для затемнения классового сознания и для наживы священников. Но эта примитивная схема при практическом ее осуществлении не могла не вызвать волнений в народе, в течение тысячи лет связанного с определенной системой религиозного мышления и морали».

Тогдашние правители Советской России, в том числе и Ленин, вероятно, очень удивились бы, если бы могли узнать, что и сейчас, через 70 лет, их преемникам приходится вести борьбу с религией в России. И до сих пор, несмотря на некоторые успехи конъюнктурного характера, им не удается ее

одолеть. Отец Владимир Русак приводит многие инциденты из истории борьбы с Церковью во время гражданской войны.

К сожалению, остается верна себе и редакция книги. Опечатки следуют одна за другой. Среди них отметим одну – совершенно анекдотическую: на стр. 101 находим следующее. «Донесение Священному Синоду Серафима, архиепископа Тверского и Калининского». Не Калининского, а Кашинского, уважаемые господа редакторы! Кашин – название древнего города Тверского княжества, а впоследствии – Тверской губернии.

Подводя итоги этим скорбным рассказам о святотатствах, убийствах, разорении храмов, отец Владимир пишет: «Происходящая в первые послереволюционные годы анархия сопровождалась взрывами необыкновенной классовой вражды, с крайней ненавистью ко всем... Многие вопиющие недостатки прежнего государственного строя возбудили в народе жажду лучшего. Но вместо чистой воды жаждущие бросились пить напиток, отравляющий разум и совесть».

И, как бы отвечая на возражения современных князей Церкви из Патриархии и заранее вступая в полемику со своим бывшим начальником, Митрополитом Волоколамским Питиримом, автор книги о мучениках и исповедниках пишет: «Могут, конечно, сказать: „Зачем собирать и выкапывать („копаться“, как выразился один архиерей) эти язвы на свет Божий?“ Надо. Мы никогда не забудем, мы будем вечно помнить, прославлять и подражать страданиям всех верных последователей Христа. Мы вспоминаем все эти страдания, мучения и боль потому, что они учат нас жить и верить так, как надо жить и верить. „Поминайте наставников ваших, которые проповедовали Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их“ (Послание к евреям, 13.7)».

Вторая половина книги

Мы проанализировали 128 страниц книги «Свидетельство обвинения» отца Владимира Степанова (Русака). Это – значительная часть книги, содержащая 12 глав. Анализ следующих частей книги представляет большую трудность. Эту часть

книги отец Владимир Русак не успел отредактировать в связи с наступившим для него «периодом гонений», травлей, изгнанием из редакции «Журнала Московской Патриархии» и, наконец, арестом. Поэтому в этой части книги имеет место множество неточностей. Нарушена хронология. Отсутствует последовательность изложения.

Все же мы попытаемся проанализировать и вторую часть книги, так как она содержит многие ценные мысли, а также из христианской любви к страждущему собрату. Попутно укажем на некоторые ошибки.

Глава «Дальше... по кровавому пути» содержит данные о привлечении к ответственности церковных деятелей и о судебных репрессиях. Наиболее известными людьми, подвергшимися репрессиям в 20-х годах, уже после окончания гражданской войны, были Александр Димитриевич Самарин, прославленный религиозный деятель и бывший обер-прокурор Святейшего Синода, а также профессор Московской Духовной Академии, известный канонист И. Д. Кузнецов. Главным обвинением была организация охраны Святейшего Патриарха Тихона; руководящая роль в организации звенигородских волнений, поводом к которым послужила хулиганская выходка одного из красноармейцев, который при вскрытии святых мощей глубоко чтимого Русской Церковью угодника Божия преподобного Саввы Звенигородского, плюнул на череп преподобного.

К суду было привлечено 12 человек. Они были осуждены к расстрелу. Однако, расстрел был заменен заключением в лагерях. Александр Димитриевич Самарин, отказавшийся от активной деятельности, дожил до глубокой старости и умер на воле уже в 50-х годах.

К сожалению, отец Владимир мало останавливается на новгородском процессе Митрополита Арсения и Епископа Алексия (в будущем, Святейшего Патриарха). О процессе имеется лишь беглое упоминание на стр. 129.

На странице 130 имеется опять досадная опечатка. Сообщая о том, что в Омском доме лишения свободы (так называли в те времена тюрьмы) находились трое епископов, автор или редакция ошиблись в титуле Владыки Вениамина Муратовского, назвав его архиепископом *Сибирским*; следует читать: Симбирским. Далее *начинается полный хаос*. В повествовании о церковной смуте. Черновая запись. Для читателя, мало осве-

домленного об этом периоде истории Русской Церкви, кратко перескажем ход событий, параллельно отметив ошибки отца Владимира.

После голода, имевшего место в Поволжье в 1921 году, было принято решение об изъятии церковных ценностей. Постановление могло бы быть осуществлено без особых осложнений, так как и в прошлом бывали случаи, когда в дни общенародных бедствий происходило изъятие церковных ценностей. В первое время духовенство с готовностью откликнулось на этот акт. Известна фраза петроградского Митрополита Вениамина: «Я собственноручно сниму ризы с иконы Казанской Божьей Матери, оплачу их сладкими слезами и отдам голодающим». Однако советское правительство с самого начала придало этой кампании остро антицерковный и антирелигиозный смысл.

Сейчас, после публикации в самиздате закрытого письма Ленина, совершенно ясно, что эта затея носила остро провокационный характер. Целью Ленина с самого начала было путем репрессий и расстрелов «остудить некоторые горячие поповские головы». После этого началась в печати истерическая антирелигиозная кампания. Под ее знаком наступил 1922 год. В это время мнения духовенства разделились. Патриарх Тихон, уповая на поддержку миллионных масс, занял негативную позицию. Он был согласен отдать предметы церковного обихода, не связанные непосредственно с отправлением религиозного культа, но категорически запретил отдавать святыне чаши, дискосы, напрестольные кресты и Евангелия. В связи с этим началась крикливая кампания в печати.

В это же время епископ Антонин Грановский, состоящий на покое, соглашается на изъятие ценностей, однако с непременным условием, что верующие должны быть уверены, что все ценности в действительности будут использованы в помощь голодающим. В ответ Калинин предлагает епископу войти в «Помгол» (Комитет помощи голодающим).

Одновременно в Петрограде образуется группа священников, известных проповедников и церковных литераторов — протоиерея А. Введенского, священников А. Боярского, З. Белкова, Владимира Красницкого и других, которые выступают за сдачу драгоценностей.

Одновременно, в апреле 1922 года, в Москве происходит судебный процесс одиннадцати священников, которые обви-

няются в сопротивлении сдаче ценностей: протоиерей Е. Соколов, протоиерей А. Н. Заозерский и другие. Кстати, сказать, в книге отца Владимира неправильно приведены инициалы отца Заозерского. Его звали Александр Николаевич. Следовательно, А. Н., а не А. И., как в книге – см. стр. 133-134 и стр. 291.

Во время этого процесса были вызваны в качестве свидетелей Святейший Патриарх Тихон и Архиепископ Никандр (Феноменов). Суд приговорил подсудимых к расстрелу, а также вынес частное определение о привлечении к уголовной ответственности Патриарха Тихона и Архиепископа Никандра. После этого Патриарх Тихон был под домашним арестом в Троицком подворье, а затем был переведен под стражей в Донской монастырь и водворен в архиерейских покоях под домашним арестом. Там он содержался в течение 14 месяцев в ожидании суда.

В мае 1922 года в Москву прибыли представители петроградской группы, протоиерей Введенский и священники Красницкий и Белков, и имели трехкратный разговор со Святейшим Патриархом, тогда еще находившимся под арестом на Троицком подворье. Результатом этих бесед была передача власти временно, на время заключения Патриарха, Митрополиту Ярославскому Агафангелу. А до прибытия в Москву – Высшему Церковному Управлению под председательством епископа Леонида, проживавшего в Москве на покое. В управление вошли петроградские священники и епископ Антонин. Церковный раскол стал фактом.

Между тем, обо всех этих событиях у отца Владимира нет ни слова. А без этого всё его повествование просто непонятно. Далее, отец Владимир делает серьезную ошибку, утверждая, что Патриарх Тихон был судим весной 1923 года. Здесь полная путаница. Во-первых, нет указания, что обновленческий собор в апреле 1923 года вынес решение о лишении Патриарха Тихона сана и об упразднении в России патриаршества. Затем на странице 132 имеется следующая фраза: «25 марта начался скандальнейший в истории юриспруденции судебный процесс над Патриархом Тихоном». Эти слова сопровождаются ссылкой на книгу Регельсона «Трагедия Русской Церкви». Здесь целых три ошибки. Во-первых, процесс должен был состояться не 25 марта, а 25 апреля 1923 года. Во-вторых, ничего подобного в книге Регельсона нет. А в-третьих, и это

самое главное, никакого процесса не было, и Патриарх Тихон никогда не был судим. Видимо, отца Владимира ввело в заблуждение объявление в «Известиях» за 24 апреля 1923 года: «Сегодня начинается судебный процесс над Патриархом Тихоном». Но внезапно процесс был отложен и ни в этот день, ни когда-либо в будущем не состоялся. На этой же странице (ни к селу, ни к городу) рассказывается о покушении на Патриарха, при котором погиб его келейник. Но это покушение произошло почти через два года после описываемых событий – осенью 1924 года. Патриарх тогда уже много месяцев находился на свободе, и дело в отношении его было уже давно прекращено.

Столь же сбивчив и рассказ о петроградских событиях. Здесь совершенно отсутствует хронологическая последовательность, имеются фактические ошибки. Так, например, фамилия адвоката, который защищал Митрополита, не Гуревич, а Гурович. Далее, совершенно невероятно сообщение, что Митрополит вошел в зал судебного заседания «в облачении». Здесь явно непонятное упущение редактора (сам диакон такой ошибки сделать не мог): облачением называются парчовые одежды, в которых совершается литургия. Митрополит же был в рясе, с панагией на груди и в белом клобуке. Это не облачение, а так называемые обыденные одежды архиерея.

Далее, следующие строки: «Вы спрашиваете, где преступная организация, – воскликнул Красиков, обновленец». Между тем, Красиков был не обновленец, а коммунист, общественный обвинитель. И слова о том, что преступной организацией является Православная Церковь, принадлежат вовсе не Красикову, а адвокату Гуровичу, который произнес их в ироническом контексте.

В описании процесса имеется следующая фраза: «Потом трибунал перешел к опросу свидетелей. Главный из них – Введенский – не-был допрошен. На второй же день, после первого заседания суда, после выхода из зала суда на улицу, какая-то пожилая женщина швырнула в него камнем, чем принесла ему ранение головы».

Здесь снова ошибка. Александр Иванович Введенский присутствовал на процессе не в качестве свидетеля, а в качестве защитника митрополита Вениамина. Он должен был защищать его как представитель духовенства, наряду с Гуро-

вичем. План его защиты был, как я это слышал от него самого, следующий: он должен был анализировать характер митрополита. В его представлении, это был не князь Церкви, а простой, добрый, немудрящий священник, который сам явился жертвой политических хитросплетений главенствующих иерархов. Свидетелем Введенский не мог быть, так как он не был удален из зала при первом заседании, что, по юридическим правилам, которые соблюдались, исключало возможность свидетельских показаний.

Его роль была бы аналогична роли А. И. Боярского, о котором пишет отец Владимир. Кстати, Боярский был его другом. Красницкий же всегда был ярым врагом Введенского. В остальном, описание процесса отцом Владимиром соответствует действительности.

Вводная глава «Обновленцы» представляет собой простую компиляцию нескольких сочинений на эту тему: Шишкина, Флетчера и пишущего эти строки.

* *
*

И, наконец, заключительная часть книги. Автор бесстрашно вскрывает все язвы современной церковной жизни. Это, пожалуй, наиболее яркие страницы книги. Здесь автор показывает, каким гнетом и какой паутиной лжи казенных иерархов и казенных советских борзописцев окутано ее существование.

В Священном Писании сказано: «Свидетельство двух есть истина» (Иоанн, 8, 17). И вот перед нами свидетельство нескольких членов Русской Церкви в современном ее положении. Свидетельство двух иереев, отца Глеба Якунина и покойного отца Николая Эшлимана (декабрь 1966 года), свидетельство пишущего эти строки (статьи 1967-68 годов), свидетельство Льва Регельсона («Трагедия Русской Церкви», Париж, 1977 г.). И вот теперь является новый свидетель, отец диакон Владимир Степанов (Русак).

Все эти свидетели – люди разные, люди, пришедшие в Церковь в разное время, люди разных общественных состояний, различных поколений, различных общественных убеждений. Одно лишь несомненно: что это люди честные, ко-

торые заплатили дорогой ценой за смелое открытое исповедование своих убеждений перед лицом самого мощного в мире тоталитарного государства.

Отец Владимир Русак также платит дорогой ценой – пребыванием в заключении в течение многих лет, гонениями, голодом, холодом, непрестанной клеветой на него официальных церковников.

И несомненно одно – устами всех четырех глаголет истина. И эту истину подтверждают авторитетные уста многих святителей, в том числе свидетельства Гермогена Голубева, выступившего одновременно с двумя священниками в 1966 году со своей декларацией на имя Святейшего Патриарха Алексия.

Пусть же знает мир истинное положение Церкви Русской Православной, сжатой железными тисками тоталитарных господарей. И совместными усилиями всех честных людей: верующих христиан, православных, католиков, протестантов, – людей доброй воли всех наций и всех исповеданий, – да будет оказана помощь страждущей Церкви. Железное кольцо да будет прорвано. Солнце свободы да воссияет над Русью и над страждущей Церковью Российской.

*30 декабря 1987 года
Luzern*

ВЫШЛА В С В Е Т Н О В А Я К Н И Г А

Эмилия С л е з и н г е р

СТЕЗЯ ТЕРНИСТА

Стихи разных лет 1968 – 1987.

140 стр.

Книгу можно заказать у автора: Emily Slezinger,
Harav Levi str. 6/41, Ramat-Hanasi, Bat-Jam, Israel
Tel. 03-551 07 60

Истоки

К тысячелетию Крещения Руси

Стр а н н и к

ПЕРЕПИСКА С ГЕН. П. Н. КРАСНОВЫМ

В моих бумагах, спасенных моим секретарем Сергеем Степановичем Любимцевым от бомб и пожара в горящем Берлине и после обыска Гестапо в 1943 году, я нашел три письма, имеющие, как я думаю, религиозный и общественный интерес. Утеряно начало этой переписки – первое письмо ген. Краснова.

Предпосылаю этой публикации краткую выдержку из I-го тома моих воспоминаний «Биография Юности»: Париж, 1977 год (58-я страница, II-й абзац):

... «Мы стояли некоторое время в Ростове-на-Дону. Помню, я ездил в Новочеркасск и однажды зашел в Новочеркасский собор. Я стоял совсем сзади во время шедшей воскресной службы, а впереди, на левом клиросе, стоял с женой своей Донской атаман П. Н. Краснов... Если бы тогда какой-нибудь провидец мне сказал, что этот хозяин Дона, генерал Краснов, ровно через двадцать лет, станет моим духовным сыном (а я буду настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине), я бы счел такого провидца сумасшедшим. Еще более сумасшедшим его счел бы П. Н. Краснов. Тогда, в 1918 году, я был самым последним военным чином на Дону, а он – первым».

Начало этого берлинского диалога с П. Н. Красновым, в самый разгар преследования евреев в Германии, я отношу к концу 30-х или началу 40-х годов. Я был настоятелем храма Святого равноапостольного Кн. Владимира в Берлине (с 1932 до 1945). Генерал П. Н. Краснов, живший тогда на окраине Берлина, иногда посещал наш храм. Опираясь на палочку, становился позади молящихся. Это вызвало с моей стороны воспоминание о моем посещении храма, где он молился, летом 1918 года в Новочеркасске.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский

Дорогой Петр Николаевич,

Так как вопрос, Вами затронутый, чрезвычайно существен в деле веры, и правильное выяснение его – неотложная задача христианского сознания и пастырства, то я решил продолжить нашу беседу письменную, принявшую духовнический характер... * Богочеловечество Спасителя есть не только явный для очей веры факт, но и величайшее *Таинство міроздания*: «Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его»... (Ин. 1, 14). Чтобы спасти мір и человечество, Слову Божию, сотворившему міры, надо было воплотиться, вочеловечиться и заговорить с нами на человеческом языке. Нельзя было Господу воплотиться, стать Человеком «абстрактно», теоретически, призрачно, – тогда бы и не было истинного во-человечения, спасения человека и міра. Но люди, после грехопадения, оказались разбиты на отдельные враждующие между собою личности и народности. Фактически, *нельзя было стать подлинным человеком, живущим на земле, без того, чтобы не причислиться к какой-либо земной народности*. И Господь Иисус Христос – по предвечному плану спасения человека в Боге, сопричислился по Матери, по Человечеству Своему, к определенному историческому народу. Принял, в Матери Своей, земных предков... Ближайших из них, родителей Пресвятого Богородицы, Иоакима и Анну, Церковь называет «Богоотцами» и поминает после каждого богослужения: «...Молитвами святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, да помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец». Этим Церковь непрестанно благовествует реальность, истинность, не-призрачность *во-человечения* Господа Иисуса Христа. Вся тайна *Богочеловечества* и всего христианства в том, что Божество и Человечество в Господе соединились «нераздельно, неслиянно, неразлучно, неизменно» (определение свв. отцов IV-го Вселенского Собора). Господь есть Богочеловек. И Он, одновременно, *Всецеловек*, выше не только одной какой-либо из раздробивших человечество национальностей, но *выше всего и всех*. Потому Он – *истинный Сын Божий* – Спаситель людей *всех народов міра*. Он Творец всех, но, в смирении Своем, вошедший в человеческое естество, чтобы стать – кроме греха – одним из нас всех,

* Мой ответ на первое письмо П. Н. Краснова. Письмо его это не найдено.

грешных людей. Он не только «укрылся» телом, Он и обожил человеческую природу в Себе; и теперь в Нем Едином мы, верующие в Него, становимся «богáми по благодати», бессмертными и блаженными жизнями... И в нас во всех, кроме нашей земной национальности, существует (и является на земле) нечто, принадлежащее уже к Его будущему всечеловеческому Царству: Его правда всемирная, чистота, любовь и вечность.

Вы совершенно правы, почитая Господа Иисуса Христа как Всечеловека, стоящего выше всех национальных перегородок. Господа ничем земным нельзя ограничить. *Его вочеловечение не есть Его ограничение.* И этого не могут еще многие понять, прежде всего иудеи, Его распявшие (и до сих пор, не осознавая того, распинающие в мире своим неверием в Него и неприятием Его как Мессии): «...Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие», сказал ап. Павел. Бог-Творец отдал Себя, по человечеству безгрешного, на распятие и унижение людям-тварям. Этого не принимает ни замкнувшийся в себя иудаизм, ни фанатизм язычества. Это «безумно» для рационалистов-эллинов, потому что это против земной мудрости и несовместимо с рациональным понятием «целесообразности». А для справедливо ужасающихся пред Именем Божиим иудеев это «соблазн», скандал, что Бог столь Себя «умалил» и словно перестал уже быть Богом истинным, Ягве, Элогимом. Эти иудеи хотят верить в Бога совершенно возвышенного над жизнью этого мира, являющегося человеку на горе Синайской, не соединенного со страстями человеческими, как это открывается в язычестве. От этого большинство иудеев и не приняло Христа как Бога, Воплощенного в смиренном и кротком Иисусе, Сыне Человеческом. Небесная чистота Его оказалась страшна и всему язычеству, утопавшему в пороках и грехах, и не приемлема близость к миру – любовь Христа. Но мессианство Христа не только для иудеев и эллинов нужный и важный всемирный факт. Для всех народов мира Христос Господь – Мессия. У Него нет лицеприятия. Он – Отец всего нашего человечества, всех народов. Но плоть Свою принял Он от Девы Марии, Чистейшей иудеянки. На то была – *Его святая воля*, возвещенная в пророчествах Библии. И нашему маленькому и немощному человеческому уму не разгадать тайну этого. И христиане всех народов ее приняли с благодарением. И нам, русским, дана эта истина для смирен-

ного полного принятия ее верой. И только когда мы примем эту истину Богочеловечества Единого Сына Божия, – нам откроются и другие тайны всего изумительного дела Искупления Христова.

После 2000 лет христианства в это уже не трудно верить, – если даже не только лично своей верой, то *верой и надеждой всех церквей*. Святые народов не сомневаются в реальном Боговоплощении Христа от Девы Марии, *осененной Духом Святым*, дочери иудейской семьи Иоакима и Анны. Нельзя умалять ни Божества Христова, ни Его – кость от кости – нашего чистого человечества. Он – не частично, а всецело – Бог и Человек. В Нем сияние всего человечества без греха. Все человечество в Нем преображено, восстановлено, обожено. Он – «Новый Адам». Родоначальник всего нового человечества, Божьего, святого. Такого, в котором действительно все люди и народы могли бы и могут соединиться, без тленных и временных своих перегородок.

Апостол любви, евангелист Иоанн, иудей, очень строг к неверным иудеям (назвал их: «сыны диавола»). Но Слово Божие *одинаково строго и ко всем неверным душам других народов*. Никто из народов тут не имеет пред Богом нравственного преимущества «по своей плоти и крови». В Царстве Божьем законы «плоти и крови» исчезают, уступая законам Духа и Истины.

Ни на иоту в веках Церковь не уступала и не уступит этой своей Истины, возвещая всю ее полноту во Христе, так как эта истина есть путь подлинного спасения всех людей из того ада, который все более и более делается виден в истории грешного человечества.

И надо детски-просто, без смущений принять эту Истину Евангелия. Если нас что-либо смущает в Слове Божьем, или нам кажется, что в нем есть «противоречия», то это верный знак, что *в нашем собственном мозгу и сердце* есть еще противоречие истине, – а не в Слове Божьем, где никаких противоречий нет. А знакомство с творениями свв. отцов и учителей Церкви (хотя бы только со св. Иоанном Златоустом) раскрывает такую гармонию, глубину и чудесность Библии, что верую и любовью славись Господа все жарче... Верьте, дорогой Петр Николаевич, что *нет противоречий в Слове Божьем*. А исторические факты, «соблазняющие» людей в Библии, так же не могут нарушить ее глубины и чистоты, как рас-

сказ о предательстве Иуды и распятии Господа иудеями и римлянами не может нарушить голубиной чистоты и истины Евангелия.

В России же будущей, думаю, люди будут не столько абстрактно рассуждать о Слове Божьем, сколько *жить им, пить его своими иссохшими устами и гортанями...* Да исполнится еще раз его святое пророчество (Исайи: 44, 3; Амоса: 8, 11).

Если для всех народов безмерно важно и драгоценно *сообща* уверовать в Мессию, Спасителя *мира*, из какого бы народа Он ни происходил, то иудейству, его характеру, это не безразлично. Иудейство библейское хочет и домогается иметь Мессию из *своего* народа и племени; но это не по эгоизму только своему, а потому что это было обещано Богом *этому народу*. Господь, любящий всех людей без лицепрятия, дал всем веру в спасение. И иудеи имеют сейчас полную возможность веровать и в «своего» (не только всемирного, но и всемирского) Мессию, Мессию не только в общем духовном смысле, но и в историческом. А «из язычников христиане» имеют возможность верить в Него как своего национального Мессию, *невзирая на то, что по плоти и крови Он принадлежит к народу иудейскому*.

Мы, русские, бывшие язычники, поклонники Перуна, крестившиеся 1000 лет тому назад, оказались как бы более «христианами» (по вере и психологии своей), чем иудеи, чрез которых явил Себя *миру* Христос.

Оттого Господь благоволил воплотиться не в каком-либо из языческих народов, а в иудейском, согласно пророчеству, от Девы-Иудеянки, зная, что *нас, слепых духовно язычников мира, это не смутит и не оттолкнет от веры*; а иудеев только такое участие в спасении их «крови и плоти» – может смирить и спасти.

Видя столь дивный Промысел Христов над человечеством, мы никак не можем сходить со своей библейской точки зрения, – не можем соблазняться «иудейством» Богочеловека. Соблазняться этим, стыдиться своего духовного иудейства и стараться «затушевать» этот факт, – значит выказывать неверие Богу и унижать, обессиливать христианскую веру.

Да, Господь Иисус Христос – величайший, Единый истинный Всечеловек; выше всякой национальности, народности и расы. И именно *в силу этого, в силу драгоценности для нас именно этого, мы и не должны стыдиться*, тем более, опа-

саться являть Его исторических по плоти и крови предков. Мы не иудеи, для которых так важна и генеалогическая сторона; для нас важна вся духовная реальность Мессии, и – в силу этого – необходимость духовного подхода к Лику Спасителя мира. Нам очень легко и просто принять высшую антропологическую реальность Божьего Вочеловечения Христа во всех народах. И раз Откровение свидетельствует нам, что Бог непременно воплотился – благоволил явиться всему человечеству именно через род Авраама, Исаака и Иакова, и Давида, – мы радостно и просто, без всякого смущения, сомнения и отталкивания от этой истины, радостно принимаем ее. Тут у нас нет трудностей. Именно в силу нашей несвязанности с национальностью и иудейским Законом. Мы как раз выражаем свое христианство именно в том, что принимаем Мессию всего мира, пришедшего не из нашего народа; даже из народа, не для всех людей привлекательного, как это проявляется в истории. Мы в этом нашем действии веры именно и осуществляем (и можем проверить) свое христианство. Если же мы, хоть на каплю, скандализируемся в сердце своем или пред людьми стыдимся того, что Христос пришел из презируемого и многими в истории гонимого народа (гонимого по Промыслу и пророческому определению Божию, и в силу еще неприятия им Живого Бога во Христе), мы этим ослабляем и свое христианство, даже отрекаемся от всей глубины его святой веры. Мы хотим отвергнуть его крест и принимаем лишь его славу. Слава христианства пришла со Креста. И надо нам всецело принять Христа – весь путь Его Правды, чтобы и этим войти в Его славу.

Архим. Иоанн

Ваше Высокопреподобие, Глубокочтимый и дорогой
Отец Иоанн,

Нет, не убедило меня Ваше письмо. Я повторяю Вам то, что писал и раньше: я не философ и того менее богослов, – а кавалерийский офицер и в прошлом наездник, имевший больше дела с лошадьми, чем с людьми. Поэтому, может быть, и рассуждаю я примитивно-просто, по-лошадиному. Спорить я не могу – не достаточно я вооружен, точнее, совсем не вооружен для богословских споров. Но всей моей душе (тоже лошадиной) и моему сердцу претит теперешнее (в дни

моей молодости и учения у отца Михаила Соколова, Константина Виноградова – в гимназии; Иоанна Середонина в корпусе; у полковых священников, у о. Александра Васильева – духовника Государыни Императрицы Александры Феодоровны, наконец у отца Георгия Спасского, – эти вопросы не поднимались и, тем более, не углублялись). От того, что Вы мне пишете, чуть веет монофизитством. Да, БОГОЧЕЛОВЕК, но и человек, Сын Девы Марии, внук Иоакима и Анны из рода Давидова. И не только человек, но и иудей, то есть жид. Как же человек, да еще еврей, мог творить чудеса, одним словом, одним прикосновением исцелять неизлечимо больных, воскрешать умерших, претворять воду в прекрасное вино, Самому воскреснуть и вознестись на небо? Как мог иудей ходить по волнам бурного озера, незримо проходить через толпы возбужденных против Него иудеев и появляться в ином месте? Вся сложность и точность чудес исчезает, подвергается сомнению от такого, употребим модное слово, «расистского» подхода к бытию на земле Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария не была Матерью Его в точном значении этого слова... «И пришли Мать и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него „сидел народ“. И сказали Ему: Мать Твоя и братья Твои и сестры Твои вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто Мать Моя и братья Мои? И обзрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот Мать Моя и братья Мои, ибо кто исполняет волю Божию, тот Мне брат и сестра и мать» (Марка, гл. III, 31-35). Что же, Христос отрекся от Матери Своей, сестер и братьев? Ничуть. Он никогда и не считал Пресвятую Деву Марию Матерью Своей в физическом, человеческом смысле слова. Он был Бог, Сын Божий, то есть Дух Всемогущий и могущий не только воплотиться, но и исчезнуть и снова воплотиться. Не потому ли, по воскресении Его, Апостолы и «Мироносицы-Жены» не сразу узнавали Его и приняли даже за садовника. Как можно сказать, что Христос был от семени Давидова. Самое это чувственное, *плотское*, грубое представление о Христе противоречит учению Православной Церкви о *бессемennom* зачатии; а если Христос был зачат Девой Марией без семени («без похоти плотския, без похоти мужеския»), то и не приходится говорить о семени Давида, Авраама и других.

Остается Божия Мать, Сосуд избранный, Невеста невестная, обожествленная и обожаемая Дева-Мать. Тут вопрос

сложнее. Вы называете Ее иудеянкой, то есть по народному русскому – жидовкой. Как согласить это грубое имя, имя, ненавистное русскому народу, с благоуханной легендой, что Пресвятая Дева обитает и поныне на земле и проявляется в явленных иконах, а то и в образе Девы, – Лурдская Божия Матери католиков? Что же? Иверская, Казанская, Донская, Аксакайская, Курдская и т. д. Божия Матерь – иудеянка-жидовка? Лица, жившие во времена Христа и описавшие Божию Матерь, – описали Ее как Деву необычайной красоты и, говоря нашим грубым языком, – обаяния. Как Деву без расы, без плотского образа. Великие художники, как Рафаэль, – писали Ее образ не с евреек, придавали Ей черты неземные; так же и наши старые иконы с темными ликами и иконы-картины Нестеровского, Васнецовского, Поленовского письма, рисуют нам женщину неземной красоты и никогда не жидовку. И только художники евреи, реалисты, как Ге – и Христа и Матерь Божию изображали с чертами земными, иудейскими.

Да, в Евангелии написано, да, в Библии пророками предсказано... Пусть так. Да, Евангелие писали евангелисты, так сказать, под диктовку Духа Святого, и в нем нельзя ни одной запятой переставить, не согрешив против Духа... Но Евангелия дошли до нас в списках, преимущественно еврейских. Вот и сомнения – а не мудрили ли тут переписчики, не могшие вместить полностью чуда воплощения, чуда явления Бога среди людей; а не грешили ли и переводчики, да и самые евангелисты, так докучавшие Христу своими праздными вопросами, а временами и недоверием к тому великому и чудесному, к тому Божественному, что говорил и творил при жизни на земле, точнее, *при явлении на земле* Иисус, Сын Бога Живого.

Нет, не снимайте скальпелем внимательного исследования происхождения Христа и Святой Девы изумительной красоты явления Христа в мир, путешествия в Вифлеем, Младенца в яслях, среди коров, овец и ослов, осиянного светом, поразившим пастухов. Не удаляйте астрономическими координатами святой звезды, ведущей волхвов к Отрочу Младу, предвечному Богу, не вносите материализма в чудо неизъяснимое; ибо для Бога все возможно, и для Бога не нужно Христа – полуиудея и Божией Матери иудеянки. Людям послан Сын Божий, чтобы спасти людей, и мы молимся Ему: «Иисусе Сладчайший, помилуй нас». У людей есть Заступница и Покровительница в скорбях, Божия Матерь, «помощь и надеяние», Кото-

рую достойно восхвалять и достойно Ею хвалиться. Недостигаемая и Недоступная, отнюдь не иудейка, но Святая Дева, Сосуд Избранный, без расы, без жидовской родни Фаресов и Зары от Фамари, Есромов и Арамов, Аминодавов и Наасонов – не нужно этого нам, христианам. Так пишут аттестаты простым лошадям и так нельзя писать о Сыне Божиим, от Бога-Отца исходящем, Кем дано Слово, Кем дан Свет, светящий во тьме, даже теперешней мрачнейшей тьме. И эта мрачнейшая тьма не может объять Христова Света...

П. К.

ПОСЛЕДНИЙ МОЙ ОТВЕТ П. Н. КРАСНОВУ

Мне чувствуется, что, защищая свою точку зрения, Вы как бы защищаете с нею образ Того Иисуса Сладчайшего, Который сроднился с Вашей верой и Вашим чувством... Поэтому моя задача вдвойне трудная; и, конечно, ни на какие силы свои я не могу рассчитывать, и никакой свой аргумент я не могу считать достаточно убедительным – для Вас... Ибо Вам кажется, что я выступаю перед Вами с «умалением» величия Господа Иисуса Христа... Вы даже говорите, что моя точка зрения «монофизитская», хотя *монофизитством* всегда именовалось в истории христианства признание в Г. И. Х. *только одной природы, а именно Божественной*; причем *человеческая* считалась монофизитами «призрачной», не полной. Это лжеучение было осуждено на IV-м Вселенском Соборе (Халкидонском), и Халкидонский догмат о том, что в Господе Иисусе Христе «неслиянно, нераздельно, неразлучно, неизменно» соединился Бог Творец и Человек, – остался центральным догматом всего христианства и душой Православия.

Как и Вы, я тоже не могу иначе мыслить о Г. И. Х. как о Сладчайшем и Вожденнейшем, «Краснейшем паче всех сынов человеческих». Но меня страшит и подумать, чтобы я мог отринуть те или другие места в Его Евангелии, Которое Он дал и сохранил Промыслом Своим в абсолютной неповрежденности до наших дней. Я и подумать не могу, что какие-то злостные люди «фальсифицировали» Само Слово Божие!.. Это было бы для меня неверием в Слово и стало бы источником всё развивающихся сомнений. Если бы я сегодня поверил, что «родословная» Г. И. Х. – Его *человеческой* стороны –

мне «не нужна», или что она «фальшь», то завтра я, вероятно, усумнился бы в другом тексте, послезавтра в третьем и – изрезал бы все Евангелие ножницами, что фактически сделал Лев Толстой, когда стал выдумывать свою христианскую веру. Но Господь, от молодых ногтей, сохранил меня от сомнений в этом отношении, и я лобызаю каждую строчку Евангелия. Раньше лобызал бессознательно, по-детски, сейчас – в полном сознании того, что все в Евангелии есть Истина, ни на йоту не поврежденная, не сфальсифицированная.

Для меня благословенно евангельское учение о том, что нет поганого ничего в творении и в человечестве – *кроме греха*. Грех лишь – вина пред Богом – есть поганость и мерзость человека и человечества. Но, если взять любого человека – человека любой расы, любого народа и освободить его от *всякой* греховности в абсолютном (метафизическом) смысле, то всякий человек станет *подобным* Богочеловеку. «И эллин и иудей». И *всякий* «жид», если от него отнять, отделить всю его греховность, по существу своему станет таким же подобным Сыну Божию, как и русский, как и негр, как и любой «сын человеческий». Ибо *по естеству все люди равны* пред Богом, и лишь степень правды или неправды греха, или праведности отделяет их от Бога, или приближает к Нему.

Пред святейшим же Лицом Божиим *все грешны*, все окаянны... «От них же первый есмь аз»... Возвышать себя пред Богом за счет других каких-либо людей у меня нет никаких оснований. Оттого мне совершенно легко принять, что Бог для Своего воплощения избрал не русский, а другой народ. Все народы Им сотворены и физически равны. Только грех производит различие в людях.

Что касается специально «жидов» – иудеев, то их *современный лик есть следствие их неприятия Господа Иисуса Христа*.

И нельзя современное иудейство, ожидающее лже-мессию (антихриста), – отождествлять с древним иудейством, ожидавшим Христа Спасителя. Ныне умолкли пророки в иудейском народе, а ранее они говорили, и мы почитаем древних свв. пророков иудейских и никогда не презрим тех, с кем Господь Иисус Христос благоволил явиться на Горе Фаворской, в свете неизреченном Преображения...

Сияющего Образа Господа нашего и Его величайшей небесной славы ничто, и никто, и никак умалить не может.

Но Его Истина бескомпромиссная. Ее нельзя переиначить или недомолвить.

Вот бедняк Ив. Ал. Родионов, пред кончиной своей, вздумал «перетолковывать» Апокалипсис, сообразно своим идеям; и – сын его, Гермоген, мне рассказывал, что нельзя передать, до чего УЖАСНА была кончина его отца. Буквально, словно какой-то невероятный ужас диавольский вздыбил Ивана Ал., после чего он упал бездыханным... Мы предупреждали Ив. Ал., что Слово Божие есть меч обоюдоострый, и нужно чрезвычайное смирение и проверка себя святыми Церкви, чтобы толковать его. Не напрасно в конце Слова Божия есть ясное предупреждение:

«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей» (Откр. XXII, 18-19)*.

А. И.

ОТ РЕДАКЦИИ: Эта переписка русского священнослужителя с известным казачьим генералом может, на наш взгляд, служить лучшим свидетельством отношения Православной Церкви к проблеме антисемитизма.

* По-видимому, кончина П. Н. Краснова – да будет Господь милостив к его душе – была столь же мучительной и жуткой, как смерть Ив. Алекс. Родионова, автора книг «Наше преступление» и «Сыны диавола», где «из Писания» доказывалась оправданность ненависти к евреям. Сообщивший мне в Берлине о характере смерти своего отца, был Гермоген Родионов, адъютант П. Н. Краснова в Германии военных лет. Выданный с Красновым сов. войскам, осужден на 25 лет лагеря и скончался в нем.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ СОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТАЛИИ (в 60 км к северу от НЕАПОЛЯ) С 12 ПО 24 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА

Строго ограниченное число участников (всего три группы по 5-6 человек в каждой). Уровень знания русского языка: минимум 1 семестр университета или 2 семестра вечерних курсов. Русская атмосфера. Сочетание занятий с отдыхом на море. Жилье и трехразовое питание по классу люкс. Одноэтажные виллы с террасами, конференц-зал, ресторан, два плавательных бассейна, оборудованный песчаный пляж, бар с танцевальной музыкой, сауна, спортивный комплекс, прокат велосипедов. Экскурсии с русскоговорящими гидами: на Капри, в Помпею, в монастырь Монте-Кассино, возможность организации поездки в Рим.

Ежедневные занятия языком, доклады с дискуссиями, диапозитивы, прослушивание записей русской музыки, просмотры видеофильмов. Кружки: научно-технической терминологии, русской кулинарии, западноевропейских и бальных танцев. Преподаватели все русские с научными степенями. Возможность индивидуальных занятий языком для отстающих.

ПОЛНАЯ ОПЛАТА (жилье, питание и обучение) за весь срок — 950 немецких марок в комнате на троих, суточная доплата за комнату на двоих — по 10, на одного — по 30 немецких марок.*

Высылка дополнительных данных о курсе по первому требованию. Обращаться: Ирина Борисовна Эльконин-Юханссон (телефон — Стокгольм 50 42 06, адрес — Irina Elkonin-Johansson, Kronobergsgatan 25, 11233 Stockholm, Sverige).

* Во французской валюте соответственно: 3 140, 34 и 102 франка.
В валюте США: 550, 6 и 18 долларов.
В шведской валюте: 3 450, 37 и 111 крон.

Искусство

Джордж О р в е л л

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК О САЛЬВАДОРЕ ДАЛИ

Автобиографии только тогда внушают доверие, когда в них содержится что-то, позорящее рассказчика. Человек, пишущий о себе только хорошее, скорее всего врет, так как жизнь, рассматриваемая изнутри, неизменно представляется цепью поражений и неудач. Однако даже явно лживые автобиографии (например, писания Фрэнка Хэрриса) могут дать довольно правдивую картину о жизни автора. В эту категорию попадает недавно опубликованная книга Сальвадора Дали «Жизнь». Некоторые эпизоды в книге просто невероятны, другие приукрашены и романтизированы, и не только унижительные стороны жизни, но и неизбежные элементы ординарности нашего ежедневного существования тщательно изъяты из этого жизнеописания. По диагнозу, который Дали ставит самому себе, он – нарциссист, и его автобиография – словесный стриптиз при алом свете юпитеров. Но как запись фантастического рассказа об извращенном инстинкте, появление которой в наш механический век стало возможным, произведение имеет большую ценность. Вот несколько эпизодов из жизни Дали, начиная с раннего детства и кончая его зрелыми годами. Какие из них действительно имели место и что из рассказа – вымысел, неважно. Важно то, что Дали хотел, чтобы они все происходили на самом деле.

Когда ему было шесть лет, общество некоторое время было взволновано появлением кометы Галлея.

«Неожиданно дверь гостиной раскрылась и вбежали несколько клерков из конторы отца. Они сказали нам, что комету можно видеть с террасы... Пересекая переднюю, я заметил свою трехлетнюю сестру, которая тихонько переползала через порог комнаты. Я остановился и, поколебавшись мгновенье, ударил ее ногой по голове, как бьют футбольный

мяч. После этого я побежал дальше, исполненный безумной радости от совершения этого дикого акта. Но отец, который шел следом за мной, поймал меня, отвел в контору, где в наказание я был оставлен до обеда».

А за год до этого Дали – «неожиданно для меня самого, как и всё приходящее мне в голову», – столкнул с подвесного моста другого маленького мальчика. В книге описаны еще несколько подобных эпизодов, включая один, происшедший с Дали, когда ему было двадцать лет. Он сбил с ног девушку и топтал ее, пока его «не оторвали от истекающей кровью жертвы».

Когда он был подростком, в него до безумия влюбилась одна девушка. Он целует и ласкает ее, доводя девушку до последней степени возбуждения, но отказывается идти дальше в своих ласках. Он решает продолжать это в течение пяти лет и называет это своим пятилетним планом, наслаждаясь унижением девушки и ощущением власти над ней. Он часто говорит девушке, что по окончании этих пяти лет он бросит ее, и действительно бросает.

Он продолжает мастурбировать, будучи совершенно взрослым мужчиной, и, очевидно, любит делать это перед зеркалом. Для обычного секса он – импотент, пока не достигает тридцатилетнего возраста. Когда он встречает свою будущую жену Галю, он испытывает потребность столкнуть ее в пропасть. Он чувствует, что она ждет от него чего-то, и после первого поцелуя он делает следующее признание:

«Я ухватил Галю за волосы, запрокинул ей голову и, дрожа точно в истерике, закричал: – А ну, говори, чего ты от меня хочешь? Но говори медленно, глядя мне прямо в глаза, и скажи это самыми грубыми и похабными словами, которые мы можем произнести.

...Тогда Галя, в глазах которой блеск удовольствия сменился жесткой гримасой, проговорила: – Я хочу, чтобы ты убил меня!»

Дали несколько разочарован, так как это как раз то, что он собирался сделать и без ее просьбы. Он планирует сбросить ее с колокольни кафедрального собора в Толедо, но в конечном счете решает этого не делать.

Во время гражданской войны в Испании он ведет себя вполне разумно: сохраняет полный нейтралитет и уезжает в Италию. Его все больше привлекает аристократическое об-

щество, и он часто появляется в модных салонах, находит богатых поклонников своего искусства и фотографируется с толстым виконтом де Ноайем, которого он называет своим «Меценатом». По мере приближения начала Второй мировой войны его начинает заботить одна проблема: найти место, где хорошо кормят, но чтобы вместе с тем из него легко было убежать, если война подойдет слишком близко. Он выбирает Бордо и, как было запланировано, бежит в Испанию после Битвы за Францию. Он проводит в Испании ровно столько времени, сколько нужно, чтобы запастись историями о зверствах коммунистов, и уезжает в Америку. Рассказ Дали о себе кончается вполне rispetабельно. В тридцать семь лет он становится верным мужем, освобождается от всех или большинства своих извращений и отклонений и возвращается в лоно Католической Церкви. Кроме того, читателю дается понять, что он хорошо зарабатывает своими картинами.

Он, однако, не перестает гордиться своими сюрреалистическими картинами с названиями в духе «Великий онанист» или «Педерастия черепа с роялем». Вся книга наполнена репродукциями этих картин. Многие из них просто репрезентативны и имеют одну общую черту, о которой я буду писать ниже. В его фотографиях и сюрреалистических картинах особенно заметны две вещи: сексуальная извращенность и некрофилия. Предметы секса и символы, как, например, хорошо известный тапок на высоком каблуке или костыль и чашка теплого молока, на которые Дали, кажется, взял патент, кочуют из картины в картину, а кроме того, явственно просматривается мотив дефекации и мочеиспускания. На его картине «Мрачная игра» занавески покрыты экскрементами. Последние выписаны с такой тщательностью и реалистической простотой, что вся небольшая группа художников-сюрреалистов стала мучиться над вопросом: является ли Дали пожирателем экскрементов? На этот вопрос Дали твердо отвечает «нет» и добавляет, что это отклонение от нормы он считает «отвратительным», но впечатление таково, что интерес его к экскрементам простирается вплоть до этого предела. Даже когда он рассказывает о своих наблюдениях за женщиной, которая мочится стоя, он добавляет живописную деталь, отмечая, что ей не удастся направить струю в нужное место и она брызгает себе на туфли. Одному человеку не дано обладать всеми пороками – и вот Дали хвастается, что он не гомосексуалист. Одна-

ко в остальном он, видимо, обладает такой способностью к извращениям, о которой можно только мечтать.

Наиболее заметным извращением Дали является некрофилия. Он сам признается в этом и заявляет, что он от этого излечился. Лица мертвецов, черепа, трупы животных очень часто изображены на его картинах. Муравьи, пожирающие умирающую летучую мышь, тоже редко сходят с его полотен. На одной фотографии в книге видна картина, изображающая только что эксгумированный полуразложившийся труп. На другой – мертвый осел на крышке рояля. Этот осел фигурировал в сюрреалистическом фильме «Андалузская собака». Дали вспоминает этих ослов с большим чувством.

«Я ускорил процесс разложения ослиных трупов при помощи больших кастрюль с клеем, которым я их обливал. Затем я вырезал им глаза и увеличивал ножницами глазницы. Я также разрезал им рты, чтобы обнажить зубы. Получилось, будто я добавил несколько челюстей к морде каждого осла, и казалось, что ослы по мере разложения изрыгают смерть из себя самих, изрыгают на ряды черных зубов рояльных клавиш».

И, наконец, мы видим картину – видимо, какую-то комбинированную фотографию под названием «Манекен, гниющий в такси». По раздутому лицу и груди трупа девушки ползут огромные улитки. В пояснении к картине Дали отмечает, что это – съедобные бургундские улитки.

Конечно, в книге на четыреста с лишним страниц написано и показано гораздо больше, чем я упоминаю в моей статье, но я думаю, что мне в достаточной степени удалось передать моральный и психологический тонус этого произведения. Книга, фигурально выражаясь, воняет. Если бы книга могла действительно издавать запах своего содержимого, то она воняла бы очень сильно – что доставило бы большое удовольствие автору, который, ухаживая за своей будущей женой, натерся мазью из козлиного помета, сваренного в клее из рыбьей чешуи. На фоне всего этого необходимо отметить то обстоятельство, что Дали – исключительно одаренный чертежник. Кроме того, судя по отработанности деталей его картин, он – неутомимый работник. Он эксгибиционист, карьерист, но не жулик. У него в пятьдесят раз больше таланта, чем у большинства людей, критикующих отсутствие в нем нравственности и смеющихся над его картинами. Мы имеем дело

здесь с двумя различными наборами фактов, которые, взятые вместе, приводят к возникновению вопроса, редко подвергающегося обсуждению, так как прийти к какому бы то ни было соглашению тут невозможно.

Вопрос состоит в том, что творчество Дали представляет собой лобовую атаку на приличия и здравый смысл, а поскольку картины Дали, подобно порнографическим открыткам, способны отравлять воображение, то это есть атака также на самое жизнь. Можно спорить о том, что Дали делал на самом деле, а что придумал, но несомненно, что во взглядах и характере Дали нет места обычной человеческой порядочности. Он антисоциален, как, скажем, антисоциальна вошь. Не подлежит сомнению, что лучше бы таких людей не было вообще, а об обществе, где такие люди процветают, можно безошибочно заключить, что это – явно нездоровое общество.

Если показать такую книгу со всеми ее иллюстрациями лорду Элтону, или Альфреду Нойесу, или писателям из газеты «Таймс» – по сути дела, любому среднему англичанину, ненавидящему искусство, – то представить их реакцию будет нетрудно. Они напрочь откажутся увидеть что-либо заслуживающее похвалы в произведениях Дали. Такие люди неспособны допустить, что в том, что деградировало морально, могут быть элементы эстетики. От художника они ждут в основном, чтобы последний по-дружески похлопывал их по плечу и уверял, что думать вовсе необязательно. Такие люди весьма опасны, особенно теперь, когда министерство информации и Британский совет дали им власть над искусством. Движимые инстинктом, они не только неизменно душат новый талант, стоит ему появиться где-нибудь, но также кастрируют искусство прошлого. Проследите, как поборники высокопарного искусства возобновили атаки в Англии и Америке на Джойса, Лоуренса и даже Томаса Элиота.

Но если вы вступите в разговор с человеком, который видит определенные достоинства в работах Дали, то, как правило, его реакция будет немногим лучше, чем у лиц первой категории. Если вы скажете, что Дали, хотя и прекрасный чертежник, – маленький негодяй с порочным умом, на вас посмотрят как на дикаря. Если вы скажете, что вам не нравится смотреть на гниющие трупы, а людей, которым это нравится, вы считаете психически больными, вам ответят, что вы не способны к эстетическому восприятию искусства. Между

этими двумя крайностями нет средней позиции, вернее, она есть, но о ней редко приходится слышать. С одной стороны, Kulturbolschewismus, с другой – «искусство для искусства», хотя выражение это сейчас не в моде. Откровенный разговор о похабщине вести нелегко. Люди боятся выглядеть шокированными и боятся показаться нешокированными, боятся обнаружить, что они усматривают связь между искусством и моралью.

Я постараюсь показать, что поклонники Дали требуют для него некой индульгенции авансом: художник должен быть свободен от правил и законов нравственности, которые должны быть обязательны для простых людей. Произнесите слово «искусство», и всё становится о'кей. Гниющие трупы с улитками – о'кей. Бить маленьких девочек по голове – о'кей. И даже фильм «Золотой век» – о'кей*. О'кей и то, что Дали годами кормился во Франции и наживал там состояние, а при первых признаках опасности для страны бежал из нее, как бегут крысы с тонущего корабля. Главное, хорошо рисуйте – и вам всё простится (всё будет о'кей).

Соотнесите вышесказанное с обычным преступлением, и станет очевидна фальшивость такой точки зрения. В наш век творческая личность является исключением, и художнику можно извинить некоторую степень безответственности, как мы это делаем в отношении беременных женщин. Но ведь мы не говорим, что беременным женщинам можно безнаказанно убивать. Мы не простим этого и самому талантливому художнику. Восстань завтра из гроба сам Шекспир, разрешим ли мы ему насиловать маленьких девочек на том основании, что он может написать еще одного «Короля Лира»?

Но, замечаем мы, и худшие преступления не всегда наказуемы. Допуская публичные рассуждения о труположестве, мы вредим себе не меньше, чем, скажем, поощряя карманных воров на скачках. Необходимо все время держать в голове два обстоятельства: первое, что Дали – прекрасный рисовальщик, и второе, что он – отвратительная личность. Одно не исключает другого и, в некотором смысле, не влияет на другое.

* Дали упоминает, что первый показ фильма «Золотой век» был сорван «хулиганами», но не пишет, о чем был фильм. Как рассказывает о фильме Генри Миллер, среди всего прочего в нем были сняты крупным планом кадры, изображающие испражняющуюся женщину.

От стены мы прежде всего требуем, чтобы она стояла. Если она стоит, это хорошая стена. Для чего она стоит – это уже другой вопрос. Однако самая лучшая стена в мире заслуживает, чтобы ее взорвали, если она окружает концентрационный лагерь. Точно так же мы можем сказать: «Это хорошая картина (или книга), но она заслуживает того, чтобы палач публично сжег ее на площади». Отказывать себе в праве сказать это, хотя бы мысленно, значит закрыть глаза на тот факт, что художник есть также гражданин и человек.

Не подумайте, что я настаиваю на запрещении автобиографии Дали или его картин. Вряд ли разумно что-либо запрещать, за исключением порнографических открыток, продающихся в средиземноморских портовых городах. А автобиография Дали, возможно, проливает свет на какие-то стороны нашей разлагающейся капиталистической цивилизации. Но в чем он действительно нуждается, так это в диагнозе. Вопрос стоит не столько о том, что он такое, сколько почему он таков. Вне всякого сомнения, это больной ум. Его возвращение в лоно католицизма вряд ли что изменило, так как оправившиеся после тяжелой болезни и искренне кающиеся грешники не бравируют своими прошлыми пороками в такой беспечной манере. Дали – симптом болезни мира. Тут важно не объявить его хамом и наказать плетью, не провозгласить его гением, деятельность которого не подлежит критике и сомнению, а разобраться, почему он выставляет напоказ именно такой набор извращений.

Ответ, очевидно, лежит в тех картинах Дали, анализировать которые я не компетентен. Но я позволю себе указать на одну черточку, которая может послужить ключом к разгадке. Она заключается в следующем: когда Дали отходит от сюрреализма, его манера письма становится старомодной, орнаментальной, отдающей эпохой короля Эдуарда VII. Некоторые из его картин напоминают Дюрера, в одной чудится Бердсли, в другой – Блейк. Но эдуардовская эпоха чувствуется больше всего. Когда я впервые открыл его книгу и увидел эти бесчисленные иллюстрации, мне показалось, что я их где-то уже видел. Я взгляделся в подсвечник на одной из картин. На что он похож? Наконец я вспомнил: книга напоминала мне роскошное издание Анатоля Франса четырнадцатого года в английском переводе. Те же завитки и виньетки. На одном конце картины подсвечник на каком-то морском чудище, которое, если

вглядеться, оказывается простым дельфином, на другом – зажженная свеча. Эта свеча, которая тоже встречается во многих его картинах, – старый-старый друг. Вы найдете такие свечи с оплывами воска на дешевых электрических лампах, которые одно время были очень популярны у владельцев сельских гостиниц, отделанных под так называемый Тюдор. Эти свечи предназначены для пробуждения нежных сентиментальных чувств. Чтобы замаскировать это, Дали разбрызгивает чернила по странице, но это мало что меняет. Рисунок в конце шестьдесят второй страницы годится для детской серии о Питере Пэне. Рисунок на стр. 224, несмотря на удлинённый и похожий на сосиску череп, – просто ведьма из детской сказки. Таковы его лошади, единороги и юноши педерастического вида на страницах 97, 100, 218 и 224.

Во всех картинах просвечивает картинность. Уберите черепа, омаров, телефоны и другую парафеналию – и вы в мире Барри, Ракама, Дунсани и журналов «Где кончается радуга».

Любопытно то обстоятельство, что особо шаловливый период, описанный в автобиографии, совпадает с таким же периодом в его живописи. Когда я читал абзац о том, как Дали бил ногой по голове своей сестрички, мне смутно стало что-то припоминаться. Что это было? Ну, конечно, «Плохие стихи для плохих детей» Гэрри Грэхам, очень популярные в 1912 году стишки. Один из них звучал так:

Плачет Бедный Вилли.

Как ему обидно!

Он сломал сестренке шею,

И за это его лишили бутерброда с вареньем.

Происшествие прямо из жизни Дали. Сам Дали, конечно, сознает свое пристрастие к эдуардовскому периоду и, не теряясь, делает себе на нем капитал, более или менее в духе «пастиша». Он объявляет о своей особой склонности к тысяча девятистому году и утверждает, что любой декоративный предмет этого года полон таинственности, поэзии, эротики, безумия, извращенности и т. д. «Пастиш», однако, предполагает действительную любовь к вещам, которые художник пародирует.

Если не всегда, то, во всяком случае, часто интеллектуальный каприз сопровождается иррациональным, порою инфантильным порывом в том же направлении. Скульптора,

например, интересуют плоскости и изгибы линий, но ему, кроме того, приятно возиться с глиной или камнем. Инженер любит ощущать в своих руках инструмент, слышать шум динамомашины и обонять запах масла. Психиатр часто испытывает склонность к половой aberrации. Дарвин стал биологом, так как он был сельский житель и любил животных. Может быть, поэтому, на первый взгляд необъяснимый культ эдуардовского периода (например, его «открытие» туннелей метро 1900 г.) есть симптом гораздо более глубинного подсознательного комплекса. Бесчисленные, красиво отпечатанные иллюстрации, которые он величает «*le rossignol, une montre*», рассыпанные им по полям его книг, возможно, являются чем-то вроде шутки. Маленький мальчик в бриджах на стр. 103 – идеальный рисунок того периода. Вполне возможно, что мы встречаем у Дали все эти вещи, так как художник хотел бы писать картины, подобные картинам эпохи Эдуарда VII, и это и есть его настоящий стиль.

Если это так, то его aberrации можно понять. Вероятно, для него это просто способ не быть ординарным. Дали несомненно обладает двумя качествами: талантом рисовать и чудовищным эгоизмом. «Когда мне было семь лет, – пишет Дали в первом абзаце своей автобиографии, – я хотел стать Наполеоном. С тех пор это желание только крепло во мне». Фраза составлена нарочито пугающе, но она отражает действительное положение вещей. Подобные желания испытывают многие люди. «Я знал, что я – гений, – сказал мне один человек, – задолго до того, как я узнал, в чем проявится моя гениальность». А теперь представьте себе, что у вас ничего нет, кроме себялюбия и приткности рук, которая распространяется не дальше локтя; представьте себе, что у вас всего-навсего талант к хорошей репрезентативной живописи и вам отмерено быть иллюстратором учебных пособий. А вам надо стать Наполеоном! Что же делать?

Всегда можно найти выход: удариться в разврат, порок. Отчебучь что-нибудь, что шокирует и оскорбляет людей. Если тебе пять лет, сбрось мальчика с моста, ударь старого врача по лицу кнутом, разбей ему очки... или, по крайней мере, мечтай о таких вещах. В двадцать пять лет вырежь ножницами глаза мертвому ослу. И так постепенно почувствуешь себя оригиналом. И будешь вознагражден! Это гораздо безопаснее, чем убивать и грабить. Даже допуская, что в книге

Дали есть некоторые умолчания, все равно Дали не пришлось бы отвечать за свой эксцентризм, что было бы неизбежно в другую эпоху. Он достиг зрелости в двадцатых годах этого века, когда в моде была утонченная интеллектуальность и все столицы Европы кишмя кишели аристократами и рантье, которые оставили спорт и увлечение политикой и занялись протезированием деятелей искусства. Швырните им дохлого осла – и они швырнут вам взамен деньги. Боязнь кузнечиков, которая в прошлом веке вызвала бы лишь насмешку, превратилась в интересный «комплекс». А когда этот мир рухнул в тартарары под сапогами немецкой армии, то оставалась Америка. Ее можно было взять обращением в католичество, преодолев одним прыжком (и без тени раскаяния) расстояние между модными парижскими салонами и мягкими коленями гостеприимного Авраама Линкольна.

Такова в общих чертах история Дали. Но почему он развил в себе именно эти извращения, почему их было так легко продать взыскательной публике – эти вопросы остаются в компетенции психологов и социологов. Марксистские критики расправляются с такими явлениями, как сюрреализм, быстро. Для них это еще одно доказательство «буржуазного вырождения» (часто употребляемые ими клише: «трупный яд», «вырождающийся класс рантье»). Большого мудрствования не происходит. Но, хотя утверждения эти и констатируют факт, они все же не устанавливают причинной связи. Хорошо бы все же узнать, почему у Дали склонность к некрофилии (а не, скажем, к гомосексуализму) и почему аристократы и рантье, вместо того чтобы охотиться и волочить за женщинами, как это делали их деды, коллекционируют Дали. Просто осуждение по нравственным соображениям не объясняет природы явления. Но нам также не следует во имя «непредубежденности» притворяться, что картина «Манекен, гниющий в такси» не имеет отношения к нравственности. Эти картины отвратительны и являются продуктом большого мозга – отсюда мы и должны начать наше исследование.

Перевод с английского Игоря Бродецкого

Литература и время

*У нас в гостях краковский подпольный журнал
«Арка»*

Мариан С т а л я

ГОЛОС ПОЭТА

1

«Существуют два принципиально различных способа испытания времени и нас самих во времени, – говорит Роман Ингарден. – В первом случае нам кажется, что действительность – это мы сами, время же призрачно и остается всего лишь производной; во втором случае, наоборот, время и происходящие в нем перемены представляют собой единственную действительность, мы же как бы полностью перестаем существовать в этих переменах».

Таким образом, возможно переживание времени, гарантирующее тождественность человеческой личности и постоянство ценностей, являющихся ей в мире, и одновременно возможно такое испытание времени, при котором тождественность и свобода субъекта становятся сомнительными, а ценности также ставятся под сомнение или подлежат сознательному уничтожению.

Разумеется, иной смысл имеет мир гармонии и сохраненных ценностей, и совсем иной – мир действительности, в которой находят проявление силы, разрушающие личность и подрывающие объективность правды, добра, красоты... Различны также вопросы, задаваемые в обоих случаях самому себе и поэту...

Перевод с польского сделан в Польше. Автор выступает под псевдонимом.

Вместо определения «испытание времени» можно выразиться конкретней: переживание истории, переживание полюсы событий, в которые мы вовлечены, перед лицом которых существуем, против которых протестуем или с которыми мы солидарны. И как раз перед лицом событий последних лет, месяцев и дней становится очевидным факт, что одним из основных вопросов, которые ставят сегодня перед собой поэты и которые ставятся поэтам, является отголосок слов Гёльдерлина: «К чему поэт во времена глухие?» Сегодня это означает: к чему поэт в период отчаянья, боли, молчания? К чему поэт, когда ценности поставлены под сомнение? К чему поэт, если так трудно дышать полной грудью?

Последствие этих вопросов – драматическая альтернатива, требующая осмысления статуса поэта *hic et nunc*. Кем же должен быть поэт перед лицом таких событий и в их водовороте? Творцом возвышенных иллюзий, строителем изящных фраз – или свидетелем, которому суждено «увековечить слова и деянья»? Эта проблема и различные попытки ее решения без труда просматриваются в десятках анонимных стихотворений, опубликованных после 13 декабря 1981 года, а также в последних сборниках Адама Загаевского и Яна Польковского, Виктора Ворошильского и Бронислава Мая, Ярослава Марека Рымкевича и Томаша Яструна... В стихотворениях Баранчака и Кр. ницкого... Тот же вопрос особенно ясно слышится в парижском томе Збигнева Херберта (Рапорт из осажденного города. Париж, «Институт литеpaцкий», 1983. Библиотека «Культуры») – одним из наиболее подлинных польских поэтических сборников нашего времени.

Человек перед безумием и под давлением истории и политики XX века – эта тема всегда звучала в поэзии Херберта. Поэт был свидетелем истории задолго до того, как написал в «Послании господину Когито»:

ты выжил не затем чтоб жить
времени мало засвидетельствовать надо

Его свидетельства – это стихи о войне («Две капли», «Прощание с сентябрем», «Павшим поэтам» и т. д.), а также стихи, в которых слышатся отзвуки сталинского времени («Орнаментаторы», «Три этюда на тему реализма», «Песня о барабане»). Это своеобразные притчи о людях, вовлеченных в историю, – например, о русских эмигрантах,

высоченных блондинах
с мечтательными глазами
и женщинах как сон,

затерянных в чужом мире:

А несколько лет спустя
говорилось только о троих
о том который сошел с ума
о том который повесился
и о той к которой ходили мужчины

– а также о венграх памятной осени 1956 года, к которым

протягиваем руки
и огромный канат из воздуха
вяжем...

Приведенные фрагменты не повторяют единого, доминирующего мотива предыдущих сборников Херберта. Отзвуки текущих событий переплетались там с философской, религиозной, культурной рефлексией... «Рапорт из осажденного города» выглядит иначе: в общем и целом это рассуждения о человеке в истории и перед лицом истории, преобразуемые в поэтический трактат о человеке перед лицом времени и ценностей.

Эта общая идея конструкции особенно ярко выражена в подборке стихотворений, открывающих и замыкающих сборник. «Рапорт» начинается двумя итоговыми стихотворениями, написанными во время «оттепели» 1956 г. Кульминационным пунктом является стихотворение, давшее заглавие сборнику и написанное в период военного положения. Даты «1956» и «1982» – это графические пункты, определяющие испытательный полигон лирического героя (полигон, расширенный и

укрепленный, благодаря еще нескольким стихотворениям, особенно тому, которое посвящено Юзефу Чапскому и помечено датой: 17. IX.). Даты играют здесь роль символов, акцентируя факт, что переживания, описанные и продуманные в «Рапорте», распределены во времени между опытом эпохи сталинизма и опытом военного положения 1982 года. Тот и другой, говорит поэт, сливаются в одно целое, а может быть, даже больше: это все тот же, один продолжающийся опыт. Такую трактовку подтверждает аналогичная тональность текстов, отделенных друг от друга дистанцией в четверть века. В 1956 г. Херберт писал:

Я видел пророков рвущих на себе приклеенные бороды
видел шарлатанов вступающих в секты самобичевателей
палачей одетых в овечьи шкуры
(...)
потом
торжественное заседание
много народу цветы
душно
кто-то без конца говорил об искажениях действительности
я думал про его искаженный рот

Весь этот маскарад не может стереть безграничное зло, совершенное в годы, эвфемистически называемые «периодом искажений и ошибок», не может изгладить из памяти образ «человека, подвергнутого пыткам». Впрочем, как предвидел Херберт, и оттепель, и продиктованный ею спектакль кончится быстро, и снова поднимется «окровавленный занавес». Снова появятся «те, что стоят на верхушке лестницы», и будем «мы / уборщики площадей / ... / перед которыми они с верхушки лестницы / появляются редко / всё с тем же пальцем на губах».

Таким образом, стихотворения периода «оттепели» регистрируют положение всеобщего порабощения и бессилия, рассказывая о людях «без капли надежды в сердце», о людях, в которых надежда убита. Точно так же в стихотворении «Рапорт» защитники Города, измученные бесконечной осадой, чувствуют, что

одни наши сны не удалось им унизить.

Чувство безнадежности объясняется здесь, однако, иначе. Летописец, увековечивающий историю осады, говорит:

я должен быть точным но я не знаю когда началось вторжение
двести лет тому назад в декабре сентябре а может вчера на
рассвете
все здесь больны утратой чувства времени.

Последняя фраза – это больше чем свидетельство; это диагноз, вскрытие глубоких причин положения. Разумеется, можно истолковывать ее как утверждение постоянства и повторяемости состояния осады, порабощения, безвыходности – и к ней применять конкретные даты разделов, восстаний, войн... Но есть у нее и другое значение, впрочем, не противоречащее первому. Оно заключается в том, что сущностью исторического опыта в указанном временном поле является чувство отверженности от истории – или лишение истории. «Утрата чувства времени», которой больны защитники Города, означает, что все они существуют в каком-то особом круге времени, где одиночные элементы подвергаются разрушению, тогда как общая система, в которую вписана каждая отдельная личность, остается без изменений. Иначе говоря, мы имеем здесь дело со временем коллективной антиутопии, в котором личность подвергнута сокрушительному напору событий и в то же время лишена какого бы то ни было влияния на их течение, то есть поставлена вне истории. Тем не менее, такое распознавание не является для Херберта конечным пунктом (здесь он согласен с другими аналитиками авторитарной власти и ее последствий); это скорее всего пункт исходный, с которого начинается дальнейшее распознавание. Нетрудно предвидеть, что здесь появится портрет бесчеловечного властелина (Божественный Клавдий), а также образ личности, обманутой духом времени, бессознательно – несмотря на кажущуюся активность – плывущей по течению истории и бессмысленно гибнущей в ее волнах (великолепный и безжалостный образ Айседоры Дункан). Создается, однако, впечатление, что причины лишения истории отдельных личностей Херберт видит не столько в действиях властелинов и не только в недостатке сознательности у этих личностей (хотя неумение мыслить и оценивать действительность представляется ему очень серьезным грехом), сколько – прежде всего – в подчи-

нении действительности со всем ее бесконечным снаряжением какой-то абстрактной идее. Если можно доискиваться у Херберта следов платонизма, то, во всяком случае, не в концепции человека и не в философии власти. Здесь автор «Господина Когито» остается упрямым последователем Аристотеля, горячо одобряющим то, что конкретно, индивидуально, разнородно, – и отбрасывающим холодный, бесчеловечный мир абстракции. Господин Когито в своей «Молитве» благодарит за то, что Бог создал мир «прекрасный и разнообразный». Унифицированный мир вызывает у него отвращение. Может быть, поэтому Дамаст, называемый Прокрустом, «ученый реформатор общества», говорящий:

я жаждал уничтожить разницу между возвышенным и низким
человечеству так безобразно разнообразному жаждал дать
единую форму
трудился неустанно чтобы уравнивать людей

– обретает у Херберта черты современного тоталитариста. Любые попытки поисков «меры совершенного человека» рано или поздно должны окончиться уничтожением или порабощением человека – такого, какой он есть. Повторяем: главный враг Херберта – это абстрактная идея, подменяющая действительность ее утопической моделью и на место конкретного человека, представляющего собой истинную ценность, ставящая почерпнутую из философских трактатов фикцию – человечество. (Как видим, Херберт не поддался ни гегелевскому искушению, ни мягкому очарованию диамата...) Но есть еще и враг иной – Чудовище, с которым суждено было сразиться Господину Когито:

чудовище Господина Когито
лишено измерений
трудно его описать
оно не подлежит формулировкам.

Чудовище не провести, не обмануть –

во мгле
видна только
огромная морда ничтожества.

Чудовище Господина Когито душит своей бесформенностью: оно существует, хоть и невидимо. Что же это за чудовище? Рискую быть понятым однозначно, я бы сказал, что это утрата чувства ценности, сопряженная с утратой чувства времени. В мире, лишенном истории и надежды (без-надежном), всё становится одинаковым. Ничто не может быть лучше или хуже. Ничто не смешно и не трагично. Можно забавляться всем, чем вздумается. Всё здесь понарошку. Такой вариант нигилизма, вытекающий из порабощения, более чреват страшными последствиями, чем подчинение абстракции, поскольку он лишает действия всяческой мотивировки, прочно затягивает петлю времени, убивает возможность выхода из безысторического существования к субъективному существованию в истории. Поэтому Господин Когито, ненавидящий жизнь понарошку, защищающий подлинное существование, должен вступить в борьбу с Чудовищем, должен бросить ему вызов...

4

Таким образом, путь Херберта ведет от записи событий (общепонятого засвидетельствования истории), через поиски их обобщенного смысла, то есть через распознавание конкретной человеческой ситуации, к засвидетельствованию ценностей, дающих надежду внутреннего спасения от угрозы безнадёжности и нигилизма. Поэт понимает, что только тогда, когда будет восстановлен мир ценностей, можно будет искать в вихре событий иной существенный смысл. Можно будет открыть утаенную красоту мира. Можно сделать любой выбор, даже выбор возврата туда, где:

вспаханное поле
убийственные сторожевые вышки
густые заросли проволоки
бесшумные
бронированные двери.

Итак, Господин Когито решает «вернуться (на каменное лоно) отчизны» – «чтоб дать ответ». Возможность дать ответ, а тем самым готовность к каждой ситуации, означает внутрен-

нее чувство свободы. А это, в свою очередь, может или должно свидетельствовать о том, что голос ценности слышен, что к нему особенно прислушиваются, что ценности определяют существование, ибо только внутренне свободный человек может свидетельствовать о ценностях. И только он может обойти зоны истории и политики как пространство порабощения – и стать перед лицом времени в его истинном измерении, задавая вопрос о своем существовании во времени, общем с иными живыми существами («Господин Когито и долголетие»), о смерти («Скорбная элегия»), о вечности («Реке»). Поэт говорит:

научи меня река упорству и постоянству
чтобы я заслужил в мой последний час
отдых в тени великой дельты
в святом треугольнике начала и конца.

Конечный пункт поэтических приключений Херберта со временем вмещает в себя также религиозный смысл. Означает ли это, что найдя свое место по отношению к времени, свидетельствуя о нем и давая ему ответы, мы тем самым предстаем перед Богом? Возможно.

5

Мы уже говорили о засвидетельствовании ценностей, об ответе на заключенный в них момент требования реализации. Может быть, надо выяснить, какие же ценности хочет засвидетельствовать Господин Когито и сам Херберт. Такое выяснение, впрочем, не представляет трудности. Упоминалось неоднократно, что автор «Пещеры философов» отбрасывает всяческие переоценки ценностей и обнажает опасности нигилизма и релятивизма. Не будет преувеличением сказать, что поэзия Херберта черпает силу в обращении к ценностям фундаментальным, к аксиологическим трансцендентальностям – правде, добру, красоте. Подобное свидетельство здесь и сейчас связано с колоссальными трудностями и требует чрезвычайных усилий. Кажется, кроме того, что у Херберта можно найти следы давнего убеждения о тождественности этих трансцендентальностей. В такой концепции, выносящей ценности

в плоскость метафизики, не существует границ между началом этическим и эстетическим, поэтому не должно вызывать удивления признание Господина Когито, касающееся фантазии. «Фантазию использовал / в совершенно иных целях / хотел ее сделать / инструментом сочувствия», – говорит Херберт. Трудно представить себе более глубокое определение принципа, положенного в основу этой поэзии. Сочувствие – потребность в нем или невозможность проявления сочувствия – вот проблема, постоянно присутствующая в стихах поэта, оживающая в них отзвуками мотивов, характерных для Рильке и для его понятий сопереживания. В этом сопереживании следует доискиваться источников, которые побуждают к засвидетельствованию времени и ценностей.

6

На вопрос о роли поэта «во времена глухие» Херберт отвечает в своем «Рапорте из осажденного города» так же ясно и решительно, как в финале «Послания Господина Когито» – в памятном «Будь верен / Иди». Однако в повторяющемся призыве к засвидетельствованию ценностей слышится при этом более явно некий новый тон, касающийся проблемы красоты и жизнестойкости искусства – проблемы, которая для многих современных поэтов находится в бесспорной оппозиции к этическим обязанностям слова. Подчеркивая необходимость этического выбора, Херберт говорит:

на свои хилые плечи мы взяли дела всего общества
борьбу с тиранией ложью летопись страданий,

и в то же время добавляет:

Но враги – сам сознайся – были ничтожно малы
так стоило ли сводить святую речь
к бормотанью с трибун к черной пене газет...

Этот вопрос насыщен у Херберта драматизмом, быть может, даже трагизмом, поскольку это вопрос цены, которую может заплатить поэзия за свидетельствование правды – вопрос, значение которого, как уже говорилось выше, должен

понимать каждый, кто следит за современной польской поэзией. Поэт должен говорить правду. Поэт не может отказаться от красоты. «Слишком легко мы поверили, что красота не спасает...» Разумеется, речь идет о красоте в ее метафизическом смысле – о красоте, тождественной добру, о красоте, неразрывно связанной с единством и разнообразием времени, связанной с самим существованием и его продолжением. Этой красоте Херберт остается верен. Похоже, что в его собственной поэзии союз правды и красоты, свидетельства и поэзии стал осуществленным фактом, что кроме свидетельства в ней открывается нечто более глубокое, позволяющее отбросить «черную пену газет». Остается спросить самого себя: смогу ли я принять вызов, брошенный поэтом, смогу ли свидетельствовать о ценностях и перенести трагедию нависшей над ними угрозы, смогу ли чувствовать себя настолько же свободным во времени и перед лицом времени, как Господин Когито, как Збигнев Херберт? Тот, кто сможет дать на это ответ, приблизится (выражаясь языком Ингардена) к спасительному переживанию времени.



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: *Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. – Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) – Лучшее из журналов Свободного мира. – Самиздат. – Роман в продолжениях. – Письма читателей.*

– Дискуссии без цензуры. – Новые рассказы и повести несоветских русских авторов. – Что происходит по ту сторону кордона и др.

ИСТОРИЯ КНИГИ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ...

Имя Веры Лурье сегодня известно лишь узкому кругу специалистов, изучающих литературу Зарубежья. Глеб Струве в своем труде «Русская литература в изгнании», в разделе, посвященном критико-библиографическому журналу «Новая русская книга», писал: «Ближайшими сотрудниками критического отдела ящевского журнала были... и Вера Лурье, молодая поэтесса, до своего переселения в Берлин принимавшая участие в кружке „Звучащая раковина“, которым руководил Гумилев». Вспоминает о Вере Лурье и Владислав Ходасевич в своем «Некрополе».

Николай Гумилев высоко ценил поэтические опыты своей юной ученицы. 21 апреля этого года Вере Лурье исполнилось 87 лет, а ровно 67 лет тому назад она отмечала свое двадцатилетие вместе со своим Учителем. Именно ей судьбою было дано последней разговаривать с Гумилевым до его ареста. В том же августе 1921 года она была на похоронах великого Блока, а чуть позднее помогала проведению в Казанском соборе панихиды по расстрелянному Гумилеву. В России после этого ей уже нечего было делать... Началось изгнание: с конца 1921 года и по сей день поэтесса живет в Берлине, полностью разделив трагическую судьбу этого города.

В 1922 году, когда Вера Лурье была уже эмигранткой, в Петрограде тиражом в 1000 экземпляров выходит сборник стихов, посвященный памяти Н. С. Гумилева, – «Звучащая раковина». В эту книгу включены три стихотворения поэтессы.

Творческая судьба Веры Лурье, как и ее личная жизнь, сложилась трудно. За короткий период времени с 1922 по 1923 гг. поэтесса создает более двадцати стихотворений, публикует более 40 статей и рецензий. Именно в это время в первой книге журнала «Струги» ее стихи появляются рядом со стихотворениями Бориса Пастернака. «Падение» русского Берлина заглушило Музу поэтессы, и она умолкает на целых де-

сять лет. В 1933 году всего лишь двумя стихами она выступает в берлинском сборнике «Невод». С 1935 по 1941 гг. Вера Лурье создает цикл лирических стихов, посвященных ее другу А. В. Познякову, но его смерть в концентрационном лагере Дахау вновь отрывает поэтессу от творчества. В литературу Вера Лурье возвращается в 1956-57 годах, правда, ненадолго, опубликовав в это время в парижской «Русской мысли» несколько стихотворений и автобиографический очерк «Мое знакомство с гестапо». В последние годы Вера Лурье опять пишет стихи, но уже по-немецки, на языке своей второй родины.

В 1922 году издательство «Новая русская книга» объявило о том, что готовит к печати сборник стихотворений Веры Лурье. Увы, печатное это дело вскоре лопнуло, и книга поэтессы так и не увидела бы света, если бы не издательство «Берлин Ферлаг», только что выпустившее в свет сборник Веры Лурье – «Стихотворения»*. На издание этой книги, чья рукопись наперекор всему не сгорела, ушло шестьдесят пять лет, целая жизнь...

Издательство «Берлин Ферлаг», специализирующееся по проблемам Восточной Европы, достойно всяческих похвал за публикацию стихов почти последней (кроме Н. Берберовой и И. Одоевцевой) представительницы Серебряного века.

Поэзия Веры Лурье – это, скорее всего, опыты и поиски раннего акмеизма; на многие десятилетия она сохранила в себе и ритм, и рифмы, и лаконизм выразительных средств, присущие этому направлению. В первом периоде творчества поэтессы особенно сильно прослеживается влияние Гумилева. Вера Лурье посвятила своему Учителю пять стихотворений. Вот одно из них:

Меня преследует овал лица,
Такой измученный, как на иконах,
И молчаливой скорби нет конца
В его холодных, вежливых поклонах.

Когда гляжу в продолговатый взгляд,
Я вспоминаю желтую мимозу.
Сегодня ярко фонари горят,
Всем холодно от крепкого мороза.

* Vera Lourié. Stichotvorenija. Berlin Verlag Arno Spitz. Berlin, 1987.

Совсем прозрачный под ногами лед,
В тумане раздаётся звон церковный.
Я знаю, никогда он не придет
С улыбкой ясной и мольбой любовной.

На конкурс, проводимый в студии Гумилева в 1920 году, поэтесса написала стихотворение «Смерть», высоко оцененное Учителем:

Смерть не пугает ужасами ада,
Не страшен чёрт с рогами и хвостом.
А жутко то, что ничего не надо,
И только черви скользкие кругом.

По-прежнему над миром солнце светит,
Но не проникнет в деревянный гроб,
И губ горячих никогда не встретит
Мой разлагающийся лоб.

Целый ряд стихотворений Веры Лурье посвящен Б. Н. Б. – Борису Николаевичу Бугаеву (Андрею Белому). Думаю, что по сдержанности своей экспрессии стихотворение «27 октября» принадлежит к одним из лучших в любовной лирике русского Зарубежья (день рождения А. Белого 14 октября по старому стилю и 27 октября – по новому).

Я буду по твоим стопам
Безвольная идти,
И все продам, и все отдам
За доброе «прости».

А в праздник твой совсем одна
Я лягу на постель
И не от сладкого вина
Узнаю горький хмель.

Но Богу жарко помолюсь,
Он сможет мне помочь,
И верю я – тебе приснюсь,
Любимый, в эту ночь.

По словам самой Веры Лурье, она «малоопытный» поэт, считает свои стихи далекими от совершенства. Скорее всего, это самоуничижение частично объясняется тем, что поэтесса навсегда осталась пленницей своего времени, а во-вторых, полна испитой чашей горечи и потерь:

Чтоб передать послевоенных лет
Безумный ритм дьявольской затеи,
Бессильны стали ямбы и хорей
Моих стихов, затянутых в корсет.

Как в яме мусорной голодный нищий
Старается найти остатки пищи,
Я долго роюсь в памяти своей
При свете умирающих огней.

Но там не образы, а только тени!
Довольно прошлого и сновидений!
Я жить хочу без запыленной скуки,
Хочу услышать новых ритмов звуки,
Но слышу только ямбы и хорей!
Мои стихи ничтожные пигмеи.

(Стихотворение «Пигмеи» печатается впервые. Из архива автора этой статьи.)

Стихи Веры Лурье не только образцы изящной словесности, но и своеобразные документы эпохи. Беда, однако, состоит в том, что сборник поэтессы ее стихами не ограничивается. Книге предпослана небольшая вступительная статья американского слависта Томаса Бейера, и тут-то начинаются почти чудеса в решетке... Томасу Бейеру по-настоящему повезло: он не только получил «грант», своеобразную стипендию на изучение творчества Веры Лурье, но и получил возможность длительного общения с поэтессой, уникальной «хранительницей прошлого». Предисловие крайне поверхностно: кроме некоторых биографических данных и общих фраз о творческом пути поэтессы, оно читателю практически ничего не дает, хотя и претендует на «академичность». Комментарии к стихотворениям отсутствуют, несмотря на то, что они просто необходимы. Читатель так и не узнает историю стихотворения «Смерть», будет он и в неведении о почти совместной публи-

кации Веры Лурье и Бориса Пастернака в журнале «Струги». Некоторые стихи Веры Лурье посвящены Константину Вагинову. Отношения двух поэтов Т. Бейер трактует лишь как любовную интригу, замалчивая прекрасные стихи К. Вагинова, посвященные своей подруге:

Упала ночь в твои ресницы,
Который день мы стережем любовь,
И синий дым клубится
Среди цветных, умерших берегов.

Орфей был человеком, я же серым дымом.
Курчавой ночью тяжела любовь,
Не устеречь ее, огонь неугасимый
Горит от этих мертвых берегов.

(Автограф стихотворения датирован 9-м октября 1921 года, но оно только сейчас попадает на журнальные страницы.)

Автор предисловия ошибочно утверждает, что всего сохранилось пять рукописных тетрадок стихов Веры Лурье, по которым и была создана ее книга – «Стихотворения». Тетрадок этих было не пять, а на одну больше, и последняя, шестая, находится в американском издательстве «Антиквариат». Это, однако, мелочь. Более существенно то, что Томас Бейер перенес в сборник Веры Лурье ошибку, ставшую уже «школьной». Он пишет, что членами «Звучащей раковины» были Ирина Одоевцева и Георгий Иванов. Даже известная фотография Наппельбаума ничего не изменяет – и Г. Иванов, и И. Одоевцева были лишь гостями группы и не более того. Томас Бейер считает, что творческие срывы Веры Лурье объясняются только упадком русского Берлина и личными драмами поэтессы. Это лишь часть правды, но далеко не вся.

В середине 30-х годов поэтесса старалась из своей «провинции» пробиться в столичные (парижские) органы печати, но там тогда господствовало настоящее почти советского типа кумовство. В моем архиве хранится открытка Владислава Ходасевича, датированная 5 июля 1935 года. Ее содержание – подтверждение вышесказанного: «Милая Вера Семеновна, „Возрождение“ ликвидировало стихотворный отдел – вот в чем беда. Они печатают только трех или четырех авторов, которые уже давно там печатаются. Поэтому было бы безна-

дежно пытаться пристроить туда нового поэта. Говорю „они“ – т. к. вопреки слухам я отнюдь не редактирую литературный отдел „Возрождения“. Очень рад был получить от Вас несколько строк. Ваш В. Ходасевич».

Можно довольно долго перечислять упущения американского слависта; даже библиография публикаций Веры Лурье составлена им небрежно: пропущен труд Л. Флейшмана, Р. Хьюз, О. Раевской-Хьюз – «Русский Берлин 1921 – 1923», в котором упоминается имя Веры Лурье.

И все же, несмотря ни на что, появление книги Веры Лурье «Стихотворения» – событие радостное.

«Русская мысль» и «Континент» приносят свои
сердечные соболезнования АНДРЕЮ СЕДЫХ,
главному редактору «Нового Русского Слова»,
в постигшем его горе – смерти жены

**ЖЕННИ
ГРЕЙ**

Колонка редактора

У СУДЬБОНОСНОЙ ЧЕРТЫ

В свое время в споре со славянофилами большой русский мыслитель-мистик Константин Леонтьев многозначительно обронил: «Не в начале своего пути стоит Россия, а в конце».

Действительно, когда ретроспективно оглядываешься на путь, пройденный Православной Церковью за тысячелетие ее существования, невольно задаешься вопросом: как, каким образом за это время она дошла до того крайне плачевного состояния, в котором сегодня находится?

Путь этот, к сожалению, отмечен не только трудами и подвигами во славу Христа, но и многими духовными соблазнами – гонениями на старообрядцев, многими внутренними смутами и, наконец, начиная с петровских времен, безвольной капитуляцией перед государством, каковая в советскую пору лишь приобрела свои теперешние формы, дойдя до последней степени секуляризации.

Нынешние православные иерархи в Советском Союзе в свое оправдание любят повторять евангельский постулат: «Кесарю кесарево, а Богу Богово». Но, на мой взгляд, едва ли можно оправдать этим их духовный оппортунизм, ибо этот принцип предполагает прежде всего только раздел сфер деятельности духовной и светской властей, а никак не соучастие во лжи и преступлениях государства.

В свете сказанного мне представляется весьма показательным интервью Патриарха Московского и всея Руси Пимена по случаю наступающей даты нашего всероссийского праздника, опубликованное не так давно в газете «Известия»:

«Чада Русской Православной Церкви, являющиеся гражданами Советского Союза, живут в условиях социалистического общества, программа которого, по нашему мнению, действительно высокогуманна и тем близка христианским идеалам».

Здесь мне вспоминается выступление псковского епископа Павла на конференции «Права человека и свобода религии» в Венеции в начале этого года. В своей речи православный иерарх всерьез утверждал, что только при советской

власти Русская Церковь обрела наконец-то подлинную свободу. Словно не было в ее истории последних семидесяти лет ни мученической смерти тысяч и тысяч священнослужителей, ни тотальной реквизиции церковных ценностей, ни разрушения храмов или их кощунственного использования, ни многочисленных атеистических вакханалий. Невольно спрашиваешь себя: есть ли и может ли быть будущее у Церкви, забывшей или намеренно забывающей даже свою собственную историю?

Но Патриарх в интервью в «Известиях» не останавливается и на этом, а идет дальше.

«Церковь, — глубокомысленно вещает он, — предназначала человеку идеал безграничного нравственного совершенства, соответствующий врожденному стремлению человеческого духа исполнить в жизни свое призвание, найти источник радостного осмысления бытия, обрести благодать и истину. Законы советского общества, гарантирующие права граждан на образование, труд и отдых, открывают широкие возможности для свободного и творческого развития каждой личности».

Да простит мне Господь грех хулы на иерарха, Ваше Святейшество, но мне не пришлось бы отсюда, из эмигрантского далека, делать этого сегодня, если бы «законы советского общества» действительно открывали «широкие возможности для свободного и творческого развития каждой личности». Не пришлось бы тогда находиться в одинаковом со мной положении и десяткам, а может быть, и сотням других моих собратьев по чужбине — писателям, музыкантам, художникам и ученым, вынужденным далеко не добровольно покинуть родину в поисках права творить и мыслить по своей воле и разумению.

Читая этот текст, не испытываешь ничего, кроме чувства жгучего стыда и унижения за Русскую Церковь, имеющую сегодня во главе таких пастырей!

Недаром в своем недавнем обращении к автору этого послания группа московских христиан, среди которых мы видим таких жертвенных священнослужителей и верующих, как отец Глеб Якунин и Владимир Пореш, писала:

«Общество переживает духовный кризис, и именно Русская Православная Церковь может сыграть значительную роль в его оздоровлении. Но этот потенциал остается неиспользованным. На плечи первосвященника ложится тяжелый

груз духовной и исторической ответственности. Такой труд Вам, Ваше Святейшество, не по силам.

Вскоре предстоит Собор Русской Православной Церкви – торжественное празднование великого церковного юбилея с участием представительнейших наших делегаций. Патриарх не только представителем будет перед Богом за православных христиан, но он и символ духовного состояния Православной Церкви. Каким же этот символ будет видеться всем, чье внимание сегодня обращено к нашей Церкви? Ваши немощи, оказываемые, выгодны лишь тому, кто не желает подлинного оздоровления Церкви, общества и государства».

В самом деле, в период происходящей сейчас перестройки, пожалуй, единственным институтом советского общества так и не претерпевшим до сих пор никаких изменений, остается Русская Православная Церковь.

Мало того, она остается и единственной структурой, которая, в условиях нынешней гласности, не терпит никакой, даже самой конструктивной критики в свой адрес.

В том же интервью Патриарх, что называется, с порога отвергает любые упреки критически настроенных мирян и священнослужителей в самой категорической форме.

«...отмечаю блуждание на духовной почве, – говорит он, – некоторых наших священнослужителей и мирян, сеющих в церковной ограде семена разномнения и соблазнов. Как правило, эти люди выступают с критикой церковного руководства, приписывают себе право выражать вовеки истинные, как они полагают, интересы всех верующих, противопоставляют себя полноте Церкви.

Таких представителей духовенства и паствы немного, но, тем не менее, мы должны проявлять по отношению к тем из них, кто нарушает церковную дисциплину, строгий пастырский подход и врачующее душепопечительство ко всем».

К сожалению, мы можем легко представить себе, что имеет в виду православный первосвященник, когда говорит о своем «пастырском подходе» и «врачующем попечительстве». Большинство подписавших Обращение к Патриарху могли по достоинству оценить эту заботу, отбывая недавно лагерные сроки только за то, что пытались указать на пороки и прегрешения нынешней православной иерархии.

Нет, я убежден, если живительные ветры обновления обойдут стороной современную Русскую Церковь, предуго-

товленной в день Крещения стать священным сосудом народной памяти и морали, то, как это ни горько сознавать, прав окажется Константин Леонтьев, а не наши прошлые и нынешние славянофилы: «Не в начале своего пути стоит Россия, а в конце».

Р. С. Последовавшие после этого встреча православных иерархов с М. Горбачевым, интервью Патриарха Агентству печати Новости и официальные торжества по случаю 1000-летия Крещения Руси не только не изменили моего прежнего отношения к Московской Патриархии и ее главе, но лишь усугубили его.

В. М.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Александр Зиновьев,
Василий Агафонов, Хагит Гиора**

Поэзия:

**Андрей Бородин,
Елизавета Михайличенко,
Елена Дунаевская**

Публицистика:

**Александр Грибанов, Елена Котова,
Иштван Кемень, Андрей Тарковский**

Наша почта

БОРИС ПАРАМОНОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧЕВЕНГУРА

Долгие годы читая Андрея Платонова и то, что пишут о нем, я, естественно, заинтересовался статьей Бориса Парамонова «Чевенгур и окрестности», опубликованной в «Континенте» (№ 54). И сразу же (во второй фразе) нашел свое имя. Это, естественно, увеличило интерес к статье. Борис Парамонов использовал мою книгу «Платонов в поисках счастья»*, точнее одну из ее глав, как мальчика для битья, чтобы легче было изложить собственную концепцию романа Платонова. И это – его полное, неотъемлемое право.

Я хотел бы поговорить о другом. Сказав, что я посвятил в моей книге «объемистую главу» роману Платонова, Борис Парамонов заключает: название главы – «Соблазн утопии» – «самое правильное из того, что ему (т. е. мне. – М. Г.) удалось сказать о „Чевенгуре“» (333). Название – правильное, остальное, следовательно, – неправильное. Борис Парамонов продолжает: «Ошибка Геллера видится мне... (333), «Одна из ошибок Геллера...» (334). Далеко я от убеждения в своей непогрешимости. Мой вопрос: откуда Парамонов знает, что он пишет правильно? Был ему Голос? Откуда он знает, что не нужно, как это делаю я, «идеологизировать и социологизировать роман», а «нужно (выделено мной. – М. Г.) начать с психологии как самого Платонова, так и его героев» (334). Борис Парамонов лояльно признает, что «М. Геллер, конечно, заметил соответствующий мотив у Платонова...» (340). Имеется в виду «мотив», который Борис Парамонов кладет в фундамент своей концепции. Но, – продолжает автор «Чевенгура и окрестностей», – Геллер «не решился положить это наблюдение в основу анализа «Чевенгура» (340). Не решился – так уверенно и сказано. Откуда и это известно Парамонову? Все тот же Голос? А может быть, я не считал нужным делать из отмеченного «мотива» ключ к роману?

* Париж, ИМКА-Пресс, 1982.

Я хотел бы поговорить о твердой убежденности Бориса Парамонова в том, что он знает истину в последней инстанции, что он знает, с чего «нужно начать» и чем нужно кончить. Для него «поразительно ясно»: «„Чевенгур“ – это гностическая утопия на подкладке гомосексуальной психологии» (334). Для Бориса Парамонова – смысл романа Платонова поразительно ясен, а кто читает роман иначе – думает неправильно, ошибается. Все – просто.

Параллельно с поисками философского камня шли поиски философского «ключа», отмыкающего все тайны мира и человека. Марксизм, структурализм, фрейдизм и многочисленные прочие «измы» – вехи на пути к окончательной Истине.

Борис Парамонов посвятил статью важной и интересной теме – гомосексуальным мотивам в творчестве Андрея Платонова. Но, увлекшись, он решил, что нашел Большой Ключ к душе писателя, отмычку, позволяющую проникнуть в тайное тайных. А найдя Ключ-Отмычку, он решил, что ею можно воспользоваться и для осуждения тех, кто не хочет верить в то, что «Чевенгур» является – единственно и исключительно – «гностической утопией на подкладке гомосексуальной психологии».

А потом – дальше в статье – «подкладка» становится ключом универсальным, открывающим тайну поведения всех героев прошлого и настоящего – от генералиссимуса Суворова до сенатора Маккарти... Но это уже не «Чевенгур», а его окрестности. Они могут быть сюжетом для отдельного разговора.

Михаил Геллер

Уважаемый главный редактор!

Позвольте возразить... в порядке гласности...

Действительно, газетные полосы советской прессы ошеломляющие... Но все ведь в сравнении с чем-то. В течение последних двух лет было исписано о недостатках прошлого и настоящего больше, чем за все 68 оставшихся... Однако вопрос не в словах, хотя народ «до корки» к 8-ми утра «срывает» новости с «Правды». И даже не в том, что очереди не

уменьшились, и машину до сих пор простой инженер купить не может, и ряд других «мелочей»...

Первое, что настораживает в этом потоке слов, – это участие массы «примкнувших», тех, кто хает и хвалит «по ветру»... *Число честных людей не увеличилось*, а в процентном отношении намного уменьшилось, т. к. условия для взлета проходимцев стали небывалые... Тот же вопрос: «А судьи кто?!», произносившийся с возмущением и содроганием, сейчас звучит с недоверием...

Новому поколению сейчас в особенности трудно. Этот переломный (история покажет, так ли это) момент чреват еще большим надломом молодежи, чем... хоть и звучит сейчас крамольно... до гласности... Разобраться в этой словесной битве 20-30-летнему человеку невозможно, да и времени нет... Читает «Правду» ранее надломленное поколение, которое искало правду раньше... Нынешнему поколению ближе Запад, причем со всеми его «пороками»...

Да простят мне наши защитники Гласности, но, при всей разбушевавшейся там демократизации, я на минуту не могу представить даже тени той свободы, которой мы и наши дети дышим здесь. А свобода не декларируется. Она должна быть в молоке матери... в реальности, не на бумаге... Так что ждать придется долго...

Теперь о хлебе насущном... 1988-й – год ожиданий. Все реформы сразу начнутся (законно!) с 1-го января. На глазах начатое словесное чудо будет приобретать плоть...

Но Россия – не Швейцария, и она не прокормит себя на импортных «фруктах». Их надо выращивать у себя, и в сотни раз больше (коли взялись...). К сожалению, я не вижу, говоря старым жаргоном, того рычага, что перевернет мир. А мир этот – без крестьянина, в самом глубоком, земном понимании этого слова. Нет его, он уничтожен – этот класс земледельца, когда-то смелого, инициативного, кто за землю горло перерывает... Только такие люди могли бы с новой техникой прокормить Россию. Но утрата непоправима... Хотя, может, по диалектике через сотню лет этот класс возродится... И потому еще долго будут директивы, что сеять, как сеять и кому давать. И та же многолетняя волынка, неразбериха, а главное, – страх, тот же неискоренимый страх... Напугана деревня, трудно голову поднять!..

Теперь о промышленности...

У меня такое ощущение, что вся технократия, а в основном элита, боится 1-го января. Что-то надвигается такое, когда надо самому решать, доставать, продавать...

Ну, а с другой стороны, кто может себе представить такое событие: крупный завод, скажем, по производству вычислительных машин, который раньше «поставлял» по плану тем, кому эти машины не были нужны, и годами никто не знал, что с ними делать, сейчас, не найдя покупателя, объявит себя банкротом?! Ведь на Запад машины не сбудешь: надежность не та... И свои начнут носом крутить...

Новые формы экономики предполагают крахи. Это реальность Запада, но это и стимулы прогресса... Готова ли Россия осознать и принять это?! Нет! Всеми силами будут латать, как и раньше, еще большие дыры, и промышленность останется на дотации, а значит, под контролем, со всеми старыми законами... Эту «телегу» реформами не сломать... Ржавая, сама рассыпется... Вот тогда!!! С нуля, от отчаянья, от жажды выжить начнется новое – для этого поколения, и – старое, как мир, не реформистское, декларируемое развитие, не перестройка, а естественный путь борьбы за жизнь...

«Что естественно, то – не безобразно...»

...Нынешние реформы – это ускоритель, последний шаг в проверке нынешней системы и... к ее подрыву...

И последнее... Перестроить экономику – надо время и много крови, волшебной палочкой не взмахнешь... Но почему одним взмахом не выпустить всех «политических» (мерзкое, непростительное слово!) из лагерей, зон и психбольниц?! Почему еще двумя, тремя взмахами (ладно, пусть десятью, лишь бы начали!) не наказать банду душителers, заставивших страдать тысячи порядочных – лучших – людей России?! Это же так просто!!! И банкротства не будет, один profit... Это, конечно, моя главная боль, и написал об этом в конце только потому, что после этого не было бы сил писать о другом...

М. Излета

Критика и библиография

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» – ПЕРВЫЙ ТОМ «ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Название «Серебряный век» придумал, как известно, Николай Бердяев. Отныне так называется для всего мира несколько десятилетий перехода от XIX к XX веку – время несравненного расцвета на русской почве всех отраслей искусства, культуры, духовного поиска. Эти два десятилетия – «Серебряный век» – представляют по сию пору для европейских исследователей континент, где остается много неизведанного до конца; где отдельные участки представляют все еще «белые пятна», а есть и такие, о которых легенды ходят, словно о затонувшей Атлантиде!

«Путеводителем» по материку русской литературы и искусства начала века и стал нынешний том «Серебряный век» – первый из задуманных семи томов «Истории русской литературы», выходящих по-французски под руководством Жоржа Нива, Ильи Сермана, Витторио Страды и Ефима Эткинда. После «Серебряного века» выйдет том, посвященный после-революционному периоду: «Революция и семнадцатый год», затем «Заморозки и оттепели», о советской литературе, вплоть до Солженицына.

Перенесясь затем к началу пути русской литературы, составители задумали еще три тома: «От истоков к светочам», о XIX веке – «Пушкинская эпоха» и «Русский роман». Наконец, в заключение, выйдет последний, «вертикальный», том, который будет посвящен общим проблемам: национальным особенностям, географии, жанрам, взаимоотношениям с интеллигенцией, и т. д.

Над «Историей русской литературы» трудится многонациональный коллектив ученых, многие из которых – эмигранты из Советского Союза. Составители и редакторы первого тома: Ж. Нива, И. Серман, В. Страда и Е. Эткинд. Переводчики статей – также слависты, причем в той же области, как правило, что и переводимый ими автор.

Istoire de la litterature russe. Le XX siècle. «L'age d'Argent». Ouvrage dirigé par Efim Etkind, Georges Nivat, Ilya Serman, Vittorio Strada. Ed. Fayard, Paris 1987.

Каждая из двенадцати глав нынешнего тома открывается обзорной статьей о том или ином культурном феномене. За ней следует трактат об отдельных представителях, наиболее ярко характеризующих то или иное явление. Если разговор идет о поэте, в особо сложных случаях за статьей идет разбор поэтики.

Разумеется, первое, что бросается в глаза, – это отступление от общепринятого хронологического распределения материала. «Серебряный век» вышел прежде всех. Чем вызвано такое изменение временного русла? Невзирая на глубину теоретических статей, нынешняя «История русской литературы» предназначена не просто для специалистов, но и для привлечения широкого круга образованных читателей. Поэтому одной из задач составителей и была общая занимательность этого научного труда.

Западный читатель на сегодня более всего знает и более всего интересуется именно «Серебряным веком». И из-за того влияния, которое – это чувствуется сейчас все сильнее – эта культура оказала на развитие культуры мировой, да и из-за чисто человеческого интереса и сочувствия к деятелям этой культуры, с их трагической историей, из-за их страшной личной судьбы. Даже понаслышке, даже знакомые «шапочно» – они сейчас вызывают пристрастный интерес – эти «проклятые» поэты, советской властью проклятые и растоптанные. Поэтому после «Серебряного века» проще понять и нашу культуру вообще, вникнуть в ее «хождение по мукам» в советский период. А уж затем, будучи втянутым вполне в этот «роман с продолжением», читатель начинает постигать нашу классическую литературу, которая сперва, конечно, может ему показаться «семейной хроникой», галереей предков. Тут и ждет его, читателя, «золотой» век пушкинской поэзии, а за ним – великий русский роман, а в русской культуре XIX в. – эпоха прозы.

Ибо в истории культуры и литературы – примитивно-механистического поступательного движения не существует. Существует прерывистое, мерцательное движение, некая «череда эпох». В полосе прозы временем диктуется концепция: «Человек перед лицом общества». В полосе поэзии – «Человек перед лицом Бога».

В период прозы искусство стремится понять: «Что делать?» и «Кто виноват?» В эпоху поэзии – спросить Бога: «Что есть человек и что Ты знаешь о нем?»

В эпоху прозы в XIX веке в России писались великие романы и оперы. Передвижники создавали картины «на общественные темы». Литературная критика на первое место ставила гражданственность. Тогда, в шестидесятые годы XIX века, в умах современников одержал победу над надменным ямбом – эмансипированный трехдольный некрасовско-кольцовский размер. Пожалуй, из пяти чувств искусство той эпохи более всего апеллирует к осязанию и вкусу.

Короче, эти капитальные формы в искусстве помогали тогдашнему обществу частное отдавать на алтарь общего.

Но, конечно, не только прагматики писали в XIX веке, а Чехов жил в искусстве одновременно со Львом Толстым. Тогда как именно от Чехова (с точки зрения советского литературоведения, истинного детища критического реализма XIX века) ведет родословную новой прозы, всего нового искусства Витторио Страда. По такой концепции, проза, начавшаяся от Чехова, была – и воспринималась – как поэзия. Поэтические тома Белого, Андреева шли по линии импрессионистической – к мистицизму, субъективизму, а затем – к неоспоримому главенству Слова, Формы, Ритма. Теперь искусство стремилось воздействовать прежде всего – на зрение и слух...

В книге о «Серебряном веке» дается объяснение для западных читателей, чем вызвано неприятие подобной концепции, которое и привело к трагедии. В одних случаях, как в случае символистов, о которых в книге повествует Жорж Нива, это неприятие существовало изначально: с первых дней жизни символизм окрестили упадничеством, его творцов – «декадентами». А между тем, говорится в книге, это искусство, непрерывно как бы распадаясь, дало всем другим школам такой заряд энергии, что ее не удалось приглушить до конца даже соцреализму. (Впрочем, соцреализм – не школа, невзирая на розгу.)

Это искусство, яркое, как перед концом света, предчувствовавшее грядущий Апокалипсис, выглядело бунтом, выглядело крамолой – уже тогда, в начале века, именно из-за отсутствия видимой временно-логической связи между этими двумя периодами.

Русское мессианство выглядело ересью в глазах вполне атеистических слоев русской интеллигенции, возросшей на идеалах 60-х годов XIX века, из которых и вышли те, кто совершили в России революционный переворот. Это непри-

ятие было немирным. Оно было первым проявлением истинной нетерпимости. Это и привело творцов нового искусства, таких, как супрематистов (о них пишет в книге Ж.-К. Маркадэ), после революции к изгнанию либо к перековке. Еще более пострадала русская религиозная мысль, о которой мир начинает узнавать лишь теперь, чему во многом должна способствовать и данная книга.

Верные «концентрическому» принципу, составители ставят не случайно первым в разделе «Философско-религиозный поиск в России начала XX века» Павла Флоренского, о котором пишет Томас Венцлова. Ведь именно у этого «русского Леонардо» в математических трудах и трактатах об искусстве билась голубая кровь поэзии.

...Что есть молитва поэта? Праздник и ликование. Для поэта Церковь – роскошь, Божий престол усыпан изумрудами и брильянтами. При боговдохновенном ликовании просьбам в обмен на покорность уж места нет, просто Богу отдают душу – в любви.

Пожалуй, читателю трудно с горних высот рассказа о Флоренском, Шестове, Мережковском, Бердяеве переключиться на литературную критику, даже на разговор о такой замечательной личности, как Корней Иванович Чуковский, «перечень рекордов» которого дает в статье о нем Е. Г. Эткинд:

- 68 лет литературной деятельности;
- более 1000 литературных произведений, появившихся за 65 лет, с 1917 по 1982 годы; общий тираж этих публикаций – 175 миллионов экземпляров;
- Чуковским обнародовано более 15 000 неизданных строк Некрасова – было известно лишь около 32 000;
- наконец, возраст его читателей – от двух лет и до конца жизни!

Разумеется, ритм подобной статьи должен отличаться от статей о религиозных философах; таким подходом эта книга и держит, не отпуская, внимание своего читателя. Да и Чуковский, на самом деле, наш современник.

Разумеется, в задачу предпринимаемого издания входит не просто научное, пусть интересное, освещение фактов культуры. Здесь необходимо было так расставить акценты, чтобы вызвать и общественный резонанс. И оттого книга «Серебряный век» напоминает каждым разделом, каждым трак-

татом: русская культура была принесена в жертву государственной идеологии, советской власти! Ее терзали десятилетиями, изымая целые ее пласты, конфискуя ее у людей. Это страшный процесс. Страшный даже тем, что порой кому-то и давали индульгенцию, ибо это было либо случайностью (как в случае Саши Черного, лично любимого К. Чуковским), либо сознательным искажением: по сию пору общественно настроенные литературоведы пытаются дотянуть некрасовский дактилический ритм до Александра Блока, сообщив ему окраску гражданственности. А в русской поэзии до сих пор – «пробелы как бы от пролитых кислот» – нет Ходасевича. Нет у Бунина «Окаянных дней», и лишь сейчас изданы «Живаго», «Реквием», без которых нельзя изучать ни Пастернака, ни Ахматовой.

Книга «История русской литературы» и предпринята для того, чтобы в полный голос зазвучали поэты, чтобы возвратилось людям утраченное понимание феномена этих десятилетий. Чтобы вернуть настоящее место тем мастерам, которым, как футуристу Илье Зданевичу, отводилась советским искусствоведением роль статистов...

Сейчас, на родине, предпринимают задним числом попытку «процесса подключения», издавая Гумилева, Набокова, наконец, Иосифа Бродского. Такой процесс – н а ш а победа. Т а м встают на н а ш у позицию, признав н а ш у правоту.

Что ж, никогда не поздно.

Кира Сапгир

В ПОИСКАХ НЕУСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ

В литературоведении не так уж часто случаются счастливые совпадения, когда исследование написано рассудительным аналитиком и – одновременно – сочувствующим поэтом. Проникновенная интерпретация соперничает, в результате, с глубокой теоретической проработкой. Все эти комплименты

Томас Венцлова. Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов. Нью-Хэйвен, 1986.

относятся в данном случае к работе литовского поэта Томаса Венцловы, которую он опубликовал, будучи преподавателем Йельского университета (Коннектикут, США), под названием «Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов» (Нью-Хэйвен, 1986).

Для разбора Венцлова выбрал произведения разных поэтов: Пушкина (переложение баллады «Будрыс и его сыновья» из Мицкевича), Некрасова («Утренняя прогулка»), Фета («Моего тот безумства желал...»), Вяч. Иванова («Язык»), Пастернака («Мчались звезды...»), Цветаевой («Занавес»), Ахматовой («В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...») и Бродского («Литовский дивертимент»). Взятые из разных исторических пластов русской поэтической традиции, эти тексты выбраны, очевидно, поскольку автору удалось установить принципы и характер того «неустойчивого равновесия», которое он описывал в каждом конкретном случае.

Исследователь определил и тематические аспекты для каждой главы: «Все восемь глав имеют и собственные темы. В главе о Пушкине рассматривается проблема поэтического перевода; в главе о Некрасове – вопрос о «памяти жанра» (отображение мениппейного комплекса в поэзии), в главе о Фете – возможность выдвижения генетических гипотез на основании структурного анализа; в главе о Иванове – проблема металингвистичности поэзии; в главе о Пастернаке – проблема поэтических отождествлений и автотематизма; в главе о Цветаевой – вопросы, связанные с взаимодействием разноприродных семиотических систем (поэзии и театра); в главе об Ахматовой – вопросы, связанные со статусом биографического текста; в главе о Бродском – проблема использования поэтом художественных систем, предшествовавших в диахроническом плане».

Этим конкретным разборам предшествует у Венцловы особая глава теоретического характера, названная «О пансемантичности поэтического текста и способах его прочтения». По содержанию и по содержательности эта глава вполне заслуживала приблизительно того же объема, что и конкретные разборы вместе, поскольку Венцлова попробовал осветить одновременно и историю возникновения структурализма в СССР, и основные теоретические принципы этого направления в мире гуманитарных наук. Очевидно, столь объемный материал сопротивлялся стеснению в таких узких границах;

отсюда – определенные недочеты первой главы: скороговорки, непроработанность отдельных пассажей и т. д.

Эти качества многократно искупаются неторопливым и внимательным пером проницательного исследователя в разборах конкретных произведений. Обычно разбор поэтических текстов сосредоточен не столько на очевидных свойствах произведения, сколько на выявлении и интерпретации того, что Тынянов называл «мерцающими признаками». В этом деле Венцлова-поэт оказывает неоценимую помощь Венцлову-аналитику: выбор и выявление мерцающих признаков проведены им с величайшим тактом и исключительно тонким ощущением самого феномена поэзии.

Выявление автором «внутренних» тем в каждой из глав мотивировано его желанием испытать принципы его собственного анализа. Результаты же анализа выдвигаются на первый план лишь в финалах соответствующих глав. Причем эти результаты должны говорить не только о свойствах разбираемого текста, но и возможностях данной методики.

Скажем, разработка анализа на звуковом уровне (вкуче с иными данными) позволяет Венцлове разглядеть разнонаправленное движение в балладе Мицкевича и переложении ее у Пушкина. Если Мицкевич интуитивно «прорастивал» свои стихи о Будрысе и его сыновьях из фольклорной почвы и «пересаживал» их на почву литературной традиции, то Пушкин в плане звуковом, как показал исследователь, шел скорее в противоположном направлении и «сдвигал» свою балладу ближе к фольклорному – причем именно литовскому – ее звучанию.

Структурный анализ стихотворения Фета «Моего тот безумства желал...» дал Венцлове возможность «проявить» – гипотетически – имя той, кому адресовано стихотворение (Мария Лазич) на анаграмматическом уровне. В разборе стихотворения Вячеслава Иванова автор «Неустойчивого равновесия» сосредоточился, по очевидным причинам, на развитии глубокой и необычайно сложной темы – темы языка – в русской поэзии начала века. Венцлова показал, что язык для Иванова при посредстве Духа трансформируется в поэзию, но и это не конечная точка развития, так как поэзия таит в себе предвещание иной, более высокой и сакральной связи. В этом плане легко было опереться на слова Иванова, записанные еще в 1904 году: «Мы, позднее племя, мечтаем... о «большом искус-

стве», призванном сменить единственное доступное нам малое, личное, случайное, рассчитанное на постижение и мирозерцание немногих оторванных и отъединенных...» (Вяч. Иванов. Эллинская религия страдающего бога. – «Новый путь», 1904, январь, стр. 133). В качестве своеобразной параллели к Ивановским идеям можно вспомнить известное эссе Бродского о Достоевском, где идея языка развивается в близком направлении, хотя на совершенно ином материале.

Принцип пансемантичности поэтического текста, который исповедует Венцлова, подразумевает, в частности, глубинную значимость всех без исключения элементов в рамках произведения и их сложную многоуровневую соотнесенность. Причем эти элементы соотносятся с себе подобными не только внутри одного поэтического опуса, но перекликаются с бесконечной традицией литературы в целом. Внимание к этой проблематике резко повышает суггестивность исследования, и в определенных моментах хочется чуть-чуть «дотянуть» авторский разбор.

К чему приводит подобное желание, легко показать на разборе некрасовского стихотворения «Утренняя прогулка». Когда в анализе его справедливо указывается на этимологическое значение имени покойного чиновника – Макар, то возникает прежде всего соблазн протянуть связующую нить от имени к тому жанру, с которым Венцлова соотносит некрасовское стихотворение, т. е. к макаронической поэзии. Но, помимо этого, легко заметить, что в данном случае Некрасов опирался на многочисленные русские пословицы, связанные с именем Макара, в которых уже аргументируется соотнесение имени со стихиями огня и воды (ср. работу В. Н. Топорова. Др.-греч. Макар, Makarios и под. – Balcano - Balto - Slavica. Симпозиум по структуре текста, предварительные материалы и тезисы. Москва, 1979, стр. 39 - 46).

Однажды возникает желание восстановить пропущенное в рассуждении звено. В том же разборе Венцлова пишет: «Сцена похорон включена в более обширную серию „городских видов“... Местами она подана монтажными приемами, предсказывающими кинематограф». Наблюдение нуждается в некотором уточнении: некрасовский подход к городской теме во многом опирается на опыт и традицию лубочной литературы, для которой «монтаж» – столь же естественный операционный принцип, как и в позднейшем искусстве кино.

В некрасовском опыте Венцлова видит ненамеренное «пробуждение» мифологических подтекстов, связанное с так называемой «памятью жанра». Надо отметить, что, несмотря на явную популярность данного словосочетания в работах последних лет, считать его термином в полном смысле слова все-таки нельзя. Механизм пробуждения и реализации «памяти жанра» вовсе не ясен. (Здесь как раз хотелось бы обратить внимание на комплекс пословиц, явно доступных Некрасову и способных «пробудить» более широкий и архаический круг ассоциаций, которые – собственно – и приводят к «пробуждению» жанровых признаков, но не сами по себе, а в столкновении с литературной традицией.) Описанием подобного пробуждения занимается Венцлова в некрасовском фрагменте своего исследования. К его рассуждениям хотелось бы добавить некоторые детали. У Некрасова на кладбище подробно описана старуха, рассказавшая автору о покойнике. Венцлова оценивает ее функцию следующим образом: «Эта старуха – несомненно карнавальный персонаж, в облике которого просвечивают древние архетипические черты». Можно добавить, что в образе старухи заодно просвечивают еще черты фольклорной плакальщицы – автора «последнего слова» о покойнике, функция которой также связана с коннотациями архаического обряда.

В главе, посвященной «Утренней прогулке», запрашивается еще одно дополнение, связанное со словосочетанием «танцующие жердочки», по которым только и можно пройти к могиле несчастного чиновника. Жердочки эти заслуживают внимания по двум причинам: во-первых, здесь перед нами явная переключка с мостами из царства живых в царство мертвых, необходимыми элементами в визионерской литературе; во-вторых, наиболее известный текст подобного жанра – «Божественная комедия» в силу хотя бы своей славы провоцировала позднейших поэтов идентифицировать себя с великим флорентийцем и в его роли «войти в ад», т. е. проникнуть в царство мертвых и вернуться оттуда. Конечно, к дантовским коннотациям подключались зачастую еще и орфеевские. Сказанное имеет отношение к некрасовскому тексту, поскольку и в нем, наряду с основной сюжетной линией, введена дополнительная – «поиски могилы друга». В рамках традиции видений особую значимость приобретают упоминания огня и воды («Из огня прямо в воду попал»), которое подготавливает

иронический итог стихотворения: «Я хандру разогнал и смешной / Каламбур на кладбище услышал, / Подготовленный жизнью самой». Вода и огонь – непереманные атрибуты подземного царства, обязательно играющие инструментальную роль в наказании грешников. Едва ли найдется визионерский текст, лишенный этих иконических элементов. Данные наблюдения подтверждают основной вывод Венцловы об «отголосках пасхального смеха» в «Утренней прогулке», поскольку тема воскресения теснейшим образом связана с семантикой путешествия в загробное царство; связана как генетически (для текстов христианской эпохи), так и типологически. Но при этом приходится подвергнуть сомнению побочный вывод об отчужденности Некрасова от мыслей про воскресение и христианство, о том, что Бог и молитва упоминаются в его стихе на уровне языкового автоматизма. Эти наблюдения автора вполне справедливы применительно к христианству с его культом воскресения. Однако остаются не отмечены многочисленные элементы язычества, всплывающие в «нигилистском» тексте и провоцирующие архаические коннотации.

Частное наблюдение напрашивается при чтении «ахматовского» разбора. Учйывая биографическую основу стихотворения и общий его «прощальный» смысл, подчеркнем в первой же его строке глагол движения в клишированном сочетании «сойти с ума». Поскольку посреди этого сочетания вписаны слова «друг от друга», то актуализуется сразу и смысловой оттенок движения, и разнонаправленность этого движения – «друг от друга», чем как бы задается основная тема стихотворения – тема грядущей разлуки.

Дополнительное соображение возникает при чтении фрагмента, посвященного «Литовскому дивертисменту» Бродского. Венцлова отмечает – вполне справедливо – композиционную связь между второй и пятой частью «Дивертисмента». Добавим, что есть определенный соблазн отождествить официантку из кафе «Неринга» с неназванной героиней той встречи, похмелье которой описано в пятой части. К подобному выводу толкает подобие фигур, использованных для описания рук: «...перебирает ногами, снятыми с плеч / местного футболиста», – и – «в слух запускает длинные слова, / как пятерню в завшивленные пряди».

Но еще важнее начало пятой части, которое прямо вызывает в памяти мандельштамовское «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». Перекличка представляется вполне сознательной, и смысл ее – в самых общих словах – можно выразить как контраст в развитии единой темы: если у Мандельштама словесная тема бессонницы отливается в классицистскую эпiku, то у Бродского она же претворена в автопортрет героя тузулотрековского толка (что, вероятно, связано с общим комплексом тем, подхваченных названием «конца прекрасной эпохи»).

К автору, который подталкивает тебя на проникновенные рассуждения о русской поэзии, всегда испытываешь немалую благодарность. И в данном случае книга Венцловы только подтверждает это читательское правило. «Неустойчивое равновесие» вызывает глубокий интерес и провоцирует на долгие споры. Общему впечатлению благодарности не мешают даже «осмысленные» опечатки. В частности, дважды совместные работы Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского – в списке литературы на странице 190 – приписаны М. Ю. Лотману – (сыну Ю. М. Лотмана) и В. А. Успенскому (старшему брату Б. А. Успенского).

Александр Грибанов

«ПЕРЕСТРОЙКА – ДВОЙНОЙ СОВЕТСКИЙ ВЫЗОВ»

Так называется книга одного из ближайших советников Горбачева по экономическим делам, академика Аганбегяна, что значит – официальнейший из официальных документов по этому предмету, для вящей убедительности снабженный многочисленными графиками, таблицами и настоящим водопадом цифр-показателей настоящего, прошлого и будущего (в 2017 году) столетий марксистско-ленинского режима страны.

Эти три периода-этапа характеризуются: прошлый (догорбачевский) – резко отрицательно, второй (горбачевский)

Abel. Aganbeguian. Perestroika – Le double défi Soviétique. Paris, «Economica», 1987.

показательными успехами почти во всех областях, третий же – восторженными дифирамбами и головокружительными цифровыми показателями успехов советской социально-экономической системы, которые будут достигнуты в начале третьего тысячелетия. Сопутствовать же этим достижениям должен лозунг: *«Ускорение, перестройка, гласность!»* (выделено автором).

Но с первых же страниц книги приходится встречаться с непреодолимыми противоречиями: возможно ли, чтобы режим, существовавший уже 65 лет и приведший страну к полунищенскому положению, погрязший в коррупции, взяточничестве, лихоимстве, очковтирательстве и т. п., вдруг каким-то сверхскоростным темпом, за какие-то 30 лет претворит ее в чудо еще не бывалого на Земле благосостояния решительно во всех областях, а в науке и технике опередит передовые страны с США во главе? Ведь, согласно Аганбегяну, руководить «перестройкой» будет всё та же «мудрая Партия» с ее пленумами ЦК и съездами КПСС! Это, вспоминая Канта, – «доить козла и подставлять решето».

Правда, автор говорит о «настоящей революции», какой явится проведение в жизнь упомянутого лозунга. Но для этого нужна «перестройка-революция» самого советского человека, его психологии и его мироощущения. Тем более, что это изменение, по его же словам, должно касаться «самых различных областей, таких, как международная политика, идеология и экономика». Он открыто признает «несовершенство советских статистических данных» или, просто говоря, их фальсификацию. И уже на 10-й странице книги приводит двойной график «роста государственного дохода», начиная с 8-й и кончая 12-й пятилеткой (1966 – 1985), на которой черной чертой обозначены официальные данные, а пунктиром действительные, подтверждающие эту фальсификацию. Откуда же такая разница? Автор поясняет: «Согласно методологии нашей официальной статистики, официальный доход вычисляется, не принимая во внимание услуг, тогда как, согласно методу ООН, таковые берутся в расчет»... Кроме же того, как правило, индекс цен преуменьшается... но в 13-й пятилетке (1986 – 1990) он (рост гос. дохода) уже будет точным (по расчету специалистов от 4% до 5%).

Или еще: «В настоящее время наша страна производит в 4,5 раз больше тракторов, чем Соединенные Штаты, чтобы

получить объем производства меньший, чем эти последние. Но мы производим в два раза меньше прицепов, от которых зависит эффективность производительности! Совершенно ясно, что нам не нужно столько тракторов. Но они производятся и навязываются совхозам и колхозам, которые, по установившимся правилам, их покупают не на свои собственные средства, но на предоставляемые государством кредиты, всегда льготные, хотя фактически никогда не возвращаемые. Точно так же производят больше комбайнов, средней мощности грузовиков (4 - 5 тонн) и ряд других сельскохозяйственных машин... Так, на 1988 г. совхозы и колхозы заказали с/х оборудования на 30% меньше, чем им давали раньше».

Еще больше канители было с МТС: «В конце 50-х годов было принято несколько мер для их реорганизации. Затем было решено их ликвидировать и передать машины за плату совхозам и колхозам. Одновременно совхозам и колхозам передали и машины, которые уже работали на МТС. Сама по себе эта мера, объединяющая трудящихся и орудия производства, положительна. Но эта важная операция была произведена без необходимой подготовки для содержания в порядке машин, без достаточного срока для рассрочки. Уход за машинами отсутствовал, и застой машин увеличился. Потребовав покупку оборудования в кратчайший срок, государство поглотило почти все ресурсы совхозов и колхозов, которые очутились в крайне затруднительном финансовом положении... Все эти спешные и недостаточно обдуманные меры вызвали серьезную задержку с/х производства. Казалось, что это производство столкнулось с невидимым препятствием. Надо также учитывать сокращение роста засеваемых площадей. Если, как писалось, в 1954 – 1959 гг. годовой рост с/х превышал 7%, в 1960 – 1964 гг. он упал до 1,5 – 2% в год и, практически, количество с/х продуктов на человека осталось прежним».

В результате такого положения вещей, в 60-х годах была принята «Резолюция», касающаяся реформы «социалистических предприятий» (известная как реформа «Косыгина - Либермана»), предоставлявшая довольно широкие права предприятиям. «Но вскоре начали публиковать различные постановления по каждому вопросу: планирования, снабжения, финансирования, материалов, техники и т. д. И каждое из этих постановлений содержало ту или иную диспозицию, которая душила интересы предприятия, сводила к нулю отдельные

указания «Резолюции». Но «Резолюция» была одобрена Советом министров СССР, тогда как постановления принимались много более консервативной администрацией. Кроме того, в это время Госплан, министерство финансов и другие органы центральной экономической администрации наперебой публиковали инструкции, методологические указания, всякого рода административно-юридические решения. В результате всего этого права, обещанные реформой предприятиям, были узурпированы министерствами и администрациями. И все это оказалось возможным, потому что не подумали о мерах, которые могли бы юридически защищать предприятия».

Вот в каком положении была социально-экономическая система до провозглашения горбачевской «перестройки». Судя по свидетельствам приезжающих из СССР (даже официальных лиц) и статьям в советских же газетах и журналах, включая архиортодоксальную «Правду», теперь положение улучшается, но медленно, перестройка встречает немалые трудности во всех областях социально-экономического сектора страны. Но главное состоит в трудности приспособления к новым методам самого советского человека, от простого рабочего или колхозника до инженеров и техников на всей иерархической лестнице.

Подчеркивает это и Аганбегян. «Перестройку», «гласность», «ускорение» он считает «настоящей Революцией», требующей прежде всего «перестройки» склада ума, «менталитета». И эта последняя оказывается самой трудной: отныне страна должна идти дорогой «гласности и самоуправления», — хотя автор тут же замечает, что «основные направления и заданности» будут приниматься, согласно социалистической демократии... высшими партийными органами».

В чем же будут заключаться изменения? Главное — в «самоуправлении». До сих пор, пишет Аганбегян, «применялись административные методы руководства, основанные на безусловном подчинении Госплану, каждый год навязывавшиеся базису сверху. Мы намерены освободиться от этой системы и отказаться от безоговорочных директив и навязанного плана. Впредь предприятия и кооперативы будут сами разрабатывать и утверждать свои планы, которые уже не будут зависеть от вышестоящих инстанций, какими бы они ни были: *не будет никакого навязывания плана...* Наше общество развивается

в условиях социалистической законности, которая уважает новый экономический механизм... его законы и категории будут развиваться и обогащаться».

Небезынтересен и вопрос о безработице – самой его постановкой у Аганбегяна. С одной стороны, имплицитно, скрытно наличие таковой он признает, считая, что перевод предприятий и кооперативов с экстенсивного на интенсивный метод производства и компьютеризация должны будут временно, из-за перераспределения рабочих рук между предприятиями и заводами, высвободить «некое количество таковых», но, с другой, утверждает: «Так как социалистическая собственность составляет экономическую основу общества и так как мы не имеем безработных (выделено мною. – К. П.), в СССР не существует ни рынка труда, ни рынка капитала, ни биржи...»

В своей книге «Частная жизнь советской элиты»* бывший ближайший сотрудник первого секретаря Азербайджанской компартии Алиева И. Земцов по этому поводу пишет: «Что касается безработных в СССР, то они до самого последнего времени (да и сейчас. – К. П.) не получали никакой компенсации. А между тем в последние годы не менее 10 миллионов людей выталкиваются из производства – увольнялись, меняя работу. А поскольку для подыскания нового рабочего места требуется не менее месяца, то окажется, что в СССР больше безработных, чем в Англии и Франции. А в ближайшее время – вероятно, уже в 1986 – программа модернизации производства, задуманная Горбачевым, лишит работы еще 19 - 20 миллионов. И это не предел. В СССР практикуется система наема рабочих, превышающая их реальную необходимость: несколько человек выполняют работу, с которой вполне мог бы справиться один. Сокращение штатов для высвобождения средств – эта цель уже заложена в советских планах – выбросит на рынок труда еще 20 миллионов человек. А 40 миллионов безработных замолчать советские власти никак не в состоянии».

К трудностям «перестройки», но уже согласно самому академику, приходится отнести добычу ископаемых – угля, нефти, железной руды и др. – из-за истощения их запасов: районы, где они легко добывались, почти истощились, и приходится переносить их добычу на восток за Урал, где их залежи

* Лондон, «Оверсиз», 1986.

намного глубже и их добыча много трудней. То же самое происходит и со строевым лесом. Так, в 1986 г. было добыто 615 миллионов тонн нефти, 686 миллиардов кубометров газа, 751 миллион тонн каменного угля, 112 миллионов тонн железной руды и срублено 295 миллионов кубометров строительного леса. И эти цифры автор считает предельными.

Другие трудности в связи с переустройством «экономического механизма, по моему мнению, — признается академик, — состоят в обеспечении заинтересованности трудящихся (в связи с самофинансированием предприятий. — К. П.) в конечном результате их труда», с чем приходится встречаться ряду капиталистических стран и что порождает забастовки и безработицу. «Поэтому мы должны разрешить эту ключевую проблему и ввести прямую зависимость между зарплатой и результатами работы. В принципе, это позволяет перевод предприятий на хозрасчет... Государство не отвечает за финансы предприятий, и предприятие не отвечает за обязательства государства... Поэтому ресурсы и доходы предприятия будут полностью результатами производственной деятельности предприятия. Это настоящая революция в отношениях между государством и предприятием... Это подтвердил и июньский пленум ЦК КПСС».

Опять тот же «козел» и то же «решето»! И Аганбегян не исключает «в ряде случаев» понижения зарплаты и даже закрытия самого предприятия с переводом рабочих на другие, те, которые нуждаются в дополнительных рабочих руках, и переквалификации переводимых рабочих, что, судя по примеру западных стран, не всегда легко и не всегда удается. Отсюда же и безработица.

1 мая 1987 г. в СССР вступил в действие Закон об индивидуальной трудовой деятельности. Области такой деятельности довольно многочисленны, но работать в них могут лишь члены семьи, т. е. без наемных рабочих. Но и здесь таковой деятельностью могут заниматься трудящиеся лишь после своей работы на фабриках и заводах, особенно если эти заводы не считаются государством жизненно необходимыми для страны. Опять же, согласно официальным данным (которые, кстати сказать, не публикуются), большим успехом такая «деятельность» не пользуется, но может быстро разрастись, «как только начнут более интенсивно входить в жизнь экономические реформы».

«В социалистическом обществе, – пишет Аганбегян, – в большинстве случаев рынок представляется управляемым государством. С помощью экономических норм установлены нормы платежа. С помощью финансовой системы и государственного кредита, этот последний обеспечивает доходы населения. Цены на главные товары также регламентированы и теми же государственными органами. Государство держит в своих руках крупные капиталовложения, экономические рычаги и стимулы. Таким образом оно может влиять на увеличение производства того или другого товара, что является способом воздействия на рынок».

И тут же поясняет: «В настоящее время рынок ограничен и деформирован. Подавляющее большинство средств производства перераспределено Государством в материально и технически централизованной системе снабжения: средства производства свободно не покупаются и не продаются. Товаров на рынке не хватает, и реальный спрос, особенно для высококачественных товаров, превышает их производство. Система цен негибка и централизована. Многие цены не обоснованы и не соответствуют стоимости производства данного продукта и его эффективности... Из-за такой деформации рынка развилась так называемая *подпольная экономика* с ее спонтанными системами перераспределения товаров и доходов. *Черный рынок* увеличился, распространилась спекуляция».

Всё это следует наладить и упорядочить, «установить непосредственную связь между предприятиями». Централизованные цены останутся лишь для самых крупных групп производства, «для контроля их динамики и избежания инфляции. Одновременно будет расширена, основанная на договоренности, сфера свободных цен».

Окончательно все это наладится, когда будет урегулирована *проблема рубля*, что совершенно необходимо для внешней торговли, как на капиталистическом, так и на социалистическом рынке. Для этого в 1989 – 1990 гг. «будет проведена глобальная реформа цен. Оптовые цены, цены закупок сельскохозяйственных продуктов и розничные цены будут изменены, принимая во внимание, между прочим, и международные цены. В частности, будет ликвидировано огромное несоответствие, касающееся цен на горючее и на продукты питания, слишком заниженных в СССР и в социалистических странах. Будет учтена и неоправданно большая качественная разница

между товарами, что также соответствует мировым тенденциям». Само собой, это значительно упростит и облегчит экспорт советских товаров и импорт товаров зарубежных.

Таковы, согласно Аганбегяну, «перестройка» экономики СССР и его «двойной вызов»: первый – экономический и второй – научно-технологический.

Первый я изложил, стараясь возможно больше придерживаться текста. Некоторые термины, существующие во французском языке, в русском отсутствуют, я постарался подобрать наиболее подходящие. Не уверен – везде ли мне это удалось. По словам Аганбегяна, к 2017 году, т. е. к столетию «октября», СССР «окажется в авангарде научного и технического прогресса, уровень жизни должен будет стать самым высоким в мире...», тогда как советское «общество станет наиболее образованным, более интеллектуальным, более духовным, более целостным и более моральным, чем все остальные.

Что же касается второго вызова, которому посвящены две последних главы (21 страница из 255-ти книги), приведу лишь цифровые данные, находящиеся в книге. В СССР больше 5.000 научно-исследовательских институтов, в которых работает больше 1,5 миллионов ученых (одна четверть всех ученых мира), вместе же с другим обслуживающим персоналом – 4,6 миллионов, с общим бюджетом в 30 миллиардов в год.

Таким образом, единственный вывод, который можно сделать из книги Аганбегяна – тот, что, при всей кажущейся ее «научности» и добросовестности (многочисленная статистика, графики и прочие «логические выводы»), она является преимущественно пропагандным орудием для Запада (я не знаю, переведена она или нет на другие языки, кроме французского) на предмет получения возможно более крупных и долгосрочных кредитов, чтобы не стать окончательно страной «третьего мира», чем-то вроде огромной Югославии.

К. Померанцев

О «ВЕХАХ» И МИФАХ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ

Читатели знают Михаила Геллера как объективного историка, который стремится в своих сочинениях к главному – к восстановлению исторической истины и по возможности верной интерпретации событий и фактов. Таким автор был в написанной совместно с А. Некричем книге «Утопия у власти», таким он предстает и в этой небольшой, но емкой книге, отразившей основные вехи 70-летней истории Советского государства.

Читавшему «Утопию у власти» нетрудно заметить, что вторая книга связана с первой, ибо у них один «герой» и одинаковая временная протяженность, в которой существует «герой». Имеется в виду Советское государство и его исторически небольшая, но чрезвычайно насыщенная жизнь. Разница между двумя книгами в том, что последняя представляет собой как бы сконцентрированный конспект первой, то есть «очень сжатый очерк», который, по определению Геллера, «предлагает эскиз „альтернативной истории“». Здесь внимание историка заострено не на создании и развитии орвелловской уникально-тоталитарной системы, а на таком аспекте проблемы, как развенчание мифов советской историографии.

Но М. Геллер не только историк в собственном значении этого слова – он еще и знаток истории литературы, и эти два качества, сливаясь, позволяют ему создавать особую, пронизанную живыми соками ткань повествования. Разоблачая, автор выступает как бы в роли прокурора. Вот почему цитируемые им Б. Пастернак, А. Платонов, А. Кестлер, П. Истрати становятся своеобразными свидетелями обвинения.

Разоблачение начинается от истоков советской истории, от ставшего роковым Октябрьского переворота, который, согласно принятым канонам, рисуется как взрыв народного восстания против эксплуататоров, но который в действительности был ничем иным, как узурпацией власти большевиками. Именно они в тогдашних условиях и среди всех тогдашних политических партий единственные сумели схватить и удержать буквально валявшуюся на земле власть. Безотказным оружием в борьбе оказались политическое бесстыдство, ред-

Михаил Геллер. Вехи 70-летия. Очерк советской политической истории. Лондон, ОРІ, 1987.

кая демагогическая изворотливость и умение использовать революционную настроенность масс.

Далее развенчание мифов идет по всем кардинальным пунктам – «вехам» – советской истории. Это и голод 21-22 годов, и Кронштадтский мятеж, и НЭП, это процессы 20-х годов, Большой террор и, наконец, коллективизация и индустриализация, трактуемые официальной советской наукой как необходимые «скачки» в деле построения коммунизма.

Каждое из этих событий окутано плотной завесой лжи и умолчаний. И для состоящей на службе у партии идеологизированной советской науки не могло быть иначе. Скрывалось и скрывается, что с первых дней революции происходило уничтожение социальных групп и целых классов, что в коллективизацию ударом сталинской дубины был перебит хребет русского крестьянства, что индустриализация превратилась в ненужную гонку темпов и поголовное обнищание масс.

Скрывалось и скрывается, что планомерно и неукоснительно шло разрушение вековых традиций, искоренение моральных и духовных устоев народа, что проводилось это с помощью еще не виданного в истории террора и наведения такого ужаса, от которого люди теряли разум и готовы были продать душу дьяволу. Скрывается, наконец, что результатом этих «стараний» явилась уродливо-вывихнутая нежизнеспособная экономика и худосочное сельское хозяйство, которое вот уже много десятилетий не в состоянии обеспечить страну хлебом. Все покровы Михаил Геллер старается срывать, старается обнажать суть явления и в свете документированного факта определять истинное лицо событий.

Чрезвычайно важным оказалось в этой книге еще раз подчеркнуть опасность активно распространяемой ныне версии о «хорошем» Ленине и «плохом» Сталине, который из-за тяжелого характера и перегибов в политике якобы исказил прекрасный ленинский замысел. Разоблачение этого мифа тем своевременней, что он в несколько иной упаковке преподносится и весьма уважаемыми заграничными историками.

Геллер утверждает, что Сталин был не только законным, но и единственным сыном Ленина. «А то, – как иронически замечает автор, – что в конце жизни отец обиделся на сына и даже попробовал его лишить наследства, – случай нередкий». Доказательство основано на фундаментальных ленинских

формулах – первая: «о необходимости узаконить террор» и вторая – о наказании расстрелом «за пропаганду, объективно содействующую... международной буржуазии». «Суду дается право определять, что является „объективной помощью“, – справедливо полагает историк. – Это значит – власть может убивать... кого захочет, кто ей не нравится, кто ей мешает».

Здесь начало, здесь фундамент, здесь истоки бесправного общества, в котором, при сосредоточении власти в руках диктатора, можно давить и крушить на своем пути всех, начиная с неугодной личности и кончая неугодными народами. Итак, юридическое обоснование беззакония дано «добрым» вождем. Однако в это обоснование укладываются и в нем находят свое объяснение и Большой террор, и ждановщина, и дело врачей, и вся послесталинская карательная политика властей.

Что же касается «плохого» Сталина, то за последнее время к старым басням прибавилась новая – о «подлинном» большевике Кирове и «настоящих» ленинцах-кировцах, которые-де на XVII съезде стали в оппозицию к вождю и вообще проявили себя как фрондирующий элемент. Тщательное изучение материалов съезда показало, что и речи ленинцев на нем, и их деятельность во время индустриализации и коллективизации только подтверждают их преданность Сталину.

За прошедшие годы система не претерпела принципиальных изменений, наоборот – утвердилась в первоначальной своей заданности, поэтому периодизацию книги пришлось строить по простейшей схеме «время – руководитель». Так книга и разделилась на время Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Междущарствие (андроповско-черненко-ский период) и, наконец, время Горбачева. Для нас, естественно, интереснее всего был бы анализ нынешнего, горбачевского, периода, о котором нельзя было прочитать в «Утопии у власти». Она кончалась 1984 годом.

Такой анализ в «Очерках» есть, но, к сожалению, он дан коротко и в довольно общих чертах, что объясняется краткостью временного отрезка (года полтора, когда писалась книга). Тем не менее, предшествующие годы дали историку возможность более или менее точно смоделировать настоящее. Уже культ Хрущева показал неизбежность сталинского метода овладения властью, когда заменяются отдельные винтики, но сама машина остается в неприкосновенности. Отмечено и то, что «только в период восхождения к власти делают-

ся попытки осуществлять реформы», поскольку они являются одной из возможностей сменять неугодных генсеку функционеров. Таким образом составляется послушный ему аппарат, что происходит и нынче. Горбачев увиден характерной фигурой времени, очередным устроителем детанта, призванного расшевелить одряхлевшую экономику. Увиден он, хотя это только намечено, и героем нового мифа о «хорошем» генсеке, которому «вредные» противники мешают расширять гласность и укреплять перестройку.

Ныне горбачевская эпоха отпраздновала трехлетний юбилей. Это немного, но не так уж мало. Особенно «урожайным» оказался последний год, в котором чуть ли не каждый день приносит что-то новое. Здесь и чрезвычайно показательное, имеющее глубокие политические корни, «дело Ельцина», и изменения в уголовно-психиатрическом законодательстве, намечавшиеся как шаг вперед на пути к правовому государству, но оказавшиеся шагом назад, это и волнения в республиках. Произошла амнистия, почти не нарушившая количества рабов в современном советском ГУЛаге, готовятся внешнеполитические акции, связанные с выводом войск из Афганистана и выполнением договора о разоружении.

Идут разговоры о необратимости происходящих перемен, о проникновении в массы идей, связанных с восстановлением товарно-денежных отношений, о том, что даже и столь куцые и по-горбачевски ограниченные гласность и перестройка могут иметь далекие, сейчас не предсказуемые последствия. Это очень короткий и неполный перечень проблем, событий и фактов, нуждающихся в серьезном изучении, обработке, осмыслении. В любом случае, надо надеяться, что этот богатейший материал уже стоит на повестке работы историка.

Майя Муравник

СВЕТ НЕГАСНУЩЕГО КОСТРА

Признаться, я принимался за эту книгу с некоторым убеждением: ну, что, в самом деле, можно еще добавить к

Сергей Оболенский. Жанна – Божья Дева. Париж, ИМКА-Пресс, 1988.

огромной литературе о Жанне д'Арк? О ней написано великое множество академических исследований, прозы, поэзии, поставлено добрых два десятка оригинальных пьес и фильмов. Причем только одними французами. Сочинениям же иноязычных авторов просто, как говорится, несть числа. На этом фоне очередной опус на столь апробированную тему, казалось бы, уже не в состоянии открыть читателю чего-либо нового.

Но оказывается, талант, как говорил Пастернак, единственная новость, которая всегда нова. Хотя в данном случае едва ли можно говорить о таланте литературном (книга «Жанна – Божья Дева» Сергея Оболенского написана пером скорее журналистским, чем писательским), талант автора, на мой взгляд, прежде всего в духовном, сердечном, человеческом видении предмета изображения, а не в самом изображении.

Жанна д'Арк для автора – не историческая героиня, не вещая пророчица, даже не освободительница Франции, а в первую голову – чистая и наивная деревенская девушка, ставшая в силу своего предназначения Божественным сосудом, через который в мир изливалась сама Истина.

Сколько мне лично пришлось перечитать и пересмотреть всякого выдуманного вздора, где Жанна д'Арк, а в народном нарицании просто Дева, высокопарно произносила глубокомысленные филиппики, явно рассчитанные на дошлого современного ценителя всех политических и эстетических наклонностей – от клерикально-консервативных до анархо-авангардистских! Но речь ее, восстановленная Сергеем Оболенским по первоисточникам, оказалась настолько простой и безыскусной, что по ясности и чистоте выдерживает сравнение только с евангельской.

Она говорила: «Так мне велел Бог», «Я полагаюсь на Господа», «У меня добрый хозяин – Господь», «Я не прошу Его без нужды». Вот, пожалуй, ведущий лейтмотив ее разговоров, с небольшими и малозначительными вариациями. Но в этой кажущейся наивной лапидарности больше глубины и прозрения, чем во многих религиозно-философских трактатах вместе взятых.

Недаром своими, на первый взгляд, однозначными ответами она ставила в тупик судивших ее князей Церкви и клириков и доводила до иступления ученых мужей Парижского

университета, освятивших своим авторитетом ее казнь. Среди его шести официальных делегатов на процессе особенно выделялся своей свирепостью знаменитый богослов того времени Томá Курсельский. Он был одним из немногих, кто бестрепетной рукой проголосовал не только за казнь, но и за предварительную пытку, благо хотя бы в этом – последнем – оказался в меньшинстве.

Но через двадцать пять лет «на процессе реабилитации, – пишет автор, – ему просто отшибло память. Другие выступали ярче. Те же люди, которые в 1431 году исправно ходили на заседания, голосовали за осуждение и голосовали за казнь, в 1456 году стали расписывать на все лады, как им было ужасно ее жаль, как они всем возмущались и как оплакивали ее смерть. Изображая себя бедными, запуганными, терроризированными людьми, они все валили на... покойников... „Нажим“, конечно, был. Но один из немногих независимых людей, от этого нажима действительно пострадавший (хотя и не Бог весть как), Николай Уппвил, на процессе реабилитации показал прямо: „Что касается страха, под влиянием которого будто бы действовали судьи, я в это не верю; процесс они вели по собственной воле... По моему мнению, судьи и ассессоры в огромном большинстве по доброй воле приняли участие в процессе“».

Здесь я ловлю себя на банальной мысли, что история повторяется. И с этим, наверное, уже ничего не поделаешь, ведь на всем ее протяжении современники всегда и везде побивали и осмеивали своих пророков и мучеников. Для любителей проводить историческую прямую от Ивана Грозного до Сталина могу предложить беглую и далеко не последовательную справку из той же французской истории – от костров инквизиции до середины двадцатого века. На эшафоте кончили свои дни великие поэты Вийон и Шенье и гениальный математик Лавуазье, девятнадцать лет прожил в изгнании Гюго, а перед этим Вольтер, шестьдесят тысяч заложников истребил в дни Парижской коммуны демократически избранный Тьер, а слава Набокова началась с цензурного запрета его «Лолиты» в самой свободной стране европейского континента в конце пятидесятых годов нашего века. И именно об этой стране Марк Твен написал куда более уничтожающую книгу, чем маркиз де Кюстин о России. Но, к счастью, не по этим приговорным фактам мы судим о французской и любой другой

истории, а по сумме духовного и материального вклада в общечеловеческую сокровищницу. И в ней – в этой сокровищнице – имя Жанны д'Арк бесспорно затмевает все прегрешения ее судьей и их последователей.

Когда сегодня я читаю и слышу, как активные участники вчерашних советских аутодафе печатно и устно плачутся о своих недавних жертвах и срочно зачисляют их в официальные святцы, не забывая при этом чутко сверять меру собственного энтузиазма с сиюминутным расположением духа партийных инквизиторов, мне становится страшно за наше будущее. Ведь появившись в такой атмосфере даже не пророк, а просто по-настоящему честный человек, который скажет им в лицо правду о них самих, люди с такой эластичной моралью распнут его не задумываясь.

Разумеется, нет истории без распятых, но, к сожалению, ее нет и без распинающих. Печально лишь то, что чаще всего впоследствии вторые выдают себя за первых.

И здесь я снова возвращаюсь к Деве из книги Сергея Оболенского. Суду над ней посвящены, по-моему, ее лучшие и наиболее впечатляющие страницы. Сквозь казуистику изощренного следствия Божественным светом излучается евангельская простота ответов Девы.

Ей было сказано, что, если она не подчинится, Церковь отвергнет ее, как христианку.

Она отвечает:

– Я христианка, я крещена и умру христианкой.

Ей было сказано, что она не получит причастия, если не подчинится.

Она ответила:

– Я не скажу ничего, кроме того, что я уже говорила. Я люблю Бога, служу Ему, я христианка и хотела бы всеми силами помогать Церкви и поддерживать ее.

У нее было с умыслом спрошено, хочет ли она, чтобы о ее здоровье молились и провели крестный ход?

Она ответила:

– Очень хочу, чтобы Церковь и народ католический молились обо мне...

Инквизиторская логика оказалась беспомощна перед незамутненной лукавством простотой веры. Дева безропотно вошла на костер и последним словом ее было: «Иисус!»

«Образ нового человека, – заключает автор, – в котором все свободно и все едино, потому что все в реальном царстве Христа, явился один раз в молоденькой девушке и был уничтожен. И самое воспоминание об этом образе быстро померкло: вместо всеевропейского покаяния перед замученной Вестницей Божьей, реабилитация, чтобы кое-как «кончить дело», сама в известной степени исказила этот образ и, во всяком случае; побоялась показать его миру во всей его идеальной красоте. Этим и определилось окончательно направление новой европейской культуры, в которой для Жанны не было места».

И только тут мне хочется поспорить с автором. Само неизменное возвращение европейской мысли к этому образу, пусть даже порою негативное, свидетельствует, что без Жанны – Девы Божьей – европейская культура просто немыслима.

В. М.

ХРИСТОС ПО АЙТМАТОВУ

Тысячелетие Крещения Руси совпадает с воскрешением религиозного чувства и обновлением христианской жизни в СССР. Остается лишь оценить подлинную значимость этого явления.

150 лет назад в своей полемике с Гоголем великий критик и публицист Белинский заверял, что русский народ глубоко атеистичен. Сегодня писатель Сергей Довлатов очерчивает религиозный феномен в России рамками полутысячи московских, киевских и ленинградских интеллигентов.

«Деревенщики», в свою очередь, извлекают на свет из глубинной России нежданные духовные богатства, что приводит в ярость профессионалов атеизма. В «Правде» от 10 апреля 1987 года З. Тажуризина встревоженно пишет, что пора отнять всякий ореол мужества у попыток религиозной пропаганды, ноявляющихся в советской культуре.

Иностранная же печать, с несколько чрезмерным усердием, видит «Христа в Москве».

Tchinguiz Aïtmatov. Les rêves de la louve. Roman. Trad. du russe par Christine Zeytounian-Beloüs. Paris, «Messidor», 1987.

Ладно бы дело шло только о деревенщиках. Но вот один из их самых ожесточенных противников, Чингиз Айтматов, тоже превозносит Христа перед иностранными журналистами.

Именно он устроил сенсацию своим романом «Плаха» (во французском переводе – «Сны волчицы»), сюжет которого – допрос Христа Понтием Пилатом, а главный герой – молодой советский христианин.

Пресса не жалеет похвал этому роману. Речь в открытую доходит до разговоров о Нобелевской премии. Вадим Соколов в апологетической статье, опубликованной в «Голосе Родины» (№ 11, 1987), ставит автора в один ряд с Толстым и Достоевским, наделяет его всеми достоинствами русской универсальности, которые так трудно перевести на западные языки: «всеобщность», «всечеловечность», «соборность».

Семь лет назад, в романе «И дольше века длится день», Айтматов дерзко заговорил о вере своих соотечественников-киргизов. Сегодня он принялся за проблемы православной Руси.

В романе сплетаются несколько тем:

- жизнь «положительного героя» Авдия Каллистратова, бывшего семинариста, порвавшего с церковной иерархией. Он хочет бороться со злом в обществе и после долгого хождения по мукам умирает, распятый бандой хулиганов, которых он хотел вывести на путь добра;

- странствия волчьего семейства, которое постигла насильственная смерть волчат. Трудно остаться равнодушным к душераздирающим жалобам матери-волчицы;

- суровое и тяжелое существование киргизских пастухов. Это страницы подлинные, волнующие, драматические, задевающие за сердце.

Однако подспудные философско-религиозные идеи «Плахи» остаются спорными.

Каков этот Христос, которого писатель заставляет предстать перед Понтием Пилатом? Каковы те нравственные ценности, которые защищает Авдий? И какова концепция сверхъестественного у представителей Русской Церкви?

Неизбежно констатируешь, что преклонение Айтматова перед Христом довольно ограничено. Помимо того, что это придает его прозе слабость с чисто художественной точки зрения, – в религиозном плане она оказывается в противоречии с писаниями Евангелистов. Иисус Айтматова лишен достоин-

ства, лишен благородства. Он то ведет себя униженно, рассыпается в извинениях, то нахмурен, подавлен, то демонстративно холоден и ироничен.

Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» уже показал нам в аналогичной сцене довольно схожего Христа, но его Иешуа, по крайней мере, умел молчать. Действительно, Иисус Евангелистов говорит лишь то, что необходимо, чтобы утвердить сверхъестественный характер его миссии: «Царство Мое не от мира сего» (Иоан. 18, 36). Он не отвечает своим обвинителям, в то время как у Айтматова он неустанно оправдывается.

Более того, защищаясь, он отвергает Божественный характер своей миссии. Он приписывает молве все, что в его жизни и поступках выходит за пределы естественного.

У Айтматова, как и у Булгакова, Христос все относит на счет невежественного народа, склонного верить выдумкам, и Евангелиста Матфея, которого булгаковский Иешуа опровергает: «Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил».

Айтматов идет дальше: его Христос не верит в загробную жизнь. Воскресение для него – всего лишь недоразумение, ибо смерть человека для него «конец света».

Второе пришествие? Но это не Христос вернется на землю, а люди, которые поднимутся следом за ним «на престол призвания к добру и красоте». Что же касается Страшного Суда, то он уже начался: это видно по несчастьям, которые наступили вслед за изгнанием из земного рая и обрушиваются на человечество с тех пор. Вот он, ад, который превосходит всякое воображаемое наказание из тех, что будут вынесены в день Страшного Суда.

Дойдя до этого, Айтматову остается сделать один шаг, чтобы найти опору в политической злободневности и вопросах, касающихся атомной угрозы. Переход осуществляется через агонию на Масличной горе. Там айтматовскому Христу является видение конца человечества:

«...как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека, – все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом отбушевавших пожаров, земля лежала сплошь в руинах – ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный, бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру...»

Не подумаешь ли, что слышишь фрагмент апокалипсических речей, произносившихся в феврале 1987 года на Московском «форуме мира»?

Но кто может уверять, что на лбу оратора, самого пылко-го, он заметил капли крови?

Точно так же и мистицизм «русской души» у Айтматова состоит лишь в нескольких лирических вспышках на устах представителей Церкви.

Отец Авдия был дьякон, спокойно обходившийся без сверхъестественного. Он, чувствительная душа, любил слушать слова молитвы, которую сочинила монашка, некогда невеста моряка, без вести пропавшего в море. Несмотря на всю свою поэтичность, эта молитва проникнута чистейшим агностицизмом. В чем смысл этой молитвы? В ней содержится просьба, чтобы корабль «держал путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему во веки не дано...».

Автор явно наслаждается своим творением, ибо эта молитва вновь целиком фигурирует в конце романа. Пусть жизнь продолжается! Пусть никогда не случается никакой катастрофы! И убеждения сына вполне гармонируют с убеждениями отца. Во время разговора с «отцом Координатором», представителем церковной иерархии, которому поручено спасти душу мятежного семинариста, он заявляет:

«Вне нашего сознания Бога нет».

Он не испытывает никакой потребности в Церкви: «Моя Церковь – это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей». При этом Авдий уточняет: «...особенно в сегодняшнем их качестве».

Но идея добра преследует Авдия. Цель его жизни – бороться со злом в мире. Рвение неопита приводит его к тому, что он проникает в банду торговцев наркотиками. Но его разоблачают, избивают и на ходу вышвыривают из поезда. Затем судьба становится ему благосклоннее. Он знакомится с девушкой и быстро приходит к убеждению, что одна лишь любовь составляет подлинный смысл жизни. Но у него нет средств, чтобы жениться, и он отправляется на поиски новых приключений: он едет в Среднюю Азию участвовать в гигантском побоище антилоп, организованном властями в рамках плана. Тем не менее, он не оставляет своих намерений стать проповедником и вступает в конфликт со своими спутниками, которые оказываются опасными преступниками. За свое

«апостольство» он платит жизнью – его распинают, как Христа.

Психологи остаются в замешательстве перед этим образом. Герой в такой же степени Пилат, как и Иисус; точнее, это богоискательство, замешанное на ниспровергательстве, при-сущем подростковому возрасту.

Ключевая сцена романа, спор Пилата и Христа, на манер диалога братьев Карамазовых, лишена диалектической остроты: собеседники, по существу, стоят по одну и ту же сторону. Авдий верит в Бога не больше, чем Прокуратор. Лицом к лицу с Координатором, он признается в своем атеизме, даже если в разговоре со спутниками о Боге уточняет: «Хотелось бы думать, что есть, хотелось бы, чтобы был...».

Таким образом, вся дискуссия – пустая трата времени. Понтию Пилату просто любопытно узнать, как пророк оценивает свою жизнь за несколько мгновений до того, как будет распят.

Интереснее дальнейшее, когда Айтматов, киргиз, принадлежащий к мусульманской культуре, прямо обращается к интеллигентам, которые преклоняются перед русским православием, и напоминает им о подлинном измерении христианского призвания.

Как некогда Пушкин в одном пассаже из «Путешествия в Арзрум» (кстати, вырезанном цензурой), он напоминает о бескорыстном служении западных миссионеров в Африке, чтобы еще ярче продемонстрировать нелепую узость русского мессианства.

Авдий Каллистратов, охваченный состраданием к осужденному на смерть Иисусу, предлагает ему гостеприимство на своем клочке России: «О бедный, о наивный мой учитель, бежим со мной на Волгу, на Оку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать как на звезде небесной, всем отовсюду видной, но никому не доступной».

Но кому нужен Спаситель, столь же недостижимый, как берег, к которому плывет корабль монашенки?

Несмотря на все свое восхищение перед личностью Иисуса, Айтматов отводит ему роль не больше, чем Авдию. Когда судьба сокрушительно обрушивается на людей и зверей, их жертва выглядит напрасной. Единственная надежда, которую они себе оставляют, – что жизнь будет сохранена, что катастрофы удастся избежать.

И все-таки стоит признать за Айтматовым то достоинство, что он ссылается на христианские ценности и втягивает советского читателя в размышление о них и их созерцание.

О. Алексей Алоис Стричек

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ТЫСЯЧУ СТРАНИЦ

В конце 1987 года в нью-йоркском издательстве «Руссика» вышел из печати роман Михаила Демина «Рыжий дьявол», завершив тем самым публикацию его автобиографической трилогии: первый роман, «Блатной», появился в 1981 году, второй, «Таежный бродяга», издан в 1986 году.

Михаил Демин – человек и художник необыкновенной судьбы, перипетии которой и составили, собственно, содержание его трехтомной эпопеи. Сын крупного советского военачальника (родился Михаил Демин в 1926 году), он в годы сталинского террора потерял семью и дом, беспризорником колесил по России, в Ростове-на-Дону попал в компанию уголовников, участвовал в кровопролитной «сучьей войне», сидел в лагерях на Крайнем Севере. В начале 50-х годов, вскоре после освобождения из арктических лагерей, он начал печататься. За несколько лет Михаил Демин издал четыре поэтических сборника и книгу прозы «Мирская тропа». Пришло официальное признание: его имя попало в советскую Краткую Литературную энциклопедию... В 1968 году, находясь во Франции (по приглашению родственников), Михаил Демин, однако, принял естественное для себя решение: бродяга и художник, он не захотел вернуться в подцензурный мир. В эмиграции Михаил Демин много написал, но публиковал свои произведения только в переводах. Его удивительные одиссеи – романы и повести – давно уже популярны во Франции и Германии, Испании и Америке, Италии и Португалии, Израиле и Японии. Надо отметить, что профессиональная западная критика встретила в свое время роман Михаила Демина «Блатной» не только восторженно, но, что существеннее, с отчетливым

Михаил Демин. Блатной. Таежный бродяга. Рыжий дьявол. Автобиографическая трилогия. Нью-Йорк, «Руссика», 1981 – 1987.

пониманием его тематической и художественной новизны: Например, французский «Экспресс» писал, что Эжен Сю и Виктор Гюго были бы в восторге от поразительного документа Михаила Демина, посвященного «чреву» тоталитарной системы. Журнал «Шпигель» высказался так: «Демин показывает необычные, захватывающие картины из жизни карманников, взломщиков, контрабандистов, железнодорожных воров и проституток в их социалистическом отечестве: все то, чего по официальным советским данным не существует вовсе...». Американский критик Джордж Шайлер считает, что в этой книге даны потрясающие подробности из жизни советского уголовного подполья. Рецензент западногерманского радио справедливо отметил, что эта книга – совершенно новое слово в лавине русских мемуаров и самиздатской литературы.

О гигантской империи «Архипелаг ГУЛаг» написаны потрясающие книги-свидетельства. Их авторы – А. Солженицын и В. Шаламов, Е. Гинзбург и Ю. Марголин, В. Гроссман и А. Марченко, В. Буковский и Э. Кузнецов – известны повсеместно. Однако главный герой их произведений – политзаключенный, бросивший вызов режиму или ставший невинной его жертвой. Уголовный мир возникает там фрагментарно, он отчужден от нравственной проблематики, повседневной жизни и борьбы политзаключенных. Это, конечно же, миры-антагонисты. Такая позиция позволяет писателю-политзаключенному создать картину уголовного окружения лишь извне (по подобию), а не изнутри (по тождеству). Пробел этот и восполняет Михаил Демин в романе «Блатной».

Формально придерживаясь жанровых особенностей социально-психологического, плутовского или авантюрного романа, автор, по существу, создает новый жанр. Его можно определить как эпический роман-документ, своеобразие которого в парадоксальном, на первый взгляд, соединении эпоса, тяготеющего к широкому обобщению, панорамным планам, степенному развитию действия, и документа, стремящегося к подлинности, сиюминутности времени, места и обстоятельств.

Автор мимоходом рассказывает о тихом ласковом старичке-людоеде, торгующем на рынке человеческими котлетами, говорит о жертвах доносчиков – адмирале флота и филологе Бровмане; о судьбе дочери известного питерского профессора – проститутки Алтыны или о грузинском князе – люби-

теле мальчиков. Повествует о поклоннике Есенина – профессиональном воре Соломе, о писателе-зэке Роберте Штильмарке, авторе популярного приключенческого романа «Наследник из Калькутты». Создает жуткий образ старика Лешего, страстно возжелавшего свободы любой ценой, начавшего симулировать безумие... поеданием экскрементов и в конце концов действительно сошедшего с ума... Переносит действие из правительственного дачного поселка Кратово во Львов, центр бандеровского подполья, в кишлаки Средней Азии, в притоны Владивостока и заполярные лагеря...

В романе есть важный для понимания идейной концепции автора диалог: «Вообще, если вдуматься, Сталин – он кто? Он ведь самый настоящий уголовник. Такой же, как и все мы.

– Как мы? – с обидой возразил Яков, – нет уж, извини. Я не согласен. Мы, фармазоны, все-таки – интеллигенция. А он, судя по всему, обыкновенный авлабарский блатарь...

– Эх, был бы он блатарь! – заметил я тогда. – Был бы он блатарь, я бы вызвал его на толковище, предъявил ему пару слов... Нет, ребята, вы урок не обижайте. Хоть он и такой же, как мы, но все же – не наш!

– Ну, значит, просто – ссученный, – медленно и звучно сказала из угла Королева Марго».

И действительно, как много сходства у советской партийной мафии с уголовной: тот же паразитизм и сверхмораль, плenum-толковища, подпольность, иерархия, распределение благ, наказание еретиков...

Герой романа сложен: по рождению он принадлежит партийной элите, по воспитанию он – интеллигент, по нынешнему статусу – блатной, по призванию – поэт, художник. Много невероятных и жутких испытаний выпадает на его долю, пока он обретает человеческую, а потом и творческую свободу.

Зимой 1952 года Чума (блатная кличка героя) выходит за ворота лагеря, «завязав», с благословения воровской сходки, с преступным миром. По закону он, правда, должен еще отбыть три года ссылки в Хакасии, Красноярском крае, но не таков, видно, характер героя: Чума отбывает... в Москву. Его почти трехлетнее нелегальное существование, скитания по стране стали темой следующего романа Михаила Демина «Таежный бродяга». В столице он встречает родных, подолгу беседует со своим двоюродным братом Юрием Трифоновым, тогда уже

знаменитым писателем, лауреатом Сталинской премии; похаживает по журнальным редакциям и в конце концов возвращается мыкаться в Сибирь...

Здесь хотелось бы отметить, что второй роман Демина не произвел на меня столь сильное впечатление, как «Блатной». В «Таежном бродяге» не ощущается экзистенциального напряжения, сюжетной динамики, отсутствуют уникальные и неожиданные персонажи и обстоятельства. Кажется, что при общем сохранении стилистики художественная глубина первого романа как бы «обмелела» во втором до уровня добротной беллетристики, очеркового описательства. Правда, быть может, здесь сказалась естественная реакция автора на серую будничность совдеятельности? В то же время, последний, заключительный роман трилогии «Рыжий дьявол» читается с несомненно большим интересом. И дело не только в том, что приключенческая сторона его разнообразнее и на порядок выше, нежели в «Таежном бродяге». В нем, как и в «Блатном», вновь появляются полновесные образы, яркие персонажи, возникает ощущение четырехмерного пространства... Читателя ждет встреча с подпольными миллионерами и провинциальными журналистами, бандитами и «роковой красоткой» чалдонкой Клавой, партбюрократами и контрабандистами, староверами и археологами, ссыльными и гзбешниками... Безусловного внимания заслуживает эпизод, где автор повествует о гибели целинного хлеба (его герой уже давно легализован, работает в областной газете корреспондентом). Рассказ о сгоревшем зерне, казалось бы, бесстрастный и объективный, поражает своей сюрреалистичностью и болью.

Дорогу длиною в тысячу страниц Михаил Демин обрывает в самолете, вылетевшем из Москвы в Париж. Что ж, благодаря этому рейсу читатель смог познакомиться с огромным и, во многом, уникальным жизненным опытом талантливого русского писателя.

К сожалению, Михаил Демин не дождался выхода в свет двух последних своих книг. Он умер в Париже в 1984 году. Но, как известно, рукописи — не горят, а книги, если они настоящие, долговечнее авторов.

Сергей Петрунис

Впервые о Генрихе Сапгире я услышал более тридцати лет тому назад. Правда, в соседстве с фамилией Холин. Сочетание это сохранялось, по-моему, еще добрых полтора десятка лет. Обычно так и произносилось: «Сапгир и Холин». Или наоборот: «Холин и Сапгир». Это было нечто большее, чем просто сочетание имен двух поэтов. Это была как бы персонификация целого явления в тогдашней русской литературе – явления, которое принято теперь называть неонконформистским и подарившего сегодня нашей отечественной словесности Венечку Ерофеева, Леонида Губанова, Владимира Алейникова и еще добрую полдюжину стоящих имен. О них тогда ходили легенды, но по большей части внелитературного свойства. В основном о количестве, месте и последствиях ими выпитого. Наверное, поэтому в литературных и окололитературных кругах с академическим, так сказать, уклоном к ним всерьез не относились, хотя по емкостям выпитого на душу им старались не уступать.

Но однажды, где-то уже в конце шестидесятых, будучи в Риге, я случайно оказался в кинотеатре, где демонстрировался мультипликационный фильм по сказке замечательного и до сих пор еще не оцененного еврейского поэта Овсея Дриза об одинокой лошади некоего украинского местечка. Фильм был сделан с такой, поистине шагаловской проникновенностью, что я за время пребывания в этом городе просмотрел его еще три или четыре раза. И в титрах каждый раз бросалось в глаза: «Сценарий Генриха Сапгира».

С этого фильма и началось мое настоящее знакомство с этим крупным и, как впоследствии выяснилось, никогда не изменявшим себе поэтом.

А затем, спустя еще несколько лет, уже на Западе ко мне на редакционный стол легли пришедшие сюда по каналам самиздата его стихи из книги «Сонеты на рубашках». И я, к своей радости, только утвердился в убеждении, что имею дело с далеко недюжинным мастером:

Улыбчивые старцы-мудрецы
Разглядывают диаграмму жизни:

Генрих Сапгир. Стихи – 87. Париж, «Афоня», 1987.

– Поэтом будет... при социализме...
– Судьба печальная, – заметил Лао Цзы.
И вот родился я в своей отчизне...
Была война... Давили подлецы...
На грядке кошка ела огурцы...
Скучища – хоть на лампочке повисни!
Вдруг выигрыш – поездка в Сингапур!
И ту, где жизнь – как сладкий перекур,
Я фреску увидел в китайском храме:
Там на стене, где ивы и дворцы,
Улыбчивые старцы-мудрецы,
Беседуя, склонились к диаграмме...

И наконец, вот теперь передо мной последняя книга поэта. Она вышла в самом конце минувшего года в Париже в издательстве «Афоня», в дни пребывания Генриха Сапгира во Франции. В ней – этой книге – чуть больше сорока страниц, причем почти на каждой странице лишь по одному стихотворению, но как много порою может вместить в себя совсем небольшая и скромная по оформлению книга. Судите сами:

Воронье царство у реки –
крик по верхам орленым
В Кремле латышские стрелки
стреляют по воронам.
По выправке военный спец
иду в шинели долгой
Бежишь – и март, как леденец –
ты – худенькая с челкой
Нет! мы встречаться не должны
Патруль чернеет у стены
Но обмирает сердце...
В дни революций и войны
любовь мудрее сердца.

Согласитесь, многое надо пережить и перечувствовать, чтобы на столь привлекательную в своей кажущейся доступности тему написать такими словами и в таком ключе.

Жаль, что в глазах советских читателей Генрих Сапгир все еще считается детским поэтом. Тонким, умным, наблюдательным, но все же детским. За более чем три десятка лет

работы в литературе ему до сих пор так и не удалось опубликовать у себя на родине ни одной строчки из того, что им написано за эти годы, как писал Борис Пастернак, до полной гибели, всерьез. Только зарубежные русские любители поэзии узнали подлинного Генриха Сапгира и то лишь в последние годы, благодаря хотя и немногочисленным, но полнокровным публикациям в здешних эмигрантских изданиях.

И что характерно, он в отличие от многих своих друзей, так сказать, по цеху, никогда не стремился печататься за рубежом. Все заграничные публикации поэта (кроме этой книжки) осуществлены без его ведома и согласия. Он все еще не теряет надежды на признание соотечественников, а ведь за спиной у него уже шестьдесят лет. И каких! Неужели ему, как и некоторым его предшественникам, суждена лишь посмертная их любовь? Будем надеяться, что столь обычная для судеб русской литературы чаша сия обойдет его, и наш отечественный читатель откроет для себя настоящего поэта Генриха Сапгира еще при его жизни. Поговаривают даже, что первая, если так можно выразиться, взрослая его книга уже готовится к выпуску в издательстве «Советский писатель». Дай-то, как говорится, Бог!

В моей эмигрантской жизни я помню лишь один вечер поэта из Советского Союза, на котором гостю не было задано ни одного политического вопроса. Это был вечер Генриха Сапгира. Он только читал стихи и говорил о стихах, что было в этом случае абсолютно естественно, ибо Генрих Сапгир никогда в своей творческой жизни даже косвенно не касался каких-либо, запрещенных или разрешенных, политических тем. Для него, для его поэтического мира, их – этих тем – просто не существовало. Весь его сознательный век прошел в слове и только за это сказанное им слово он и нес ответственность. Наверное, именно поэтому никому на том парижском вечере даже не пришло в голову задавать ему вопросы о «гласности», «перестройке» или «ускорении». Перед аудиторией предстал поэт, и этим было все окончательно сказано. Это обстоятельство могло бы при желании дать благодарную тему к размышлениям для многих литературных вояжеров из Советского Союза, жалующихся на излишнюю политизированность своих зарубежных слушателей.

Мне бы хотелось закончить этот отзыв на книгу Генриха Сапгира «Стихи – 87» строками из его стихотворения «Икона»:

Глаза поставленные близко –
ты смотришь Николай епископ
со старой треснувшей доски
– О исцели мя от тоски!
Еще со щепкина знакома
И чудом спасена икона
Сквозь грудь по золоту – ожог! –
себя ты оберечь не смог
Храни в пути и на чужбине
Приеду – оботру от пыли...
Не лик московского письма
а там – душа моя сама...

И этим, на мой взгляд, самим поэтом определены суть и содержание его последней книги.

В. Максимов

РАДОСТЬ НЕЧАЯННОЙ ВСТРЕЧИ

Две первые книги воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам поразили читателя грандиозностью размаха, мощью и глубиной суждений. На появление следующей книги, естественно, рассчитывать не приходилось по той простой причине, что автора уже не было в живых. И вот перед нами небольшая книжка, на обложке которой крупно обозначено «Надежда Мандельштам» и внизу – «Книга третья». И это уже само по себе представляется чудом.

Из редакторского предисловия узнаём, что после окончания фундаментального труда всей своей жизни, двухтомных воспоминаний, Надежда Яковлевна по настоянию друзей начала работу над третьей книгой, в которую должны были войти главы о детстве и отрочестве, о родителях и своей семье – вообще обо всем ее до-мандельштамовском периоде жизни. И если бы удалось эти главы завершить, то они, безусловно,

Надежда Мандельштам. Книга третья. Париж, ИМКА-Пресс, 1987.

оказались бы такими же яркими, неожиданными и смелыми, как все, о чем пишет эта необыкновенная женщина.

К сожалению, дело далеко не пошло, потому что Надежду Яковлевну к старости начинали мучить болезни, ощущение физической немощи и, главное, оказался погашенным интерес к тому времени, когда не было Мандельштама. Не случайно еще в первых книгах Надежда Яковлевна неоднократно подчеркивала, что ее жизнь началась со встречи с Мандельштамом, что именно его глазами она смотрела на окружающее и что цель ее существования заключалась в восстановлении творчества гениального поэта из праха небытия.

«Книга третья» все же состоялась. Как и первые две, она вышла, конечно же, здесь, на Западе, ибо на родине для публикации этих уникальных книг все еще, к сожалению, никак не наступил срок. Заслуга последнего издания принадлежит друзьям Н. Мандельштам, которые любовно и тщательно собрали воедино все материалы, не вошедшие в первые два тома. В основу легли никогда не публиковавшиеся комментарии к московским и воронежским стихам Мандельштама 1930–1937 годов, ставшие стержнем книги. Рядом нашли свое место критические и литературоведческие статьи, автобиографические заметки, письма, а также три очерка, напечатанные под псевдонимом «Н. Яковлева» в сборнике хрущевского «оттепельного» периода «Тарусские страницы».

«Книга третья», бесспорно, камерна, пунктирна, порой клочковата по содержанию. Она лишь как бы примыкает к первым двум, как бы дополняет эти две книжищи, две глыбы овеществленного, спаянного с памятью времени. И, тем не менее, эта небольшая книжка ценна. И не только тем, что дала возможность вновь услышать, казалось бы, навек умолкнувший голос Надежды Яковлевны. Книжка ценна гораздо более полным и концентрированным проявлением ее дарования – специфического дара ученого-текстолога. К тому же здесь раскрываются новые фактологические данные, а также пусть недостаточно, пусть прерывисто, однако достаточно ярко освещаются те стороны этой удивительной жизни, которые до времени оставались в тени.

Открывает книгу «Мое завещание», уже знакомое читателю по первой публикации в «Вестнике РСХД» 1971 года и с тех пор неоднократно переиздававшееся. «Завещание» написано в присутствии Надежды Яковлевны страстно-публицисти-

ческом ключе и содержит обращение, почти заклинание, к будущему с просьбой оградить ее от посягательства советских властей. Оно связано с тем, что в 1972 году права на литературное наследие Мандельштама должны были отойти государству: «Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной тачке».

Глава «Моцарт и Сальери» – это исследование природы поэтического творчества, связанное с тем, как понимал сам Мандельштам две стороны созидательного процесса, которые им обозначались посредством слов «Моцарт» и «Сальери». Здесь отмечается привычный штамп сальеризма как ремесленничества и на первый план выдвигается Сальери – мастер, суровый и строгий ценитель вещей. Без него немыслимо моцартовское начало, та «вспышка узнавания», которая возникает в единственно нужную минуту и которая подобна судьбе. В этой связи появляется анализ так называемого «тайнослышанья», свойственного только поэту и выявляемого в стихах Пушкина, Ахматовой и Мандельштама. Тайнослышанье – это чудо, оно от воли поэта не зависит и, являясь свыше, дает ему полное знание и полное видение.

Надо сказать, что исходные данные этих исследований не явились тут как бы внове или нечаянно. Уже в первых двух книгах Н. Мандельштам постоянно подчеркивала мысль о сути поэзии как избранничества, веры в ее священный характер, ощущения той особой свободы и разбуженности, при которых поэт «без оглядки делает свое дело „против шерсти“ времени и эпохи».

Что касается текстологических изысканий этой книги в главе, отведенной комментариям стихов, то эти изыскания, судя по всему, станут настоящим подарком для исследователей творчества Мандельштама. Будучи одним из наиболее тонких и сведущих знатоков его поэзии, получавшая материалы, что называется, из первых рук, Надежда Яковлевна уже в книгах воспоминаний неизбежно возвращалась к разбору отдельных стихотворений Осипа Эмильевича. Однако там этот разбор появлялся разбросанно и спонтанно, вызванный необходимостью либо подкрепить какое-нибудь суждение, либо отместить-то неверное представление.

Здесь комментарии к московским и воронежским стихам периода 1930-37 годов представлены скомпонованно и слитно, с заранее заданной целью, как специальный литературовед-

ческий труд. Для Мандельштама важны были живые реалии быта, быстротекущей и пестрой судьбы, которая швыряла поэта с женой по всей стране. Никто лучше Надежды Яковлевны этих реалий не знал. Отсюда дополнительные точность и мастерство ее анализа. Примером может служить анализ стихотворения «Бежит волна...» Он был и во «Второй книге», однако представлялся в общей и более теоретической форме. Здесь Надежда Яковлевна привносит совершенно точную и конкретную деталь: сообщение о подстроенном Сталиным убийстве Кирова в Ленинграде.

Глава «Мандельштам в Армении» – существенное дополнение к комментариям, ибо, как пишет Надежда Яковлевна, это путешествие – «одна из самых глубоких струй мандельштамовского историософского сознания»... и именно тогда стихи к нему вернулись и более уже не покидали. Этого нельзя сказать о поездке в Грузию, где Мандельштам, правда, тоже написал одни из лучших своих стихотворений. Поэтому и описание грузинского периода в специальной главе дано более схематично и сухо.

В автобиографических главах «Отец», «Семья», «Девочки и мальчик» портреты отца, матери, сестры и братьев обрисованы Надеждой Яковлевной бегло, но с присущей ей остротой взгляда и умением проникать в суть характера. Особенно тепло рассказывается об отце, который, будучи атеистом, сумел, тем не менее, внушить дочери благоговение к Библии. Детство, жизнь в дореволюционном Киеве описана живо, в теплых, юмористических тонах.

Рассказ о судьбе мандельштамовских архивов повторяет, в основном, уже рассказанное в первых книгах. Здесь особенное внимание обращено на почти детективную историю того, как автографы буквально вырывались из цепких рук литературоведа К. Харджиева. К нему, редактору первого и пока единственного собрания стихов в «Библиотеке поэта» Надежда Яковлевна относилась с преувеличенным и, надо сказать, не совсем справедливым предубеждением.

Если говорить о самоценности «Книги третьей» Н. Я. Мандельштам, то с первыми двумя она, безусловно, ни в какое сравнение не идет. И это понятно. Эта книга не создавалась как монументальное целое с единым законченным замыслом и выношенной концепцией. В ней нет присущей первым книгам исключительной эмоциональной нагрузки, душевной напря-

женности и боли, с какой, по словам Надежды Яковлевны, «не сравнится никакой инфаркт». Нет в ней и проникновенно раскрытого человеческого и творческого портрета гениального поэта. И, наконец, в последней книге отсутствует редкостный по своеобразию и глубине социально-исторический анализ времени, которое Н. Мандельштам назвала «эпохой оптовых смертей и гигантских мясорубок».

И все-таки книга приносит радость. Прежде всего – это радость встречи, и встречи нечаянной. Ведь читатель снова, неожиданно, сам не веря себе, встречается с автором *любимым*, с личным другом, расставание с которым воспринималось как утрата. И вдруг с этой книгой к нему приходит вновь ощущение тех же неповторимых интонаций, напряженного, страстного голоса, резких и непримиримых, пусть даже неоправданно пристрастных суждений. Уже это важно, и в этом одна из ценностей этой книги.

М. Михайлова

СВИДЕТЕЛЬ И ПОЭТ

Имя поэта и критика Юрия Терапиано хорошо известно в Русском Зарубежье. Он начал свой творческий путь еще в блестящие двадцатые годы, когда во Франции жили и творили Бунин, Ремизов, Мережковский, Георгий Иванов, Борис Зайцев... Со всеми ними, а также, естественно, с молодым поколением русских поэтов и писателей-эмигрантов, Юрий Терапиано был хорошо знаком.

За время своей долгой жизни Юрий Терапиано (он умер недавно, в начале 80-х годов) издал на Западе несколько сборников стихотворений, публиковался в лучших зарубежных журналах. В его мистической повести «Путешествие в неизвестный край» рассказывается о поездках в Индию, в Северный Тибет, об остатках исчезнувших цивилизаций.

И вот сейчас издана книга воспоминаний Юрия Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека. (1924 –

Юрий Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека, Париж – Нью-Йорк, «Третья волна» – «Альбатрос», 1987.

1974)». Составители книги – Ренэ Герра и Александр Глезер. Большую работу, в частности, провел профессор Ренэ Герра, фотографии и автографы из его личного архива публикуются впервые. Нельзя не отметить также великолепную обложку работы Сергея Голлербаха: живые сцены парижской жизни на ней производят сильное впечатление.

В основе книги лежат воспоминания и литературно-критические статьи, написанные Юрием Терапиано в разное время. Однако всем этим работам присущи некоторые общие качества. Они написаны доброжелательно, с большой любовью к писателям, поэтам и художникам, которых Терапиано знал лично. Что еще более редко, Терапиано удалось сочетать такой подход с полной литературоведческой объективностью. Поэтому книга весьма интересна в познавательном отношении, причем это касается не только литературного анализа, но и самого духа истории. Страница за страницей перед нами проходит галерея выдающихся творцов Русского Зарубежья: от Марины Цветаевой до Ивана Бунина. Мы можем видеть, как они жили, как важнейшие исторические события (в частности, приход Гитлера к власти и Вторая мировая война) влияли на их мироощущение, быт, жизненные установки.

История Русского Зарубежья, прослеживаемая на примере судеб писателей и поэтов, не была неким изолированным феноменом – грозный ход мировой истории врывается в нее, кардинально меняя судьбы людей. Это, пожалуй, первое и очень весомое впечатление, которое читатель может получить из этой книги.

Второе касается психологической ауры Русского Зарубежья. Красной нитью через все литературные портреты этих людей проходит мысль о глубокой связи России, ее культуры, ее судьбы с жизнью Русского Зарубежья. Иными словами, никакой духовной ассимиляции не произошло, напротив, все эти европейски образованные люди, владеющие многими западными языками, оказались очень русскими – даже в большей степени, чем некоторые из них ожидали (разумеется, бывали и исключения). Поэтому в центре их исканий и надежд (не говоря уже о творчестве) неизменно стояла Россия.

Третий, довольно существенный, вывод (хотя этот момент, естественно, наиболее тонок и спорен): психологи-

ческая и жизненная стабильность эмигрантов зависела, конечно, от многих, в том числе их личных, качеств, но важнейшую роль в этой устойчивости играла традиционная, сильная, пронизывающая все существо, вера в Бога. Наиболее очевидный пример этому – Борис Зайцев, который всю свою долгую жизнь провел вне комплексов злобы, страха, отчуждения, отчаяния и ненависти – и, по свидетельству всех знавших его, производил впечатление гармонического, счастливого человека, уверенного – и не на словах – в неистребимости самого главного.

Если же говорить о литературных качествах или некоторых личностных особенностях, то здесь, разумеется, все индивидуально, и Терапиано в каждой своей статье дает детальную характеристику каждого писателя или поэта.

Так, например, одна статья посвящена Борису Поплавскому – может быть, самому яркому поэту того поколения, поэту трагической судьбы. Терапиано, на мой взгляд, на редкость точно характеризует творчество Поплавского. Он пишет: «...у Поплавского нет ни одного стихотворения, в котором все было бы на месте, нет, пожалуй, ни одного стихотворения без срывов... Но зато многие отдельные строфы и строчки столь поразительны и необычайны, что ради них хочется простить Поплавскому все его прегрешения, все его отступления от правил». Сюрреалистические, импрессионистские стихи Поплавского собраны в книгах «Флаги», «Снежный час», «Венок из воска».

Менее известен другой поэт – Ладинский, о котором пишет Юрий Терапиано. Но в свое время он был одним из самых любимых поэтов русской эмиграции. Ладинский был, может быть, последним неоромантиком, пишет Терапиано, характеризуя его как поэта «земли, земной жизни, с порывами ввысь». (Отметим, что один из этих «порывов» привел Антонина Ладинского к возвращенчеству, возвращению в СССР и членству в Союзе писателей. – *Ред.*)

С блеском описана Терапиано такая яркая личность Русского Зарубежья того времени, как Виктор Мамченко, постоянный участник «бесед» у Мережковских. В поэзии Мамченко сочетались метафизические вечные темы с темой «братства и верности, ответственности каждого отдельного человека за всех и за все, что совершается в мире». Отмечая точность, с которой поэт видит маленькие детали, Терапиано предлагает читателю такой образец:

...Старушка черная под черной шляпой
Сидит и спит у солнечной стены,
И ловит тень котенок мягкой лапой –
Кривую тень старушечьей спины...

И все же, отдавая дань уважения поэтам, чьи имена малоизвестны в России, хочется остановиться на эссе Терапиано об Алексее Ремизове. Главное в Ремизове Терапиано видит не в сложной словесной ткани его произведений, а в их внутренней духовной стороне. Считая Ремизова одним из самых глубоких русских писателей, близким по своему «тайноведению» к Гоголю, Терапиано отмечает и такие качества Ремизова, которые делают его близким к другому духовидцу русской литературы, к Достоевскому. Он пишет:

«Во всех своих произведениях Ремизов верен своей постоянной теме о сложности и противоречивости сосуществующей в человеке двойственности – свете и тьмы, склонности к добру и злу...»

Эта органическая связь Ремизова со своими духовными предшественниками и с фольклором, и магичность, сказочность его собственной прозы – на мой взгляд, две стороны одной и той же медали. Это отмечает и Терапиано.

Другой прозаик, о котором подробно пишет Терапиано, – Иван Бунин. Юрий Терапиано много и веско говорит о коротких рассказах Бунина, в которых он видит концентрацию и зоркость, присущую, может быть, только старой китайской и японской поэзии. Отметим только, что этот принцип концентрации, когда в маленьком рассказе можно выразить больше, чем в ином крупном романе, ввел в русскую литературу Чехов, и в этом отношении Бунин – достойный продолжатель чеховской традиции.

Терапиано заключает, что «Бунин таил про себя тот секрет настоящего искусства, который обычно ускользает от всех анализов и теоретических построений, но открывается в момент творческого интуитивного созерцания».

Вместе с тем Терапиано причисляет Бунина к тем эмигрантским писателям, жизнь которых за рубежом сложилась удачно. Пожалуй, лучше всего было бы знать на этот счет мнение самого Бунина, но, увы, на эту тему не принято было высказываться...

Статья о Борисе Зайцеве – еще один вклад Терапиано в зарубежную литературную критику. Терапиано отмечает такие произведения Зайцева, как «Преподобный Сергей Радонежский», «Алексей Божий человек», «Валаам», посвященные православной религиозности, что чрезвычайно характерно для мироощущения Зайцева...

В итоге книга эта, составленная из разных статей Юрия Терапиано, вмещает в себя, казалось бы, несовместимое: Терапиано обозревает в ней слишком разных людей и слишком разные эпохи. Это и не удивительно. Юрий Терапиано прошел долгий и необычный жизненный путь. Он был поэтом и мистиком, литературным критиком и автором статей по оккультизму. В своем послесловии профессор Герра пишет: «Терапиано всегда поражал меня своей всесторонней культурой, исключительной эрудицией, увлечением литературой, в частности поэзией». Хочется заключить эту статью строками поэта Юрия Терапиано:

Бесстрастную повесть изгнания,
Быть может, напишут потом...

Юрий Мамлеев

НИЧЬИ БАБУШКИ НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ

Есть тайная доктрина, и кто ее поймет, станет сочинителем: дело в том, что вымысел главнее, чем жизнь.

Заручившись поддержкой вымысла, Татьяна Толстая начала писать крепкие рассказы, полные выдумки, с очень богатым словарем. Находки и неожиданности цветут на каждой странице сборника из тринадцати рассказов, опубликованного не так давно в московском издательстве «Молодая гвардия».

Татьяна Никитична Толстая – внучка Алексея Толстого (дочь того самого Никиты из «Детства Никиты»). Сама же она

Татьяна Толстая. На золотом крыльце сидели. Сборник рассказов. Москва, изд-во «Молодая гвардия», 1987.

соотносима с так называемой школой «магического реализма», у нее есть предшественники, из ленинградцев шестидесятых годов, – так называемых «горожан».

Тем не менее, случай Татьяны Толстой – особый, и в настоящее, перестроечное, время она, кажется, вызывает у критиков в Советском Союзе восхищение весьма осторожное. Ведь она не протестует, не борется за справедливость; у нее в рассказах вообще можно заплутаться во времени: и ситуации, и герои Татьяны Толстой могли бы преспокойно жить в любой эпохе. Ее пейзажи, натюрморты также не имеют почти никогда временных примет:

«Вероника Викентьевна, – говорится в ее рассказе «На золотом крыльце сидели», по которому и озаглавлен сборник, – белая огромная красавица, взвешивала клубнику – на варенье себе, на продажу соседям. Пышная, золотая, яблочная красота! Белые куры бродят у ее тяжелых ног, индюки высунули из кустов непристойные лица, красно-зеленый петух скосил голову, смотрит на нас, вам что, девочки? „Нам клубники“. Пальцы прекрасной купчихи в ягодной крови».

Не правда ли, тут цветенье, сочность красок – вне времени? И однако, время и есть главная героиня Т. Толстой. Она одаряет вниманием старость: старых женщин, старые письма, старые пластинки, забытые чувства. Все вместе напоминает картины московского художника Бориса Свешникова: пронизанные радужным мерцанием городские дома, а в домах – сумерки; там у круглых столов сидят праздные женщины в черном: девушки-старухи. Ждут – или вспоминают? Их забыла жизнь. Их забыла смерть.

Героиня Толстой – в новом свете поданная «ничья бабушка» (из Ильфа и Петрова), которой в жизни отведена всего лишь роль на выходах. Но вот автор милосердно высветляет на сцене именно их, городских старух, «из бывших» – как это происходит в рассказе «Милая Шура». Описание – в соответствии с законами скорее сонетной формы, нежели прозы:

(Теза – начало.) «В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем». (Далее – развитие темы, антитеза.) «Чулки спущены, ноги – подворотней; черный костюмчик засален и потерт». (За этим – неожиданный праздник-кульминация.) «Зато шляпа! Четыре времени года – булденежи, ландыши, черешня, барбарис» (Далее – антитеза кульминации, в той же

фразе.) «свились на золотом соломенном блюде, припиленном к остаткам волос вот такущей булавкой». (И кода, грустная, как сама смерть.) «Черешни немного оторвались и постукивают».

Сочинитель знает: слово имеет силу. Словом можно разрушить мост, построить картонную всамделишную страну. В той стране все, что блестит, то и золото, и блестит абсолютно все. Всюду чудится клад, заповедный секрет – как в той даче, по соседству, из рассказа «На золотом крыльце...», где чужая жизнь оттого так волшебна, что в нее невозможно проникнуть без заповедного слова, и без этого слова все пойдет прахом! – «Витые ложечки, витые ножки у вазочек. В оранжевой тени абажура смеется легкомысленная Маргарита. (...) Водопад бархата, ливень фарфора, золотые столбы рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок...» В финале рушится, идет прахом сказочный терем; но во времени так и остаются нетронутыми: смех хозяев, любовь, жизнь – таково уж свойство описательного таланта у автора всех этих нарисованных чудес.

Есть у Т. Толстой и ирония, от стыка самих слов, от неожиданных сочетаний смыслов, в неожиданно остро прочерченном штрихе. А вот, в рассказе «Факир»: два мира. Один – в жуткой квартире возле Окружной, где автор поместил на стене в прихожей слащавую фотографию из «Огонька», где на лыжне молодая пара, он греет ее руки; подпись: «Озябла?» Из блочного дома стремится к Лукоморью, к празднику жизни молодая чета. От серых стен, серой жизни летят они на огонек, в центр, в высотное здание. А там, в чертоге – великий маг и волшебник, поедающий тарталетки, «факир» – хозяин квартиры. Томясь по центру жизни, желая приблизиться к нему, – затевает молодая пара чудовищный обмен, который рушится, как Атлантида. Но и божество тоже повергнуто в прах. О ужас, «факир» в чудесном доме всего лишь насельник, сам же прописан – мерзавец-обманщик! – в городе-спутнике! И рассыпается красивенькая жизнь, и разбегаются от тыквы серые мыши. И злорадствуют обманутые, ненавидя. А все же – было это: и тарталетки, и рассказы-сказки, и бархатная портьера – что из того, что их выдумал факир-неудачник.

Можно понять, что настораживает в отношении писательницы советскую критику: в цветистости описаний Татьяны Толстой скрыта жестокость. Сказочные ее чертоги, впустив

детей, делают их взрослыми, старыми, они зачаровывают недобрым колдовством. Жестокость – цепочка мерцающих фраз, цветных стеклышек калейдоскопа:

«В душных зарослях красной персидской сирени кошка портит воробьев. Одного такого воробья мы нашли. Кто-то содрал скальп с его игрушечной головы. Голый хрупкий череп – как крыжовина...»

Нет безмятежности в этом мире детства. Нет тут и видимых примет хрестоматийного гуманизма. Зато гуманность – есть.

В этих рассказах весьма сложная игра, спутано милосердие и беспощадность, спутаны линии судьбы вымышленной и настоящей. Непонятно, когда добро переходит в зло, а где зло кончается добром. Вот история: запыленной золушке, старой деве компания шутников десятилетиями пишет от лица невидимого возлюбленного, который может открыть свои чувства лишь в письмах – по таинственной причине (быть может, от робости). Авторы писем живут в мире, где смерть, болезни, горе. А жертва злой шутки – победительница, и пламенно завидуют ей мучители, невольно сыгравшие роль доброй феи.

Читая этот сборник, ты заточен в плен красоты. Она возникает откуда угодно: из радуги на мушином крыле в прошлогодней паутине; из жестянки от ландрина (на бархатной ржавчине крышки – чудом уцелевший женский профиль небесной красоты). Автор в восторге от существования даже зависти, ущербности, неверия в удачу – чувств-уродов. А уж что до любви! – уйти бы от серости, перегрызть бы цепь! Вот частичка рассказа с набоковским названием «Круг». «Они сидели с Изольдой, взявшись за руки, и он широко распахивал перед ней двери своей душевной сокровищницы (...) Скоро Василий Михайлович выложил все, что у него было...»

Стремление в неведомое пусть даже бедной души – разве это не чудо? – и пусть мораль у Татьяны Толстой звучит чуть не издевкой, но всё это для того, чтобы утешить своих героев чуть не торжеством: радуйтесь, все равно, всё, что случилось с вами, уже не случится больше никогда и ни с кем! Вы – самые разьединственные, ваша беда, но и счастье в том, что все прочие такие же необыкновенные, как и вы...

Этот хоровод из тринадцати рассказов открывает первозданный мир. Там дети и старики, женщины – ведьмы и русалки, жалкие и нарядные побирушки. На золотом крыльце

Татьяны Толстой – каждый и вправду всё вместе: он – царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Этот мир напитан сладким ядом, полон ночным шумом веток, колеблющихся в темной воде. Там ребенок слушает пение птицы Сирина («Свиданье с птицей» – свиданье ребенка со смертью). Всё написано такими жаркими красками, что щедрость тонов кажется едва ли не перенасыщенностью, едва ли не утомляет. Мир Т. Толстой полон грусти – той, которая пока что не очень-то прививается в литературе сегодняшней России – чеховской, дачно-городской грусти!

Татьяна Толстая с видимым наслаждением борется с материалом – до победного конца. Своих героев, которым она сострадает, каковы бы они ни были (еще одна черта именно российской литературы), – она предъясняет читателю прекрасными, убеждая в необходимости их ненужности. В этом и заключается одно из счастливых качеств Татьяны Толстой – и как человека, и как сочинителя.

Раиса Шишкова

И. ЗЕМЦОВ, Д. ФЕРРАР. «ГОРБАЧЕВ: ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА. 70 ЛЕТ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ»

Книга И. Земцова и Д. Феррара трудно поддается всеохватывающему и глубокому анализу. Одна из главных причин этой трудности – широкий охват проблем.

Авторы книги задались целью показать личность Горбачева и в то же время дать анализ советской системы, как в ее настоящем состоянии, так и в двух других, самих по себе сложных, направлениях. А именно – их интересует как ретроспективный взгляд на систему, недавно справившую свое 70-летие, так и возможность перспективы ее дальнейшего развития, именно в то время, когда она находится в самом неопределенном состоянии, в ходе перемен, социальная природа которых, да и будущее их не ясны не только аналитикам и наблюдателям, но и самим дирижерам и исполнителям данных изменений.

Я не берусь скрупулезно проанализировать всю книгу. Свою задачу я ограничиваю достаточно узкими рамками. Видимо, будущему читателю хотелось бы знать общее впе-

чатление о книге? Мне же, автору рецензии, интересно остановиться на ряде идей, которые, на мой взгляд, представляются не только плодотворными, но и идеями, заставляющими задумываться над историей и судьбами Советского Союза. Думать, соглашаться и спорить, или, что самое важное для книг данного жанра, – получить определенный толчок для осмысливания того, что совершается на наших глазах, но что еще не приобрело устойчивости и будоражит наши желания, надежды, опасения.

Общее впечатление от книги положительное. Главное достоинство авторов – фундаментальность материала. Книга снабжена «Приложениями» и «Библиографией», что очень важно для исследований подобного рода.

Фундаментальность материала, безусловно, связана не только с наличием приличного научного аппарата, но в основном с тем, что работа, наряду с анализом проблем, дает достаточно широкую информацию политического, экономического, социального и культурного плана. Авторы хорошо используют собранный ими по многим вопросам обширный материал.

Заслуга авторов и в том, что тема, которой посвящено исследование, крайне актуальна. Более того, испытываешь некоторое удивление, читая работу, – насколько быстро собран и обработан материал.

Конечно, как в любой работе столь широкого плана, различные ее части не равноценны по глубине, оригинальности и охвату анализа.

Личность Горбачева, особенно в первой части, обрисована фрагментарно-логически. В догорбачевский период – это один человек – осторожный, хитрый, безынициативный, всего-навсего хороший исполнитель. Горбачев в горбачевский период – это совсем другое лицо – прагматик, активный, с бездной инициативы, самостоятельный, жесткий, способный руководитель. Авторы как бы хотят удивить читателя столь разительными переменами, хотя, по сути, удивляться не приходится. В той системе, в которой воспитан Горбачев и в которой он вынужден был делать свою карьеру, ничего иного невозможно и ожидать. Меня лично эта часть книги привлекла меньше всего.

В первую, хрущевскую «оттепель» тоже складывался личностно-авторитарный режим, но судьба его оказалась печаль-

ной. И мне представляется, что главной причиной неудачи явилась узость социальной базы, на которую опирался Хрущев. И. Земцов и Д. Феррар удачно отмечают, что хрущевские начинания были направлены на субъект тоталитаризма, т. е. на критику культа Сталина и тех тяжких последствий, которые за этим стояли.

В отличие от Хрущева, горбачевский авторитаризм направлен на объект тоталитаризма, т. е. саму систему. Вне сомнения, различие здесь огромное. Но вот очень интересно авторы отмечают противоречие между замыслом Горбачева и его проявлениями, между мотивами и результатами его деятельности. Они считают, что субъективно он желает починить систему, объективно же он ее расшатывает. Такой подход имеет право на осмысливание, как любая здравая мысль. Но, мне представляется, что у самих авторов здесь имеются некоторые противоречия.

В книге много материала, дающего пищу для размышлений над кадровой политикой Горбачева. Новый руководитель делает всё, чтобы укрепить свою власть, убирает соперников, ставит сторонников. Авторы утверждают, что Горбачев в кадровой политике не лишен и деловых соображений. Однако случай Ельцина заставляет о многом задуматься. Быть свободным от других часто бывает неизмеримо легче, нежели быть независимым от себя самого, от пут своего воспитания и своего самосознания.

Много внимания уделяется вопросам экономики. Экономика – самое слабое звено, но в то же время именно то, за которое надо браться в первую очередь. На странице 53 читаем: «Так что не случайно объектом внимания Горбачева стала экономика. По существу, даже его внешнеполитические и социальные реформы явились и являются средством воздействия на экономику». Приводятся подробно мероприятия, проекты, программы, положения, постановления и декларации, которые уже за 2 года были приняты в этой области, содержится интересный фактологический материал. Что касается выводов, их делать еще рано и трудно. У авторов не обнаруживается четко выраженного настроения ни в сторону пессимизма, ни в противоположную сторону. Они все же склонны, при некоторых оговорках, считать: «...что политическая биография Горбачева, и то, что он сделал до сих пор, и сама природа советской политической системы – все это свиде-

тельствует, что никаких серьезных изменений системы Горбачев не планирует, и всё, к чему он стремится, – это некоторое повышение продуктивности существующей машины. Столь же ясно, что даже эту локальную задачу Горбачеву вряд ли удастся решить в рамках привычных методов. Вопрос, следовательно, сводится к тому, решится ли он вступить в конфликт с партийной и государственной элитой, предложив политику радикальных реформ, или останется простым наблюдателем того, как СССР будет неумолимо скатываться вниз, до уровня третьеразрядного государства».

В 6-й главе («Внешнеполитические этюды: между Америкой и Западной Европой») авторы дают богатый и подробный анализ внешнеполитических взаимоотношений, инициатив, предложений, которые проводились Горбачевым после прихода его к власти. На основе этого анализа они делают ряд интересных замечаний и выводов.

Прежде всего, дома, как считают Горбачев и его коллеги, «...надо было попытаться гальванизировать разваливающуюся экономику, на международной арене – всячески избегать опасного соперничества с США. ...С учетом этих соображений международная политика Горбачева сфокусировалась на американско-советских отношениях. Практически любые действия СССР в последние 2 года направлены на достижение разрядки. При этом советское руководство демонстрирует непривычную для себя гибкость и готовность к довольно широким компромиссам».

Авторы стараются представить читателю разные мнения, различные общественные силы по вопросам разоружения, СОИ, другим проблемам международных связей и отношений. Подчеркивается особое значение контактов с Западной Европой, при этом проявления гибкости, готовность к компромиссам. Эти два фактора, безусловно, относительная «новинка» в ходе ведения международных дел со стороны Советского Союза.

В 7-й главе отмечается, что в первый год правления Горбачева его политика в области разоружения выражалась главным образом в усилении пропагандистской кампании. Публичные заявления всегда более привлекательны, чем те конкретные детали предложений, которые выясняются за столом переговоров.

Характеризуя внешнеполитические предложения, демарши, связанные с завоеванием нового детанта или хотя бы селективного детанта в Европе, авторы книги стремятся подойти к оценке явлений достаточно объективно.

Помню, как пестрели афиши в Европе, когда к власти пришел Андропов, – кто он, голубь или ястреб? Такой подход к оценке политического деятеля несерьезен и бьет лишь на сенсацию.

Достаточное место в работе отведено встрече Рейгана с Горбачевым в Рейкьявике.

Книга содержит информацию, дающую возможность судить об отношениях СССР со своими восточноевропейскими сателлитами, об отношениях с Китаем и Третьим миром.

Несмотря на то, что вся книга, по сути, касается в той или иной степени вопросов вооружения страны и проблем разоружения мира в разных регионах, авторы специально выделяют главу: «Советские вооруженные силы». Эта глава позволяет лучше понять место советской державы в мире, как и почему она удерживает это место, сохраняет роль первостепенной державы. Становится ясной зависимость решения вопросов вооруженных сил и других, в частности, те огромные сложности, которые страна испытывает в области экономики. Историей с посадкой на Красной площади самолета Матиасом Рустом авторы объясняют открывшуюся возможность для Горбачева провести серьезную чистку в армии. Они пишут: «При этом организованная и проведенная им чистка в Министерстве обороны по своему размаху и публичности не имела precedентов с 37-38 годов».

Обращается внимание и на то, что в СССР военная доктрина не просто аморфный комплекс меняющихся идей, а выражение официальной государственной политики, она содержит как политический, так и военно-технический компоненты. Поэтому, освещая те или иные вопросы политики, необходимо эту доктрину учитывать.

Две последние главы посвящены вновь характеристике личности Горбачева и прогнозам на будущее. Здесь авторы замечают, что сквозная тема их книги – это власть. «В поразительно короткий срок (на протяжении всего лишь года), – пишется в книге, – Михаил Горбачев и его соратники продвинулись гораздо дальше, чем любые их предшественники, в утверждении своих позиций в партии и стране. В ходе этого

процесса Горбачев продемонстрировал свой собственный, весьма динамичный стиль и ясное сознание цели. Все это обещает положить конец длительному периоду застоя и безликого руководства». Оценка довольно позитивная, хотя в ряде мест своего исследования авторы не устают подчеркивать, что речь идет не о личных качествах Горбачева, а о социальной необходимости в переменах, которые обусловлены в настоящее время самой советской системой.

Картина будущего развития СССР представляется в книге довольно-таки в темных тонах и туманных предсказаниях.

На странице 284 авторы прямо заявляют, что Горбачев преследует две взаимоисключающие цели. Первая – сохранить существующую структуру внутри страны, а во внешней политике – систему силы, основанную на принципе «кто кого». Вторая цель – придать динамизм окостеневшей, пришедшей в упадок социально-экономической системе, близкой к пределу своих возможностей.

И. Земцов и Д. Феррар считают, что в скором времени перед Горбачевым встанет необходимость выбора – сохранить систему и погубить страну или пойти на кардинальные изменения, затрагивающие и саму систему, и тогда трудно предположить результаты перестройки, они могут стать более радикальными, чем цели, которые преследует Горбачев.

Т. С.

ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Говорит Екклезиаст: «Всему свое время». И мы скажем: время останавливать время, и время перелистывать альбом. «Грузинский альбом» Андрея Битова, изданный в тбилисском издательстве «Мерани» в 1985 году, составлялся долго. Туда вошли написанные десять, а то и двадцать лет назад статьи, рассказы, эссе. На обложке – фотография: старая грузинка в шапочке и фате возле одетой по-европейски молодой женщины, из следующего поколения – в патриархальном роду, который, скорее всего, живет из поколения в поколе-

Андрей Битов. Грузинский альбом. Тбилиси, «Мерани», 1985.

ние в старом доме, ячейке вечного города, сетью окутавшего гору:

«За углом этот город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом. Он напоминает один, разросшийся этажами, флигельками, надстройками и галереями дом, как каждый его дом по-своему – город. Каждая веточка его неокончена в том же смысле, как и живая ветвь, которая имеет почку, которая растет». Это отрывок из описания Тбилиси, города, как бы воплотившего для Битова сам процесс творчества, в его непрерывном росте, как некую форму органической жизни.

Проза Битова – необычайно зрима. Точность, свежесть, порой ирония – услада для знатока, любителя неторопливого чтения, смакующего все те литературно-живописные наброски, из которых и составлен «Грузинский альбом».

«Отчего – „грузинский“?» – вероятно, хочет спросить читатель, отчасти стесняясь того, что его сочтут непонятливым.

«В Грузии я писал о России, в России – о Грузии, – говорит писатель. – Империя путешественника – другая планета... Разное солнце освещает метрополию и провинцию. Двойное солнце слепило меня и оттуда, и отсюда. Я отбрасывал две тени». Объяснение ли это?

В этой книге эссе – Грузия и не Грузия: подмосковный или подленинградский пейзаж – обрывается пропастью у ног горного монастыря...

Пожалуй, можно принять за данность загадку названия: как у Бориса Виана, Пруста. Последний приходит в голову – также по загадочной аналогии, когда в конце книги обнаруживаешь девочку в дореволюционных воланчиках, с волосами по плечам – детское фото матери писателя – что она тут делает, в этой книге о Грузии? От всего этого – странный сквознячок забытья.

На чем зиждется норма для писателя Битова – с радостью отмечаем, одного из самых масштабных и интеллектуальных сегодня в российской словесности?

«Слово „норма“ произнесено, – полуотвечает писатель. – Я обопрусь на него, чтобы сказать о норме. О той прекрасной, долгожданной, как вода и воздух. Раз уж их не хватает – воздуха и воды».

Чему не хватает? Может быть, литературе? Слову?

Для автора Грузия – синоним нормы, синоним благородства формы и содержания. И вот – рассказы в книге, словно фотографии в бабушкином альбоме, наощупь толстым, бархатным, темно-красным с металлическими застёжками. Впечатления скапливаются там естественным путем, постепенно. Проживаемое, жизнь поколений стекает с постоянством пещерной капли – той, что камень не точит, но возвращает сталагмит...

«Мы обошли дерево и... О Боже! Мы о к а з а л и с ь. Другого глагола опять не найду. Но ничего сверхъестественного. Мы оказались там же, где уже прожили всю жизнь, где именно и никто из нас и не жил. Мы оказались в том мире, где мы живем. Но он весь, весь был помещен к нам во взгляд, словно мы только что в этот мир прибыли, как с неба упали. Прилетели, были изгнаны... Как будто это только что нас за руку привели, сказали: „Плодитесь, размножайтесь“».

Читателю вот уже не один десяток лет знакомо творчество Битова.

Но сейчас его проза стала уже почти классикой. Все это как-то враз, почти без перехода – так взлетают во сне, над ступеньками лестницы, обгоняя кабину лифта. Но – это так только кажется. Просто уж очень юношесственным, невзирая на зрелость мастерства, выглядит то, что пишет этот мастер, наделенный на диво инфантильным восприятием жизни – как бы невесомо-первозданным. Читатель на самом деле получил рассказы-зарисовки, написанные много лет назад, – как и только что вернувшийся «домой» «Пушкинский дом» – главный роман Андрея Битова.

Эти дорожные открытки с жизненного пути, тем не менее, не устарели, ибо тут мгновенность впечатления уживается со стремлением работать «на века». Да и такая уж особенность битовского творчества в целом: тут память, что называется, домашняя, составленная из частиц частного бытия, смыкается с памятью рассудка, с памятью чисто художественного восприятия. И именно Грузию автор счел наиболее подходящей для завязи в единое целое чувства, разума и эстетического восприятия. К Грузии автор прививает читателю неустанно свою любовь. Ведь эта маленькая страна с большой историей очаровала автора своей щедростью во всем: в природе, искусстве, дружестве.

...Перелистаем «Грузинский альбом». Грузия – видимая в упор – но и сквозь искусство, сквозь фильмы Отара Иоселиани, которого автор считает себе особенно близким по духу и по творческим приемам. Вот на экране зрения – темные, летом прохладные комнаты из фильма «Певчий дрозд». Резные буфеты, девушки и старухи, и жизнь улицы, угадывающаяся в отдаленье. Заглушенная музыка оттуда, где льется вино, а речь течет и клеочет, словно в орлянике. Поют в терцию, предпочитают втору. Ритуальное застолье, чад от бараньего жира, каплями стекающего на уголья. Булькает вино.

В отличие от книги, альбом имеешь право раскрыть там, где хранятся особенно любимые лица. В «Грузинском альбоме» – не только Грузия. Здесь и Ленинград, и провинция. Тут рабочий из какой-то котельной – рядом с прелестным акварельным рассказом о прогулке с дочерью. Тут и детское всепрощение вероломства, и любовь пополам с угрызениями совести, которые всегда любовь портят, – и неизбежной скуки любимого, который даже не может сказать, что не давал права любить себя – ибо любит дочь, любовью, положенной от судьбы.

Здесь особенно четкими, волосяными прямо штрихами – главное для писателя и его героев – чувство неловкости. То, которое их никогда не оставляет, которое для Битова развивается чуть не в целую этическую подоплеку творчества – этакое ленинградски-интеллигентское чувство. При этом уместно добавить, пожалуй, следующее:

Задачи для Битова в его писательском процессе, видимо, прежде всего – порядка этического. Но для писателя главенствующая этика – не в само собой разумеющейся внутренней свободе, но в обращении с самой мыслью, все остальное следует уже после: и этика обращения со словом, и этика обращения с героями. Так появляется совсем особая форма прозы.

Эта проза – она меняется, словно пейзаж на модной ныне картинке-игрушке (цветной песок в подкрашенной воде, между двумя стеклами, в рамке) от каждого поворота! Безостановочно меняются версии; предлагаются все новые варианты одних и тех же событий; для вариаций предлагаются все новые темы, к которым подкрадываются, то с тыла, то с флангов, то сообщая о них, то разбивая их наголову, чтобы в конце ударить целым – пулей в глаз!

Писатель неуловимо быстрым движением меняет один безукоризненно отфокусированный прибор на другой: микроскоп на телескоп. Либо линзы меняются – прибор же один. Оттого для Битова творческий процесс – сам по себе – исследование и приключение.

«Писать – это не профессия, это способ жить, причем, единственный для пишущего», – считает Андрей Битов. Он утверждает: «Подлинные художники неизбежно современны. Они неизбежно современны, потому что выразят время, себя в этом времени, и в форме ли отрицания, в форме ли побега, в форме ли мечты – но выразят именно это мгновение общей жизни, что и сделает их впоследствии неподражаемыми и неповторимыми».

Почва, на которой смогли взрасти такие рассуждения о творчестве, – безусловно, русская классическая литература, та, что порождена как Пушкиным, так и Тютчевым. И все же – при общей почве у каждого страна Искусства своя. У Битова эта страна названа «Грузия». На самом деле, в книге «Грузинский альбом» Грузия – ничто иное как метафора мастерства, первопричина которого – неустанный рост души.

У Конфуция однажды спросили, с чего бы он начал свое правление, доведись ему стать правителем. Он ответил: «Вернул бы словам их первоначальный смысл». Это считали сверхзадачей все мастера от века. Стремится к этому и Андрей Битов – своей одержимостью формой, но и темой, словом. Помноженная на писательскую добросовестность, добротность сумма делает творчество Андрея Битова особым явлением литературы: той, которую более всего влечет к норме: часам, тикающим природе в такт.

К. С.

ГЛАСНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ДЕЛУ МИРА

Обращаем внимание общественности на один новый аспект внутреннего развития в СССР, вызванный политикой гласности, осуществляемой Горбачевым. В последние годы резко усилился интерес советских людей к любой свободной литературе – не только к книгам, газетам и журналам, выходящим на русском языке за рубежом, но и к изданиям на тех иностранных языках, которыми в той или иной мере владеют советские граждане. Вся эта литература разными путями провозится или доставляется в Советский Союз, ходит по рукам, зачитывается до дыр. Огромным успехом там пользуются книги русских писателей – изгнанников – Солженицына, Максимова, Владимова, Аксенова, Некрасова, Войновича и других, которые, несмотря на гласность, советскими издательствами не печатаются. Их книги всегда пользовались исключительным спросом, нередко перепродавались за баснословные цены.

Наше общество, с момента своего основания, активно соучаствовало в этом процессе и достигало заметных результатов, о чем свидетельствуют отчеты правления. Однако, в настоящее время, в связи с психологическими сдвигами в СССР, спрос на неподцензурную литературу настолько возрос, что далеко переогнал все наши скромные возможности. Мы уже не в состоянии удовлетворять даже запросы наших старых друзей, приезжающих из страны, не говоря уже о создании новых каналов для переброски литературы. И нам приходится отказывать людям, которые обращаются к нам за книгами.

Поэтому у нас нет другого выхода как призвать на помощь общественность, всех людей доброй воли. Напоминаем, что проводимая нами работа представляет собой важный общественный интерес в мировом масштабе, ибо свободная литература, поступающая в Советский Союз, сильно ускоряет процесс превращения советского общества в общество открытое. А государствам с открытой, политически информированной общественностью невероятно трудно как планировать нападение, так и, тем более, его осуществлять. Таким образом наша деятельность способствует созданию мирового сообщества без напряженности между Востоком и Западом.

Мы просим всех людей доброй воли помочь нам как личным участием в нашей деятельности, в первую очередь со стороны тех, кто ездит в Советский Союз или общается с советскими гражданами, приезжающими за границу, так и литературой – мы готовы принимать даже слегка бракованные издания и «модерный антиквариат».

Но, главным образом, мы нуждаемся в денежных средствах для закупки заказанных нам советскими людьми книг и оплаты расходов наших добровольных помощников. Спрос на книги и другие издания теперь в Советском Союзе настолько велик, что этой нашей деятельности не видно конца.

**Verein zur Förderung der unabhängigen Kultur in der UdSSR e. V.
Postfach 111923 · 6000 Frankfurt am Main 11 · Tel.: (06171) 7 35 71
Frankfurt am Main, Dresdner Bank, BLZ 500 800 00, Konto-Nr.
2132187**

Коротко о книгах

Эли ВИЗЕЛЬ

ЗАВЕТ

США, «Эрмитаж», 1988

Об авторе этой книги вряд ли стоит сильно распространяться. Эли Визель известен во всем мире как выдающийся моралист и правозащитник. В 1986 году ему была присуждена Нобелевская премия мира.

И, хотя книга построена на личных воспоминаниях, это все же не только биографический роман. Это рассказ о поисках земли обетованной прежде всего в самом себе. Мальчик из традиционной еврейской семьи, внук и правнук религиозных праведников, в ранней молодости уходит из дома, чтобы, пройдя через многие тернии и соблазны, в конце концов вернуться к собственным истокам и погибнуть в чекистском подвале заново прозревшим сыном своего народа.

Роман «Завет» – не биография жизни, а биография души. Поэтому автор покоряет нас не литературными достоинствами, в этом смысле книга его весьма и весьма уязвима, но в первую очередь своей эмоциональной страстью, жадой справедливости и покоряющим стремлением, употребляя пастернаковское выражение, во всем дойти до самой сути.

Но прежде, чем вернуться, он успеет пройти по всем девяти кругам мирского ада, оставив после себя духовное завещание своему единственному сыну – Григорию, с которым тот и ступит впервые на реальную землю обетованную.

Основная идея, мысль, философия романа заложена, на мой взгляд, в монологе одного из персонажей – Давида Абнесия, этакое Вечного Жида в современной ипостаси, возникающего на пути героя в самые трудные моменты его жизни. (Кстати сказать, весьма схожий с этим персонаж выведен мною в романе «Карантин» теперь уже пятнадцатилетней давности. Видимо, архетип такого рода давно стучался в современную литературу.)

«Знаешь ли ты историю моего знаменитого предка Ицхака Абарбанеля? – спросил он спокойным, ровным голосом, как будто бы мы мирно сидели с ним в Доме учения. – Он занимал пост министра португальского двора в конце пятнадцатого столетия. Чтобы этот еврей-

ский философ, глубоко религиозный в придачу, был принят при католическом дворе в Лиссабоне, он должен был быть поистине великим, страна должна была очень нуждаться в его услугах. Но наступит время тяжких испытаний. Вынужденный выбирать между отречением от своей веры и бегством, он выбирает бегство в Испанию. Еврей, и к тому же беженец, он снова сумел достичь высокого положения и стал министром короля Фердинанда, католика. Но в 1492 году дон Ицхак Абарбанель опять оказывается перед той же дилеммой: предать свою веру и продолжать жить во славе или уехать в чужую страну, где ему позволят сохранить его веру. Он выбирает верность принципам и переезжает в Венецию, где начинает работать над своими мессианскими писаниями. Ну так вот, этот человек, сделавший так много для процветания Португалии и Испании, не снискал даже упоминания в исторических работах об этих странах. Его имя сияет только в истории одного народа, его собственного и нашего с тобой. Иными словами, если ты считаешь, что должен оставить своих братьев, чтобы спасти человечество, то не спасешь никого, даже самого себя»...

Убежден, что к этой спасительной мысли приходят сегодня наиболее чуткие и прозорливые умы еврейского народа. На протяжении всей новейшей истории его интеллектуальная элита искала спасения от проклятия вечного изгойства в стремлении к ассимиляции в других культурах или в погоне за интернациональными утопиями, которые, по ее мнению, должны были избавить еврейство от этого проклятия.

Отсюда, на мой взгляд, проистекает ее активное участие в различных радикальных и, так называемых, освободительных движениях, ее почти исступленное отречение от своих национальных корней, ее фанатическая вера в целительность всемирного братства всех рас и народов.

Но трагический опыт двадцатого века с более чем красноречивой убедительностью показал, что самые что ни на есть гуманистические теории интернационального толка не спасают еврейский народ от расистской ненависти и перманентных преследований. Русская революция, на которую он возлагал столько надежд и во имя которой столько вынес и выстрадал, обернулась для него кровью новых мучеников и новыми антисемитскими процессами.

Тот же опыт показал, что единственное спасение еврейского народа в обретении родины. Только существование своего национального дома навсегда освобождает еврея от вечного изгнания, где бы он ни жил и ни находился. Мне кажется, что вся книга Эли Визеля именно об этом.

Эли Визелю можно поставить в упрек немало погрешностей в стиле и языке, в фактах и реалиях. К примеру, понижение Литвинова в должности на одну ступень по тем временам едва ли можно рассматривать как слишком большое наказание или, выражаясь языком автора, вывод из Комиссариата по иностранным делам; во время ареста главного героя – Палтиеля Коссовера – НКВД уже несколько лет был разделен на два министерства и им занималось одно из них, а именно МГБ; в тюремной камере у него не могло оказаться никаких принадлежностей религиозного культа, это строго запрещалось по существовавшим тогда и существующим до сих пор правилам, и едва ли рядовой служащий суда мог присутствовать на внесудебной казни. Надуманным выглядит также сюжетный ход с внезапной физической немотой героя.

Но эти немногие и малосущественные погрешности никак не умаляют несомненных достоинств этой мудрой и поучительной книги.

В. М.

Thomas R. BEYER, Gottfried KRATZ, Xenia WERNER

RUSSISCHE AUTOREN UND VERLAGE IN BERLIN NACH DEM ERSTEN WELTKRIEG

Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin, 1987

Выпускник Гарвардского университета (США) Байярд Килгор в конце 20-х – начале 30-х годов собрал уникальную коллекцию русских книг, как он сам говорил, «от Ломоносова до Блока». В собрание это вошли и некоторые ранние эмигрантские издания. Позднее эта бесценная коллекция была передана Б. Килгором его alma mater. В 1959 году издательство Гарвардского университета выпустило в свет полный каталог этой коллекции, с факсимильным воспроизведением титульных листов всех книг, издательских марок, экслибрисов. Книга эта сразу же стала настоящей библиографической энциклопедией.

В начале 20-х годов Берлин, по словам Г. Струве, был «литературной столицей Зарубежья». На берегах Шпрее разместились тогда более 70-ти русских книжных издательств, одно из них, например, издательство Гржебина за шестнадцать месяцев, с мая 1922 по сентябрь 1923 гг., выпустило в свет более 270 наименований книг. В эти два блистательных года активно функционировали в Берлине и «Дом искусств», и «Клуб писателей». Как позднее утверждал Роман Гуль,

в Германии в эти годы издавалось больше русских книг, чем немецких.

К 750-летию бывшей немецкой столицы издательство «Берлин Ферлаг Арно Спитц» выпустило в свет ценную книгу трех авторов – Т. Бейера, Г. Кратца, К. Вернер – «Русский Берлин: издательства и писатели». Несмотря на целый ряд упущений, книга эта по своей значимости может быть приравнена к каталогу коллекции Килгора.

Книга «Русский Берлин...» состоит из четырех взаимосвязанных частей: первая – это статья Т. Бейера «„Дом искусств“ и „Клуб писателей“, Берлин 1921 – 1923». Вторая (и наиболее значимая) часть – «Русские издательства в Берлине после Первой мировой войны» – принадлежит Г. Кратцу. Составитель этого раздела книги проделал огромную и важную работу по сбору редчайшей библиографической информации. Тут не только приведены более 70-ти издательств, но и подробнейше освещен профиль их деятельности, количество выпущенных ими книг, даже их адреса. В специальном приложении Г. Кратц приводит полный перечень имен писателей, способствовавших расцвету русского Берлина, перечисляет «русские места» тогдашней немецкой столицы. Раздел Г. Кратца – прекрасный путеводитель по исчезнувшему навсегда русскому Берлину.

Следующий раздел книги оригинален по замыслу: в нем представлены 39 марок русских издательств. Если вспомнить, что в то время в Берлине жили и работали такие мастера русского авангарда, как Григорьев, Масютин, Альтман, Арнштам, Исцеленнов и другие, то станет понятным, какое большое познавательное значение имеет раздел «Издательские марки русского Берлина». Однако при всей ценности собранного Юргеном Пленом (неясно, почему это имя не фигурирует на обложке книги) материала, огорчает небрежность, проявленная библиографом. В коротенькой заметке, предпосланной факсимильным изображениям издательских марок, Ю. Плен оговаривает число 39 тем, что якобы у многих русских издательств вообще не было издательских марок. Подобное утверждение в корне неверно: при таком наличии в Берлине прекрасных художников издатели просто не могли себе позволить выпуск книг без соответствующих знаков. В книге, например, подробно освещена деятельность издательства «Академия». Верно указано, что руководителем художественной части был А. Арнштам, но издательская марка, выполненная художником в трех вариантах, в книге «Русский Берлин...» не воспроизведена. А ведь достаточно было открыть книгу Н. Евреинова «Театр как таковой», чтобы увидеть Парфенон – первую марку «Академии». У книгоиздательств «Литература» и «Петрополис» было по две марки, а в книге

«Русский Берлин...» воспроизведены лишь первые из двух. Кстати, ни в одном из тридцати девяти случаев не указан художник издательской марки, что, естественно, снижает ценность публикации.

Поражает отсутствие марок таких издательств, как «Отто Кирхнер и К.» и популярного издательства «Скифы». В рецензируемой книге отмечена работа берлинского издательства «Трирема». В городской библиотеке Берлина, чьи книжные фонды были использованы в работе над книгой «Русский Берлин...», есть сборник коляд А. Ремизова «Пляс Иродиады», выпущенный как раз «Триремой». Тут же приведена издательская марка, выполненная Н. Исцеленновым. Примеров небрежности Ю. Плена можно привести больше.

И последний довольно большой раздел книги – очерк о Василии Масютине-оформителе, сопровождаемый 35-ю иллюстрациями. Автор, К. Вернер, априорно утверждает, что «он (Масютин. – Э. Ш.) был единственным из своего поколения..., оказавшим влияние на русский Берлин и на немецкую читающую публику». Мне остается лишь вопрошать: а куда пропал Борис Григорьев с его «Рассеей» (по-немецки), с его «Эротикой» (по-немецки), не говоря уже об оформлении художником «Детского острова» Саши Черного? Было бы уместно, как мне кажется, отметить в статье о художнике самое большое достижение Масютина-графика, оформление им «Портрета» Гоголя, даже несмотря на то, что книга эта вышла не в Берлине, а в Штуттгарте. Почему-то ни словом не обмолвилась К. Вернер об издательских марках, созданных Масютиным, о его оригинальных экслибрисах.

К вступительной статье Т. Бейера претензия скорее этического порядка: книга «Русский Берлин...» вышла из печати в конце прошлого года. Писать же о Гуле и Бахрахе, как о все еще живых литераторах, просто бестактно.

Досадные огрехи книги «Русский Берлин: издательства и писатели» не умаляют, однако, ее большой библиографической ценности.

Э. Ш.

ЭРМИТАЖ

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. Религия и литература. (Статьи, 143 с.)
АКСЕНОВ, Василий. Право на остров. (Рассказы, 204 с.)
АЛЬТШУЛЛЕР, М., ДРЫЖАКОВА, Е. Путь отречения. (350 с.)
ВИЗЕЛЬ, Эли. Завет. (Роман Нобелевского лауреата, 280 с.)
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. Стихотворения. (160 с.)
ГИРШИН, Марк. Убийство эмигранта. (Роман, 145 с.)
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. Искупление. (Роман, 160 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Заповедник. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Зона. (Повесть, 128 с.)
ДОВЛАТОВ, Сергей. Чемодан. (Рассказы, 112 с.)
ДРУСКИН, Лев. У неба на виду. (Избранные стихи, 230 с.)
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. Мастера. (Сборник интервью, 120 с., илл.)
ЕЛАГИН, Иван. Тяжелые звезды. (Избранные стихи, 360 с.)
ЕРЁМИН, Михаил. Стихотворения. (Сост. Л. Лосев, 160 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Архивы Страшного суда. (Роман, 320 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Как одна плоть. (Роман, 120 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев. (340 с.)
ЕФИМОВ, Игорь. Практическая метафизика. (Философия, 340 с.)
ЖЕМЧУЖНАЯ, Зинаида. Пути изгнания. (Мемуары, 288 с., илл.)
ЖОЛТОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. Мир автора и структура текста.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? (Статьи, составитель Ю. Фельштинский, 190 с.)
ЗАЙЧИК, Марк. Феномен. (Рассказы, 184 с.)
ЗЕРНОВА, Руфь. Женские рассказы. (160 с.)
ИВАНОВ, Георгий. Третий Рим. (Избранная проза, 380 с.)
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ. (352 с.)
КОРОТЮКОВ, А. Нелегко быть русским шпионом. (Роман, 140 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Закрытый распределитель. (Очерки, 190 с.)
ЛОСЕВ, Лев. Чудесный десант. (Стихи, 150 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Маленькая Тереза. (Жизнеописание, 204 с.)
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль.
ПОПОВСКИЙ, Марк. Дело академика Вавилова. (280 с., 20 илл.)
ПОЭТИКА БРОДСКОГО (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Сказка о трех головах. (Русск. и англ., 128 с.)
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. Стихи. (На русск., англ., франц., 140 с.)
РЖЕВСКИЙ, Леонид. Вездопад. (Повести, 270 с.)
РОЗИНЕР, Феликс. Весенние мужские игры. (Пов., расск., 208 с.)
РЫСКИН, Григорий. Осень на Виндзорской дороге. (2 повести, 200 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прорыв. (Роман об эмиграции 1970-х, 560 с.)
СВИРСКИЙ, Григорий. Прощание с Россией. (Повесть, илл., 140 с.)
СУСЛОВ, Илья. Мои автографы. (Рассказы, 200 с., илл.)
СУСЛОВ, Илья. Рассказы о т. Сталине и других товарищах. (140 с.)
ТЕЛЕСИН, Юлиус. 1001 советский политический анекдот. (180 с.)
ТИМОФЕЕВ, Лев. Последняя надежда выжить. (Очерки, 200 с.)
ТРОЦКИЙ, Лев. Дневники и письма. (Составитель Ю. Фельштинский)
ЧЕРТОК, Семен. Последняя любовь Маяковского. (128 с., илл.)
ШТЕРН, Людмила. Под знаком четырех. (Повести, 200 с.)
ШТУРМАН, Дора. Земля за холмом. (Статьи, 256 с.)
ШУЛЬМАН, Соломон. Инопланетяне над Россией. (208 с., илл.)

Заказы отправлять по адресу: Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly, N. J. 07670, USA

При покупке 3-х и более книг – скидка 20%.

По страницам журналов

А «СТАРИКАМ» ПЕРЕСТРОЙКА ЛИШЬ ТОЛЬКО СНИТСЯ!

«Вопросы философии», 1987, № 12

Не сердитесь, мои бывшие состуденты и коллеги: называя вас «стариками», я не говорю о вашем возрасте. Нам с вами об этом уже не очень приятно слышать. Я пишу о том, что в советской философии вы оба люди зрелые, во всех отношениях, и потому и претензии к вам высокие. Для истины (и правды тоже) стоит отметить, вы одни из самых грамотных (что не так часто встречается в философии), способных и умных людей в этой области. Более того, если уж и надо называть имена тех, кто ответствен за застой философской мысли, то без вас обоих обойтись безусловно нельзя. Конечно, это не только ваша беда.

Не помню, сколько лет, но достаточно много, Р. Косолапов был редактором журнала «Коммунист», а А. Бутенко – ведущим философом по вопросам развитого социалистического общества, причем в концепции, которая экстраполировалась на весь социалистический лагерь. Вот так-то, мои бывшие коллеги... Кому, как не вам, взяться сейчас, и не двумя, а если бы у вас их было значительно больше, то всеми вашими руками, головой, душой, умом и сердцем за перестройку.

Поэтому-то меня крайне и удивила ваша «полемика» в журнале «Вопросы философии» № 12 за 1987 г. Вместо «перестройки» вы занялись «перепалкой», да и палки-то в мусорном ящике нашли. Извините, я не собираюсь вас обижать – я лишь недоумеваю и огорчаюсь, что среди других общественных наук, в тяжелое время, философия оказывается за задворках.

Почему? Наверное, есть причины... Рутинa, которую некоторые называют большой идеологической ответственностью, все еще душит, зажимает, заставляет оглядываться. А ведь вместе с тем и подстроиться к перестройке надо...

Вы же сами пишете, что надо говорить правду, – а духу не хватает ни у того, ни у другого как раз её-то сказать. Косолапов требует от Бутенко, чтобы тот покаялся за свои прошлые догматические и апологетические грехи. И правильно требует. Ведущим деятелям

в философии без покаяния невозможно. И не надо прятаться за те «недоговорки», которые были рассчитаны на так называемого «умного» читателя, всё должного понимать. Ну, а уж Косолапову-то без покаяния и шага теперь сделать невозможно. С этого и надо начинать. С личной ответственности. Без личной ответственности перестройка в философии не получится. А без перестройки в философии трудно рассчитывать на серьезные результаты в обществоведении.

А вот вы затеяли перепалку. Косолапов от Бутенко ожидал многое – и чтобы тот сказал не только о корнях зла в обществоведении, но назвал имена, за него ответственные. Боюсь, список был бы столь огромным, что пришлось бы удешевить объем статьи Бутенко. Думаю, что и в статьях Косолапова не названы лица поименно. Бутенко назвал Косолапова, а Косолапов Бутенко. Ну, ладно, простим им мелкие «страстишки», хочется-то ведь больших страстей. А вот их в полемике и нет. Нет реальной жизни, и даже открытыми глазами взглянуть на нее хоть с какой стороны не хотят. Оба автора продолжают в каждом абзаце клясться документами съезда партии, Горбачевым и классиками. Как будто всё еще бегают в студентах и иным способом ни доказывать свои мысли, ни аргументировать свои положения не умеют. Когда со стороны это читаешь, уже смахивает на анекдот! Для таких больших дядей не солидно...

Вместе с тем в статье А. Бутенко «Теоретические проблемы совершенствования нового строя: о социально-экономической природе социализма» («Вопросы философии», 1987, № 2) есть интересные моменты. Автор совершенно справедливо – как апологетически лживую – критикует господствующую в СССР в 60-70 годах концепцию социализма, суть которой в том, что социализм рассматривался лишь как незрелая фаза коммунизма, как симбиоз недостаточно развитых элементов коммунизма и остатков, пережитков капитализма. Он даже вскрывает социальные корни этой концепции и достаточно основательно говорит о том, что эта иллюзорная концепция выражает кредо «социалистического» бюрократизма. Что ж, и логично и правдиво. Только говорится полуправда, ибо «социалистический» бюрократизм – это просто не социализм. Мне, например, импонирует мысль автора, что социализм развивается на своей собственной основе и содержит такие качественные характеристики, которые не свойственны коммунизму. Например, социализм не должен уничтожать индивидуальной инициативы в экономике, более того – он должен стремиться ее максимально развивать. При социализме возможна и, как правило, даже необходима смешанная экономика. Его экономический строй включает в себя разнообразные формы собственности – от государствен-

ной и общественной до индивидуальной. Социализм означает контроль за мерой труда и потребления, т. е. социальную справедливость, – это главное. Социализм немыслим без демократии, в том числе и в экономике, которая включает разнообразные формы самоуправления. Он несостоятелен без плюрализма, без правового государства, без соблюдения прав человека как необходимых условий развития личности. Иной взгляд на социализм не только фальшив и утопичен, но действительно приводит к застою во многих областях общественной жизни, что и было наглядно продемонстрировано историей нашей Родины.

Автор в этой части статьи лишь не усмотрел главного – того, что вышеназванная концепция на практике способствовала экономическому и народнохозяйственному развалу, тупиковому состоянию во многих областях жизни. Бутенко что-то подобное хочет сказать, но очень тихонечко, шепотком.

Однако потрясающий скачок в «небытие», т. е. в отлет от всякой реальной жизни и практики совершает автор статьи, когда он пускается в защиту иной, – с его точки зрения, правильной – концепции развитого социалистического общества. Во-первых, он умалчивает, в каких условиях и когда эта концепция возникла. А возникла она в условиях, когда большинству думающих людей в стране уже стало совершенно ясно, что нет у нас никакого социализма (вспомним хотя бы Прагу 1968 г. – последние надежды были разрушены), а не только развитого. Бутенко пытается намекнуть, что вроде бы он писал не о советском социализме, а вообще неизвестно где существующем.

Итак, надо отметить, с возникновением этой, верной, с точки зрения автора, концепции социализма, градус идеологической апологетики не упал, а поднялся, истина не прояснилась, а была всячески затуманена. Хотя подобный взгляд на вещи как бы содержал определенную «хитромудрость». «Хитрость» заключалась в том, что вроде бы неясно, но вместе с тем очевидно поправлялся «волюнтаристский утопизм и идеологическая ложь» взглядов тех людей, которые после XXII съезда партии и принятой на нем Программы исписали кучу бумаги о том, что наше общество уже приближается семимильными шагами к коммунизму и что за 20 лет будет создана его материально-техническая база (ну, и всякая другая ложь – что мы догоним и перегоним Америку и т. д. и т. п.).

«Реалисты» развитого социализма, в отличие от предыдущих «консерваторов», как пишет автор статьи, даже имеют определенные заслуги. «Можно смело утверждать, – пишет А. Бутенко, – что одним из важных теоретических завоеваний периода, связанного с концеп-

цией развитого социализма, явился вывод о социализме как строе, развивающемся на собственной основе, принципиально отличающейся от основ капитализма и нетождественной основам коммунизма».

И философы пустились, вопреки фактам и жизни, ее развитию, ее трудностям и противоречиям, кризисным явлениям, по крайней мере, в ее главных областях – в экономике, социальной практике, в культуре, в нравственности, – расписывать прелести и высокие критерии развитого социалистического общества. И неверно пишет Бутенко, что якобы это не относилось к советскому обществу, а лишь к абстрактно-теоретической модели. В том-то и дело, что относилось. Эта теория явилась абсурдной реакцией на полную и очевидную нереальность тогдашней Программы партии, принятой на XXII съезде партии, ставшей посмешищем всего народа. Программа, которая прямо нацеливала на создание материально-технической базы коммунизма, в то время, когда на полках продовольственных магазинов стояли лишь консервы для охотников, в то время, когда людей сажали в тюрьмы не только за свободное слово, но даже и за свободную мысль – высказанную всего лишь жене или мужу и двум-трем приятелям. Концепция развитого социализма появилась тогда, когда по всем швам трещало международное коммунистическое движение. Когда коммунистические партии в капиталистических странах, с раскрытым ртом смотря на КПСС, теряли своих сторонников и свое влияние на трудящиеся массы.

Поистине Бутенко совершил в своей последней части сальто-морале. И все из-за того, что очень хотелось, хотя бы задним числом, причислиться к перестройке. А вот передним числом, сегодняшним днем, видимо, то ли силенок не хватает, то ли мужества недостает, то ли еще не все шансы взвешены... Не берусь гадать – обижать не хочется, ну, а не удивляться не могу.

Вот и Косолапов в своем письме тщится представить себя как перестройщика – в маленьком письме три раза ссылается на материалы XXVII съезда партии и каждый раз затем, чтобы сказать: я, я тоже, как партия велит, перестраиваюсь. Первый раз он пишет об эволюции государственной и колхозно-кооперативной собственности в ходе общественного развития, которое приведет к единой общенародной собственности. (Хоть бы порассуждал – почему? В сегодняшних-то условиях, когда экономика все нормальные ориентиры потеряла и, если не пойти на кардинальные перемены в этой области, зашедшей в тупик, то вытянуть страну из кризиса невозможно. Больше топтаться на одном месте и лишь делать вербальные выражи смертельно опасно. Народу необходима нормальная жизнь, а не посулы будущего рая.)

Косолапов же пишет: «На этой позиции (слияния государственной и колхозно-кооперативной собственности и превращения их в общенародную. — Т. С.) я стою и сейчас. Не вижу резона ее изменять, исходя как из единственно научной, классической марксистско-ленинской методологии, так и из положений принятой XXVII съездом новой редакции Программы КПСС» (выделено мною. — Т. С.). Плакать хочется, когда читаешь такой панегирик догматизму. Поистине есть люди, которых и беда не учит.

Вот и взялись наши «ведущие философские головы» на базе перестройки сводить счета друг с другом.

Эту заметку можно было бы и не писать. Ну, дерутся люди, что тут такого нового. И, конечно, мне писать о многом, да просто обо всем, отсюда легче, чем им там.

Вот та действительная причина, что и заставила меня взяться за перо. Я хотела бы видеть перестройку в философии таким образом — что им, советским философам, и мне здесь, на Западе, одинаково легко станет не только браться за перо, но и писать всю правду, а не полуправду и не намеком. Правду освежающую, правду практическую и глубоко аналитическую. Правду, которая не уводит в теоретические дебри, пустые абстракции, не имеющие почвы в действительности, правду, которая станет менять самое жизнь в сторону развитого, современного, цивилизованного общества, покоящегося на демократии, свободе, социальной справедливости и мире. И пусть им будет писать даже легче, ибо они могут знать больше, лучше и глубже, находясь в своей собственной стране. Пусть они смогут писать, что думают, ни на кого не оглядываясь, не взвешивая — уже можно или еще нельзя. А Бутенко и Косолапову есть что сказать.

Правильно пишет Р. Косолапов: «Надо еще и преуспеть в осмыслении действительности по-новому, продвинуться заметно вперед от давно знакомых формул и подняться хотя бы на ступеньку выше, если не над коллегами и современниками, то уж, во всяком случае, над самим собой».

В данной «полемике» это верное пожелание не удалось пока еще реализовать ни тому, ни другому автору, им, видимо, перестройка лишь только снится, и то лишь в черно-белых тонах, а не в цветовой гамме, отражающей саму жизнь.

Т. Самсонова

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. ☐ на срок 6 мес. ☐

Газету прошу направлять по адресу:

Наша анкета

ЕСТЬ НА СВЕТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

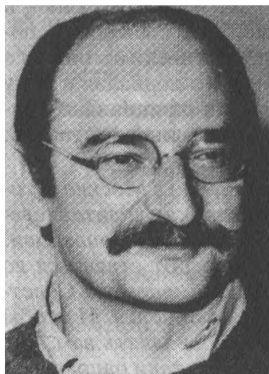
Интервью со Славомиром М р о ж е к о м

Ведет Наталья Горбаневская

– Я хотела бы начать с довольно глупого вопроса. Вы помните нашу первую встречу?

– Ну... Давно это было.

– Это было в 76-м году. Я только что приехала на Запад, и во время первой встречи с вами – а вы для меня, и не только для меня, были тогда фигурой почти легендарной – с разбегу заявила, что вы «совершенно не похожи на Мрожека».



– Что же, каждый читатель воображает себе образ писателя, которого он знает только по произведениям. Я это по себе знаю...

– А теперь, через 12 лет, я не могу себе даже припомнить, что это был за образ, и не могу представить себе иного Мрожека!

– И это понятно: действительность всегда вытесняет любой придуманный образ. Так что это меня тоже не удивляет.

– Дело, однако, в том, что если я приехала уже с готовым образом, то произошло это потому, что вы уже были хорошо известны читателям, живущим в СССР. Это началось с переводов, печатавшихся в журнале «Польша» – там были рассказы, одноактные пьесы, маленькая повесть «Побег на юг», – а году в 67-м, 68-м даже «Литгазета» публиковала иногда какие-то фрагменты, афоризмы, ставились некоторые пьесы и т. д. Так что вы были популярны не только среди таких «полонофилов», как я. Скажите, вы знали об этом? До вас доходили какие-то вести из Союза?

– Нет, не знал. Собственно, и теперь не знаю – так что все это для меня новость, и новость важная. Польское агентство по авторским правам мне ничего не сообщало об этих переводах – может, Советский Союз тогда еще не подписал Женевскую конвенцию, а может, и сама конвенция таких вещей не предусматривает, я даже не знаю... Личных контактов с людьми оттуда у меня тогда тоже не было. Уже гораздо позже я узнал, что вроде в Вильнюсе было поставлено «Танго», на литовском языке, а какой-то небольшой театр в Киеве поставил мою пьеску «Стриптиз», совсем коротенькую, на полчасика... Я уже не помню, кто мне об этом рассказывал, но кто-то, кто этот спектакль видел. Так вот, чтобы не было сомнения, против кого направлено, так сказать, острие сатиры, актеры носили на рукавах повязки со свастикой. Кроме того, мне известно, что в течение последних нескольких лет двое актеров в Москве довольно регулярно играли «Эмигрантов» – и хотя актеры были профессиональные, сам спектакль, по видимому, считался каким-то полулюбительским: они его играли не в театральных залах, а в каких-то подвалах и тому подобных помещениях. Но вот недавно их официально признали и даже отправили в Мюнхен на театральный фестиваль, чтобы там этот спектакль показать.

– Недавно до нас дошли еще известия, что в Москве готовится к постановке «Танго». Так что список, как видите, невелик, и дело тут, по-моему, вовсе не в Женевской конвенции. Все-таки ваши пьесы ставились и продолжают ставиться во всех странах мира, вы драматург с мировым именем, а в Советском Союзе ваших спектаклей – раз-два, и обчелся. И чтобы понять, почему так происходит, я хотела бы задать вам, что называется, вопрос в лоб: против чего же все-таки направлено в вашем творчестве пресловутое «острие сатиры»? Как бы вы сами это сформулировали?

– Да никак. Если я что-то писал, то вовсе не для того, чтобы направлять куда-то это самое «острие сатиры», а чтобы просто написать пьесу. Иначе я был бы публицистом, а мне все-таки хотелось бы считать себя писателем. А почему я написал ту или иную пьесу – это зависело от целого ряда обстоятельств, условий, в которых я в то время находился. Что же касается острия сатиры... Знаете, я пишу пьесы уже 30 лет, а за это время могут произойти самые невероятные вещи, которые иногда, как может показаться, исключают друг друга.

Например, первый мой сборник рассказов, который заметила критика, назывался «Слон». Он был издан в Польше еще в 1953 году, и тогда мало кто сомневался, что эти маленькие рассказы имеют, в общем, довольно прямое отношение к тем условиям, в которых мы жили в начале 50-х годов. Но вот гораздо позже, лет 20 спустя, я случайно узнал, что некоторые из этих рассказов были переведены в коммунистическом Вьетнаме и изданы в качестве сатиры... на порядки в Южном Вьетнаме. Так что мои произведения, оказывается, вполне могут различно интерпретироваться в зависимости от геополитического, исторического и прочих контекстов. Или еще другой, более выразительный пример. В моей первой пьесе «Полиция» я попытался раскрыть полицейско-политический механизм функционирования тоталитарного государства. И что же? За последние 30 лет ее ставили в самых различных странах, в условиях самых различных режимов – и я не думаю, что из чисто академических соображений. Значит, и режиссеры, и зрители находили в ней нечто, непосредственно связанное с конкретной, местной ситуацией.

– Выходит, в зависимости от местных обстоятельств любая ваша пьеса может оказаться злободневной сатирой?

– И не только моя – вообще любая! Все здесь зависит от публики, от зрителя, от его эмоционального накала, от того, на что именно в данный момент люди реагируют особенно остро. Скажем, в 1956 году в Кракове режиссер Тадеуш Кантор поставил «Гамлета». Следует учесть, что Кантор – это адепт «чистого искусства», считающий, что он делает вещи вневременные, общечеловеческие и т. д. Так вот, в то время в Польше была такая внутривполитическая ситуация, страсти были так накалены, что зрители видели в разворачивающемся на сцене действии прямую аналогию конкретной, текущей ситуации в канун «польского октября». Король, королева, принц – все это было лишь поводом для того, чтобы выразить свои чувства в тот момент. Публика может сделать с пьесой все что угодно – все зависит исключительно от ее эмоциональной настроенности.

– Но существуют же вещи с вполне определенной сатирической направленностью, с конкретным, так сказать, адресом! Например, ваша книга «Доносы», написанная вскоре после введения в Польше военного положения. И нельзя ска-

зять, что в этой книге автор выступает как публицист – вы остаетесь писателем!

– Я бы сказал, что это иной род писательства. До этого мы говорили о пьесах, о рассказах – а здесь... Это, пожалуй, вовсе даже и не искусство, и лучшее тому доказательство – то, что книжка эта сегодня уже для большинства читателей неинтересна или даже просто непонятна. И не только здесь, на Западе – даже в самой Польше. Стерлись из памяти многие события, ослаб интерес к ним – ослаб или вовсе исчез и контакт читателя с книгой. В этом – опасность злободневности.

– Но вот такая ваша книга, как «Поборник прогресса», написанная в начале 60-х годов, до сих пор остается популярной, несмотря на свою злободневность?

– Разница здесь в том, что «Поборник прогресса» весь сделан на принципах абсурдного юмора, поэтики абсурда. Абсурд – это такой механизм (я бы сказал – механизм чисто логический), который действует всегда и постоянно. Там были сплошные намеки, аллюзии – а «Доносы» написаны, так сказать, напрямую... И потому «Доносы» устарели, а «Поборник прогресса», как вы утверждаете, читатели помнят до сих пор. Не говоря уже о том, что люди вообще лучше помнят то, что связано с их молодостью, – и поэтому мои вещи лучше сохранились в памяти моих ровесников...

– Тем не менее, в Польше продолжают ставиться ваши пьесы, публикуются и прозаические произведения – и потому я хотела бы спросить: как вы ощущаете свою связь с сегодняшним польским читателем или зрителем?

– Как ощущаю? Как нечто абсолютно естественное. Я остаюсь поляком, меня полностью сформировала польская культура, традиции, окружение – все это для меня свое, кровное. Разумеется, и здесь существуют определенные пределы – хотя бы потому, что я уже 25 лет живу за границей, в эмиграции. Я, например, понятия не имею, что собой представляют мои сегодняшние зрители в Польше, не знаю, чего они хотят или ждут от меня. Я не умею нравиться на заказ, угождать вкусам публики. Когда-то я это умел и знал, какого рода юмор будет смешить моих зрителей, какой они предпочитают стиль и т. д. Всего этого больше нет. Во Франции я считаюсь польским, то есть иностранным, драматургом, мои пьесы ставятся в самых различных странах мира – так что я уже и сам не знаю, для зрителей какой национальности я их пишу, не говоря уже

о социальном слое. Так что, с одной стороны, связь с польской публикой у меня очень глубокая – можно сказать, биологическая – а с другой стороны, эта связь за 25 лет жизни вне Польши прервалась в том смысле, что я уже не в состоянии написать что-либо, непосредственно адресованное чисто польской аудитории.

– Не так давно в различных независимых периодических изданиях в Польше было опубликовано ваше заявление по поводу присуждения вам Государственной премии ПНР, в котором вы практически от нее отказываетесь. Что бы вы могли сказать по этому поводу?

– Сказать мне нечего, поскольку все, что я хотел сказать, содержится в тексте моего заявления. Впрочем, там в заключительной фразе так и говорится: «Это все, что я хотел бы сказать, – хотя бы потому, что больше мне ничего неизвестно».

– И все-таки нашим читателям – и здесь, и в Советском Союзе – эта история может показаться непонятной... и невероятной. Человек 25 лет живет в эмиграции, не скрывает, что, по меньшей мере, не является сторонником режима (то есть живет за границей отнюдь не по милости властей), печатается в эмигрантских изданиях, опубликовал несколько книг в «антисоциалистическом» издательстве парижской «Культуры» – и в то же время его пьесы ставятся в Польше, и власти доходят до того, что награждают его государственной премией, то есть пытаются объявить «своим»!

– Ну, во-первых, так было не всегда. В течение двух лет мои книги были в Польше полностью запрещены, изымались из книжных магазинов и уничтожались, а мое имя было занесено в «черный список». Это продолжалось с 1968 года вплоть до прихода к власти Герека. Так что бывало по-всякому. Что же касается сегодняшней ситуации, то у властей есть своя политика, свои соображения, в которые я вовсе не обязан вникать. Меня все это не касается, потому что все это – не мои игры. Это игры властей, и я не чувствую себя обязанным даже размышлять на эту тему. Что же касается самой премии, то я не вижу оснований ее принимать – просто потому, что любые премии подобного рода даются вовсе не из бескорыстных соображений. Так сложилось, что я никогда не получал премий – ни государственных, ни общественных, ни тому подобных – и мне они просто не нужны. Так что здесь ситуация вполне, так сказать, чистая и ясная.

– Если все-таки попытаться вникнуть в соображения властей, которыми они руководствовались, то можно сказать, что они хотели наградить сами себя – за то, что они такие либеральные и так ценят искусство, что даже Мрожеку премию присудили.

– Не знаю, очень может быть. Только я повторяю: это не мои игры, и у меня нет ни малейшего намерения забивать себе голову подобными гаданиями и гипотезами. Ко мне все это не имеет никакого отношения, и никакие премии мне не нужны.

– А что вы можете сказать о ежегодной премии в области культуры, присуждаемой «Солидарностью»? Несколько лет назад вы оказались в числе лауреатов этой премии как автор пьесы «Пешком», поставленной в варшавском Драматическом театре.

– Когда я об этом узнал, то вел себя практически так же. Если в случае госпремии я просто не явился на их вручение и не принял денег (тут есть еще и та разница, что присуждение премии «Солидарности» не связано ни с торжественным вручением, ни с какой-либо денежной суммой), то есть просто ее проигнорировал, то можно сказать, что совершенно таким же образом я проигнорировал и премию «Солидарности». Точно так же с моей стороны не было никакой реакции. Впрочем, тут не было никакого повода реагировать: никто не пришел, чтобы вручить мне эту премию, а просто соответствующий комитет или комиссия, не знаю, как там они называются, объявили публично, что они ко мне хорошо относятся. Можно только радоваться, если к тебе хорошо относятся – особенно когда речь идет о «Солидарности».

– В последнее время в польской независимой периодической печати, а также в эмигрантских изданиях вновь появились отголоски давней дискуссии вокруг вашей пьесы «Смерть поручика». В свое время эта пьеса воспринималась как сатирическое развенчание бытующего в польской национальной традиции культа героизма и самопожертвования, культа доблестной (пусть зачастую и бессмысленной) смерти во имя светлых идеалов. С другой стороны, в вашей недавней пьесе «Альфа», главный герой которой – рабочий лидер, интернированный при введении в некой неназванной стране военного положения, вы, как может показаться, сами отдаете дань этому культу героизма, становящегося чистым символом.

– Насчет самой дискуссии я сказать ничего не могу, потому что просто не читаю газет. Если кто-то вспомнил о моей старой пьесе, которую я сам уже порядком подзабыл, то мне только приятно, что она еще может кому-то для чего-то пригодиться. В любом случае нельзя забывать, что «Смерть поручика» написана тридцатилетним человеком, который еще очень хорошо помнил, что ему вбивали в голову в гимназии (почти довоенного типа), фактически заставляя его бездумно преклоняться перед теми историческими персонажами, которые было принято считать выдающимися. Так что в этой пьесе я позволил себе посмеяться вволю, хотя при этом прошелся, так сказать, только по верхам. Это была моя запоздавшая месть моим школьным наставникам. Кроме того, как мне казалось, я высмеивал там и определенные приемы любой ура-патриотической пропаганды. Еще раз повторяю: пьеска эта была довольно-таки поверхностной, и по ней нельзя судить о моем подлинном отношении к тем трудно дающимся человеку поступкам, которые принято называть героическими, к самопожертвованию и т. п. Что касается «Альфы», то она написана человеком, которому к тому времени пошел уже шестой десяток, написана в иной, весьма драматический период, наконец, написана на совершенно другом уровне и, так сказать, на другой волне.

– Раз уж мы говорим о проблеме героизма, мне хотелось бы вспомнить еще об одной вашей пьесе, «Посол», где глава дипломатического представительства в столице соседней «дружественной» державы, до тех пор ведущий себя вполне покладисто, в какой-то момент отказывается подчиниться требованиям «хозяев» и переходит на положение заложника. Происходит это в связи с тем, что он укрыл в посольстве беглеца, «диссидента». Кстати, почему эта пьеса шла в Париже под названием «Посольство»?

– Просто режиссер-постановщик хотел, чтобы акцент в спектакле был не столько на главном герое, сколько на каких-то более универсальных, с его точки зрения, проблемах. Труппа обратилась ко мне за разрешением изменить заглавие, и, поскольку принципиальных возражений это у меня не вызывало, я это разрешение дал. В конце концов, это они ставят спектакль. Разумеется, если ко мне обращаются с предложениями, которые для меня неприемлемы, тогда я отказываюсь. Хотя в данном случае я абсолютно с вами согласен, о чем

свидетельствует и авторское название – конечно же, речь идет об отдельном, конкретном человеке.

– Когда в этой пьесе появляется «диссидент», который ищет в посольстве политического убежища, то поначалу кажется, что именно он является подлинным героем, героической личностью в полном смысле этого слова. И для меня все чудо этой пьесы заключается в том, что героем оказывается не столько этот «диссидент», сколько посол, слабохарактерный человек, действующий вовсе не из каких-то высших побуждений, а просто потому, например, что он дал слово и не может его нарушить. Скажем, потому, что мама его в детстве учила, что обманывать нехорошо.

– Мне кажется, что по этой пьесе нельзя судить, как ее автор относится к героизму как явлению – именно потому, что речь в ней идет об отдельном человеке. Кроме того, дело тут вовсе не в том, какое посол получил воспитание. Я намеренно отметил в начале пьесы, что ему неоднократно приходилось сознательно лгать и никаких угрызений совести это у него не вызывало. Я хотел показать здесь, как обычный человек, не обладающий глубокими моральными принципами, невольно оказывается в некоторой экстремальной ситуации, которая вынуждает его перестать быть должностным лицом, послом, и ставит перед необходимостью действовать в одиночку, самостоятельно решать, как поступить. Словом, перед необходимостью сделать нравственный выбор. Разумеется, такой человек должен обладать определенной силой характера, быть личностью. Ибо нетрудно себе представить на его месте такого посла...

– ...каким наверняка будет его преемник...

– ...такого посла, который бы вообще ни о чем не задумывался, или даже нашего героя, который не поступил бы так, как он поступает, и не дошел бы до такого финала, как в пьесе, – но тогда не было бы и пьесы! А мне-то нужна пьеса! Довольно часто люди задаются вопросом: что хотел сказать автор? И они, безусловно, правы – но нельзя забывать, что сам автор, драматург, так вопроса перед собой никогда не ставит. Разумеется, всегда существуют какие-то скрытые побуждения, которые им движут, но проблема, которая перед ним стоит, – это проблема, так сказать, техническая: написать пьесу. Далее: чтобы написать пьесу, мне нужно иметь драматическую ситуацию; а чтобы иметь драматическую ситуацию,

посол по необходимости должен быть именно таким, а не иным, поступать так, а не иначе и т. д. У драматургии свои законы.

— *Мы несколько раз произносили здесь слово «сатира». Вам не мешает, когда вас называют сатириком?*

— Еще как! По-моему, профессиональный сатирик – это просто извращение. Все равно как если бы писатель решил, что будет пользоваться при писании только левой рукой, да и то лишь двумя ее пальцами. Я знаю, о чем говорю, потому что начинал свою писательскую карьеру в качестве так называемого сатирика. Еще можно признать, что где-то существуют писатели-юмористы, но говорить, что Марк Твен, например, был юмористом, – это тоже непростительное упрощение и извращение сути дела.

— *Ну и последний, уже традиционный вопрос. Как вы относитесь к русской литературе, русским писателям? Я знаю, что вы не читаете по-русски – вы мне сами сказали, когда мы встретились на поэтическом вечере Бродского, что знаете и любите его стихи по английским переводам. Теперь уже существуют и блестящие переводы Бродского на польский, и вообще литература, даже в переводе на чужой язык, продолжает жить своей жизнью, так что незнание языка – не помеха.*

— Я уже сказал, что я воспитывался, формировался внутри польской культуры, а русская литература, безусловно, оказывала и продолжает оказывать на эту культуру значительное влияние. Поляки обычно не любят об этом говорить, как и еще о нескольких вполне очевидных вещах, но ко мне это не относится. В конце концов, классическая русская литература существовала еще до того, как в Польше установился коммунистический режим. Что же касается моего поколения, то с приходом новой власти нас начали усиленно пичкать советской (и тут уж никуда нельзя было деться) и русской литературой. Так что с Гоголем я познакомился, можно сказать, благодаря «народной власти». Тогда я и по-русски читал – и только потом уже разучился. «Войну и мир», «Анну Каренину» я прочитал по-русски. Я не стыжусь признаться, что сформировался в значительной степени под влиянием русской литературы. К сожалению, я не очень хорошо себе представляю, что происходит в современной русской литературе, – но совершенно то же самое я могу сказать и об американской, и о французской литературе. Так, несколько имен. Но вот, на-

пример, я был очень рад, даже счастлив, когда Бродский получил Нобелевскую премию по литературе. Вообще-то в присуждении всяких премий всегда присутствует элемент довольно дурацкой лотереи, если не сказать хуже, и когда вдруг оказывается, что под каким-то решением я могу подписаться обеими руками, то возникает мысль, что все-таки есть на свете справедливость.

– *Поразительно, что вы произнесли то же самое слово! Практически все, с кем мне пришлось говорить на эту тему, никак не обсуждали и не комментировали решение Нобелевского комитета – что тут можно обсуждать? – а просто констатировали, что есть на свете высшая справедливость. И на этой радостной ноте я предлагаю закончить нашу беседу. Большое вам спасибо.*

МРОЖЕК Славомир, прозаик и драматург, родился в 1930 году в Боженцине (близ Тарнува). Учился на архитектурном факультете Ягеллонского университета в Кракове. Начал печататься в 1950 году, первый сборник рассказов выпустил в 1953-м, с конца 50-х годов занял ведущее место в польской драматургии. С 1964 года постоянно живет во Франции. Кроме постоянных публикаций в официальных издательствах ПНР (за исключением временного запрета на его публикации, о котором Мрожек упоминает в интервью), регулярно печатается в эмигрантских издательствах и журналах («Культура», «Пульс»). Его проза и особенно пьесы переведены на целый ряд языков, включая русский.

Специальное приложение

КЁЛЬНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Мы, представители различных кругов оппозиции в СССР, волею обстоятельств оказавшиеся за пределами своей родины, считаем себя вправе и обязанными принять активное участие в жизни страны в самый, может быть, критический период ее послереволюционной истории и включиться в обсуждение сущности происходящей в ней горбачевской «перестройки». Сформулированный ниже текст не есть некая окончательная программа действий, а лишь предложение для дискуссии – как внутри страны, так и за рубежом.

Общая оценка ситуации в стране

Советский Союз переживает сейчас не просто очередные и временные трудности, но глубокий и всесторонний структурный и функциональный кризис социального строя, экономики, системы власти, идеологии и культуры. Этот кризис, по нашему мнению, – результат не отдельных ошибок прошлого руководства, но закономерное следствие действия внутренних механизмов самого строя страны, основанного на государственной собственности на средства производства, тоталитарной системе власти и идеологической монополии. Это наиболее серьезный в истории коммунистического общества *специфический* для него кризис. И не последний. Такого рода кризисы отныне будут неизбежными спутниками реального коммунизма вплоть до его исторической гибели.

Горбачевская перестройка

Мы приветствуем любые преобразования общества, ведущие к улучшению жизни широких слоев населения страны. Критически оценивая нынешнюю реформаторскую суету горбачевского руководства, мы рассматриваем ее с иных позиций, чем это делается в советских и в значительной мере в

западных политических кругах и средствах массовой информации. С нашей точки зрения, «перестройка» есть не только попытка преодолеть кризис, но и показатель панической растерянности правящих слоев перед лицом этого кризиса. Не решаясь использовать скомпрометировавшие себя чисто коммунистические методы преодоления стоящих перед страной трудностей, горбачевское руководство предпринимает лихорадочные попытки решить назревшие проблемы чуждыми ему западнообразными методами. Тем самым создается иллюзия, будто советское общество начинает, благодаря правительственным усилиям, эволюционировать в сторону западной демократии.

Перспективы «перестройки»

Мы убеждены в том, что горбачевские реформы на самом деле не способны преодолеть сложившиеся в стране трудности. Они лишь уводят общество в сторону от решения обнаружившихся сегодня фундаментальных проблем. Эйфория «гласности», демагогически сфокусированная на «борьбе с наследием Сталина» и «частной инициативе» в рамках мелкого товарного производства и сферы обслуживания, отнюдь не излечивает запущенную болезнь советского общества, а лишь загоняет ее внутрь и маскирует ее симптомы. К тому же, одно дело – декларировать реформы, и другое – реализовать их в условиях системы коммунистического типа. Так, например, намерение закрывать нерентабельные предприятия и повышать экономическую эффективность производства, выглядящее на бумаге и в официальных речах как благое начинание, в реальном воплощении ведет к тяжелым бедствиям для миллионов людей, которым угрожает принудительное перемещение в места, куда в сталинские времена высылались огромные массы репрессированных «врагов народа». Независимо от воли и желания властей, политика «перестройки», «гласности» и «демократизации» при ближайшем рассмотрении обнаруживает сильнейшую тенденцию советской системы к возврату к тоталитарной практике сталинского типа.

Мы, однако, не считаем такое развитие событий фатальным. Мы видим иной путь эволюции страны в борьбе за превращение советского государства из тоталитарной и чисто милитаристской империи с глобальными амбициями в правовое демократическое общество, отвечающее критериям высших достижений мировой цивилизации. Необходимой предпосылкой успеха в этом направлении являются, на наш взгляд, не бесчисленные и половинчатые реформы и реформочки, глохнущие в социальной и политической инертности во всем извешенного населения и в бюрократизме, а немногие, зато действительно значительные по реальным последствиям решения, способные привести общество к подлинным революционным преобразованиям.

Успех такого рода эволюции, по нашему глубокому убеждению, может быть обеспечен проведением в жизнь комплекса предварительных условий. Чтобы построить прочный дом, необходимо, как известно, сначала подвести под него прочный фундамент. Горбачевские же реформы подобны строительству дома без всякого фундамента. Мы не претендуем на исчерпывающее перечисление всего ряда таких предварительных условий, ограничивая себя указанием лишь на некоторые из них, наиболее, по нашему мнению, существенные.

Свобода общественного самопознания

Одним из основополагающих условий успеха подлинных реформ должно стать прекращение преследования граждан за так называемую антисоветскую агитацию, клевету на советский общественный и государственный строй, а также за религиозные убеждения. Критика общественного строя, системы власти и идеологии должна сделаться столь же правомерным элементом самосознания населения, как и их апологетика. Современное общество в принципе не может нормально функционировать и развиваться без свободы критического самопознания. Горбачевское же руководство сделало лишь робкие шаги в этом направлении, рассчитанные прежде всего лишь на внешнеполитический эффект.

Право на социальное действие

Другим необходимым условием таких реформ могло бы служить предоставление гражданам реального права выражать свое отношение к тем или иным явлениям жизни страны не только на словах, но и в действиях – в форме демонстраций, забастовок и создания независимых объединений, ибо, как показала история, никакое подлинное освобождение не даруется сверху, а завоевывается в результате длительной борьбы. Стремление избежать такой борьбы неизбежно обрекает общество на застой, а со временем и на деградацию. Основная цель социальных действий, о которых идет речь, состоит в том, чтобы вынудить руководство страны осуществлять преобразования в интересах широких слоев населения, а не правящей и привилегированной верхушки.

Жизненный уровень.

Мы принципиально иначе подходим и к проблеме соотношения жизненного уровня населения и реформ. Горбачевское руководство отодвигает улучшение условий жизни в СССР на весьма далекое и неопределенное будущее. Мы же считаем, что такое улучшение есть необходимое условие успеха мало-мальски серьезных реформ, ибо оно обеспечивает заинтересованность населения в этих реформах. Советские люди давно перестали верить в громкие обещания своих вождей, на своем долгом и горьком опыте убедившись, что любые их жертвы служат лишь укреплению тоталитарной власти и удовлетворению все растущих аппетитов привилегированного меньшинства.

Отказ от глобальной экспансии

Даже не прибегая к реформам, советская система уже сегодня в состоянии в значительной мере повысить жизненный уровень населения. В качестве примера достаточно указать такой путь к этому, как радикальное сокращение расходов на вооружение, расходов на карательный аппарат и партийно-государственную номенклатуру, отказ от содержания на своем

иждивении искусственных марксистских режимов в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Один только отказ от трат на эти режимы позволил бы советскому руководству избежать планируемого в ближайшее время повышения цен на предметы широкого потребления. До тех пор, пока Советский Союз остается милитаристской империей с маниакальными экспансионистскими претензиями, ни о каком качественном скачке в развитии страны нечего и думать. То, что сегодня делается в этом направлении, на поверку оказывается лишь тактическим приемом в неизменной советской стратегии, нацеленной на мировое господство.

Разрушение самоизоляции

Нынешние усилия советского руководства, нацеленные на достижение экономического уровня передовых стран Запада, заведомо обречены на провал, если миллионам советских людей не будет открыт доступ ко всем высшим достижениям мировой цивилизации. Для этого необходимо раз и навсегда преодолеть искусственную изоляцию страны от мирового демократического сообщества. Главным направлением во взаимоотношениях Советского Союза с внешним миром должна сделаться не военная и идеологическая экспансия, а взаимный обмен идеями и информацией, способствующий всестороннему развитию общества на всех его уровнях. Советский Союз, с его существующей до сих пор системой самоизоляции, в такой же мере способен догнать передовые страны Запада, в какой человек со связанными ногами способен догнать хорошо натренированного профессионального бегуна. Ведь не секрет, что спустя сорок с лишним лет после победоносной войны СССР даже мечтать не может о современном уровне жизни разгромленной им когда-то Германии. К сожалению, во взаимоотношениях с внешним миром со стороны Советского Союза главной фигурой все еще остается шпион или пропагандист, а не творец духовных или материальных ценностей.

Роспуск империи

Важнейшим условием социальных преобразований могло бы стать обретение различными народами страны фактической национальной независимости. Декларированное в совет-

ской конституции право наций на самоопределение, вплоть до выхода из СССР, должно воплотиться в реальный процесс превращения империи в добровольное содружество независимых государств, с гарантированным правом для членов этого содружества на выход из него. Существование империи стало во всех отношениях вопиющим анахронизмом и одним из важнейших препятствий социальному, экономическому и культурному прогрессу страны. «Велфер-империя», в которую в настоящее время превратился Советский Союз, в первую голову истощает духовный и материальный потенциал самого имперского народа. Опыт национальных движений только последнего времени (Казахстан, Армения, Азербайджан, прибалтийские республики, движение крымских татар, борьба украинцев и белорусов за признание родного языка в качестве государственного и т. д.) убедительно свидетельствует, что национальные проблемы, возникшие уже в советский период истории страны, не могут быть решены удовлетворительным образом в рамках сохранения такой империи.

Социальная оппозиция

Одним из следствий горбачевской «перестройки» явилось усиление идейного кризиса и разброда в среде критически настроенных граждан страны, в эмиграции и в различных кругах Запада, так или иначе связанных с советской проблематикой. В этой ситуации мы считаем своим долгом четко определить нашу позицию.

Мы не сотрудничаем с советскими властями и не конкурируем с ними в отношении преобразования общества. Мы оцениваем действия советских властей с точки зрения их реальных последствий для населения страны и для общей ситуации в мире.

Мы видим свою задачу во всесторонней критике советской системы. Не считая себя приверженцами одной, «единственно верной доктрины», мы поддерживаем самые разнообразные попытки объективного познания общества, полагая, что наилучшее понимание его может возникнуть лишь в результате взаимодействия и борьбы различных идей.

Мы считаем себя вправе стремиться к распространению своих воззрений как в Советском Союзе, так и на Западе, а

также к стимулированию деятельности в этом направлении по возможности более широких кругов людей самых различных социальных и политических категорий. На наш взгляд, детальная и реалистическая программа подлинно революционных преобразований в стране может появиться лишь в результате усилий большого числа участников этого обновляющего движения.

Мы отдаем себе отчет в том, что в результате нашей деятельности не приходится ожидать немедленных и заметных перемен в СССР. Однако по долгу совести мы не можем оставаться в стороне, и мы намерены действовать в меру наших возможностей, не рассчитывая на похвалы в свой адрес. И в этих устремлениях мы не чувствуем себя одинокими. Считая себя социальной оппозицией, мы приветствуем и все другие формы оппозиции – политические, религиозные, национальные, культурные. Преобразование СССР в демократическое и благоустроенное общество есть наша общая и единственная цель.

Итак, заключаем:

Не «гласность», а свобода слова.

Не «перестройка», а строительство заново.

Не «ускорение», а естественный, свойственный великим свободным странам, подъем.

Кёльн, ФРГ

25 марта 1988 г.

Подписи:

*А. Авторханов, Г. Владимов, М. Восленский, А. Гинзбург,
А. Зиновьев, А. Корягин, А. Краснов-Левитин, Э. Кузнецов,
Э. Дозанский, В. Максимов, В. Рапопорт, С. Ходорович,
Ю. Ярым-Агаев*

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ В ЗАПИСЯХ МИХАИЛА ШЕМЯКИНА

Михаил Шемякин, выдающийся художник и близкий друг Владимира Высоцкого, рано понял значение творчества Высоцкого. Еще в те времена, когда песни Высоцкого распространялись в СССР на «домашних» магнитных пленках, Михаил Шемякин, известный художник-эмигрант, живший тогда в Париже, принял историческое решение: записать песни Владимира Высоцкого на самой новейшей аппаратуре и составить образцовое собрание песен Высоцкого, не искаженное цензурой или устаревшей техникой.

Михаил Шемякин годами работал с Владимиром Высоцким в задушевной атмосфере своей парижской студии, в самом центре художественной жизни парижского артистического мира. Такое окружение оказалось вдохновляющим: Владимир Высоцкий вложил весь свой талант, глубочайшие эмоции, всю свою душу в записи, сделанные Михаилом Шемякиным.

Теперь, для поддержки фонда «Аполлон», Михаил Шемякин решил выпустить свое уникальное собрание песен Владимира Высоцкого ограниченным тиражом. Все доходы от продажи этого подарочного комплекта (за вычетом комиссионных) пойдут на нужды фонда «Аполлон», созданного для того, чтобы содействовать развитию искусства и помогать талантливым художникам.

Подарочный комплект выпускается в количестве 999 нумерованных экземпляров (повторных тиражей в дальнейшем не планируется). В комплект входят 7 долгоиграющих пластинок и оформленный Михаилом Шемякиным иллюстрированный буклет 25 x 25 см, в который включены тексты всех песен, а также воспоминания художника о Владимире Высоцком (по-русски и по-английски), редкие фотографии и факсимиле писем и стихов Владимира Высоцкого, хранящиеся в архиве Михаила Шемякина.

Уникальные записи ста с лишним песен, сделанные в парижской студии Михаила Шемякина и тщательно отреставрированные с помощью самой современной цифровой техники, впервые станут достоянием почитателей Владимира Высоцкого.

Комплект поступил в продажу 1 декабря 1987 года.

Комплект из 7-ми пластинок
с иллюстрированным альбомом
в специальном футляре.
Роскошное подарочное издание.

Просьба направлять оплаченные заказы
по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.
799 BROADWAY
NEW YORK, N. Y. 10003,
USA

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Oránge, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





НА ПОРОГЕ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В эти дни празднуется историческая для нашей страны дата – 1000-летие Крещения Руси. В связи с объявленной правительством политикой гласности, перестройки и ускорения советская пропаганда явно пытается превратить торжества по этому случаю в глобальный идеологический спектакль. Спешно восстанавливаются многие разрушенные храмы, реставрируются религиозные памятники, чуть не заново отстраивается Донской монастырь, ставший теперь основной резиденцией Московской Патриархии. Ее сановные вояжеры курсируют по всему свету, рассказывая легковерным о беспримерной в истории свободе религии в Советском Союзе.

Если бы это было так! На самом же деле сегодня, в связи с семидесятой годовщиной никем не избранной и атеистической власти и 1000-летием Крещения Руси православной пастве приходится вновь возносить молитвы прежде всего за тех своих братьев по вере, которых по сей день преследуют за их религиозные убеждения.

А им, судя по самиздатским сообщениям, до сих пор несть числа. Преследуются баптисты, католики, кришнаиты. Многие из них до сих пор находятся в лагерях, ссылках и психиатрических больницах, преследуются в административном порядке на воле.

В связи с этим вспоминается прозвучавшее в свое время на весь мир Открытое письмо группы советских политзаключенных Пале Иоанну-Павлу Второму.

Это письмо подписали русские Владимир Балахонов, Виктор Некипелов, Александр Огородников, Валентин Зосимов, украинцы Мирослав Маринович, Микола Руденко, Олесь Шевченко, армяне Генрих Алтунян, Нориар Григорян, литовец Антанас Терляцкис и еврей Леонид Лубман. Подписали, рискуя получить за свой поступок новый лагерный срок, а может быть, и более того.

Оно, это письмо, могло бы, на наш взгляд, сделаться основой для объединения представителей разных вероисповеданий вокруг празднования тысячелетней годовщины Крещения Руси под девизом: «Религия против насилия».

В конечном счете все мы, вне зависимости от нашего отношения к Богу, находимся в одном лагере, который зовется Земля, и только от нас самих зависит, суждено ли нам остаться гарантами Свободы, полученной нами свыше, или безвольно покориться наступающей социальной тирании.

Тысячелетие возникновения христианского света в России дарует нам, может быть, последнюю возможность объединенными усилиями остановить тьму, грозящую сегодня затопить собою весь мир.

Недаром сказано: «Вера с горчичное зерно сдвигает горы». Если все мы – узники собственной совести – сумеем слить свои голоса в одной молитве – молитве о Свободе, она – эта молитва – будет услышана.

АРМАНУ МАЛУМЯНУ – 60 ЛЕТ

Но из этих шестидесяти надо вычесть ровно две тысячи шестьсот шестьдесят четыре дня, проведенных им за колючей проволокой



советского концлагеря, то есть примерно третью часть того двадцатипятилетнего срока, к которому он, девятнадцатилетний парень, был приговорен ОСО за никогда не совершенные политические преступления.

Лагерь сделался вторым и, наверное, самым судьбоносным испытанием в его жизни. Первым была война. Шестнадцатилетним мальчишкой, выдав себя за совершеннолетнего, он вступил добровольцем во вторую бронетанковую дивизию генерала Леклерка, где сражался до победного дня. А до этого еще успел и поучаствовать во французском Сопротивлении. За военные заслуги его наградили шестью боевыми орденами и медалями, конфискованными у

него при аресте нашими доблестными карательными органами в Ереване, куда Арман вместе со своими родителями репатриировался из Франции.

Казалось бы, что, кроме горькой обиды и жгучей ненависти, мог вынести молодой человек из страны, которая оказалась для него столь злой мачехой? Но пройдя через все круги лагерного ада – шахтный забой, голод и холод промозглых бараков, болезни, отнявшие у него здоровье, лагерное восстание на Воркуте, где он состоял членом руководящего штаба – Арман Малумян навсегда проникся всыскающей, но сыновьей любовью к тому краю, который, хоть и зовется сегодня Советским Союзом, остается в его сознании Россией.

И эту свою горькую любовь он пронес в себе через всю свою последующую жизнь. Ею – этой любовью – буквально дышит его книга «Сын ГУЛага», имевшая во Франции огромный успех. Ею проникнуты его статьи и рассказы, опубликованные в «Континенте». Ею отмечена его неутомимая деятельность в русских правозащитных и политических организациях на Западе и, в частности, в «Интернационале Сопротивления», где он бескорыстно трудится в качестве Генерального секретаря.

У Армана Малумяна множество друзей. Наверное, в день своего шестидесятилетия он получит немало самых сердечных поздравлений. Но мы надеемся, что в их потоке не затеряются и эти наши, идущие от всего сердца строки.

Мы горды дружбой с тобой, Арман, и желаем тебе полноценного и плодотворного долголетия! Сыну Кавказа это очень к лицу.

«Континент»